АРТИКЛЬ

19

Израильский литературный журнал

АРТИКЛЬ

№ 19

Тель-Авив

2021

מעלות
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Дина Рубина. Подарок.....4

Анна Файн. Красное и белое……..…14

Инна Шейхатович. Гадание на мелкой монете.....58

Рита Инина. Тайм-аут…...…….……...…….....64

Ирина Маулер. Забег к счастью длиною в жизнь.....70

Владимир Сотников. Прикосновение….....87

Дмитрий Копелиович. Субботний гость 92

Александр Альтшулер. Записки детского психиатра..….....112

Ханох Дашевский. Рог Мессии…….……..…....138

Яков Шехтер. Король Лимны 159

Михаил Юдсон. Остатки.....168

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Марсель Мосери. Утренняя история»…….…172

Дуду Буси. Я иду…….……177

ПОЭЗИЯ

Елена Аксельрод. А я внутри ……..……181

Катя Капович. На краю большого мира ….....187

Бахыт Кенжеев. Цена меланхолии.…….……...190

Юрий Лорес. Колыбельная…….……..……...194

Александр Романовский. Воронеж без порток.....199

Сергей Штильман. Шепоток ежедневного чуда…….....203

Владимир Серебренников. Весь этот блюз …...……....208

Алексей С. Железнов-Авни. Родился мир когда-то.....213

Алексей Сурин. Радио для динозавров ….....216

Александр Борохов. Зал ожидания….....219

Анна Гедымин. Праздник неуюта……223

Григорий (Гершон) Трестман. Баллада о корабельных крысах……..……228

НОН-ФИКШН

Александр Энгельс. Генерал Крейзер…….…….235

Виктор Конторович. Кукольный дом…….....246

Эдуард Бормашенко. Александр Владимирович Воронель..251

Александр Воронель. Что наша жизнь? Игра……254

Владимир Ханан. Жизнь и мечта писателя Смирнова.....257

Давид Шехтер. «Намедни» сегодня…..….....261

Гордей Щеглов. Шауль Черниховский «…Я люблю военный лазарет…» …….….....266

Александр Крюков. А.С.Пушкин и иврит….....276

Екатерина Златорунская. Графиня и смерть.....280

Александр Мелихов. «Дай нам руку в непогоду…».....284

Михаил Черейский. Чурчхела души моей.....296

Андрей Зоилов. Магическая мерка интереса.....312

СТИХИ И СТРУНЫ

Я бы это спела…….....320

На титульной странице: генерал армии Крейзер

(см. страницу 235)

ПРОЗА

Дина Рубина

Подарок

(Глава из книги «Маньяк Гуревич»)

Новогоднюю елку в детстве Гуревича в дом приносил не папа, ежедневно возвращавшийся с работы мимо большого елочного базара, и не мама, которой всегда «было чем заняться», а дед Саня. Он считал, что самые пышные, самые ладные елочки продаются у них в Авиагородке. Доставлял елку из Пулково на служебном «рафике» дедов ученик, электрик Кондратий Пак. Елка прибывала с довеском в виде добавочных ветвей – на всякий случай, и для запаха. Ветки выкладывались на простыню вокруг крестовины, оставшиеся расставлялись в трехлитровые банки, распространяя по комнате лесной-зеленый аромат…

Итак, дед Саня с Кондратием Паком вносили и надежно устанавливали еще простоволосую, но в преддверии чудесного преображения ели с антресолей извлекалась коробка с елочным приданым, и дед Саня с долговязым Кондратием приступали к проверке и починке древней наследной электрической гирлянды. Ей было лет сто, происходила она из папиной семьи и служила исправно: требовалось только менять перегоревшие малюсенькие лампочки, которые добывал где-то умелец Кондратий. На вопрос любопытных «где достал?!» он отвечал, как грибник: мол, «места надо знать».

Вдвоем, стоя на коленях, голова к голове, они с дедом распутывали провода, проверяя, нет ли где разрывов, синей изолентой заматывая подозрительные места. «Пропустили, Санмойсеич!» – «Где?! Я?! Шутишь, салака?!» – «Пропустили, говорю. От тут…» – «А, это…ну, эт я без очков»

Затем гирлянду свободно и равномерно раскладывали по ветвям, и Сене доверяли включить ее в сеть и проверить, все ли в порядке. И елка озарялась, будто вздыхала всем ясным сиянием! Она не вспыхивала назойливо-городским электрическим светом, а именно озарялась изнутри ветвей, приглашая вступить в свое сказочно-таинственное нутро...

И это было лишь прологом к священнодействию.

Когда дед Саня с Кондратием Паком, выпив чаю с пирожками соседки Полины Витальевны, отбывали в свой Авиагородок, Сеня принимался околачиваться по квартире в нетерпеливом ожидании мамы. Ибо только с мамой они развешивали елочные игрушки, и только мама, со своим опытом нежных касаний, имела право приближаться к тонким шарам.

Надо было вытерпеть до возвращения мамы с работы, затем вытерпеть, пока она поужинает («Дай же мне кусок проглотить, ей-богу!»). Сеня стоял над душой, слегка приплясывая, что-то бурча и даже повизгивая… пока, наконец, не приступали, как говорил папа, «к церемонии повешения».

Для этого гасили верхнюю люстру, зато торжественно включалась зеленая Ардеко, которой полагалось служить своеобразным экраном, волшебным фонарем. Путем бережных раскопок из ватных сугробов в коробке извлекался первый шар…

У мамы были красивые руки, тонкие ловкие пальцы. Правой она держала шар за ниточку, левой невесомо поддерживала его снизу, и, поднося к Ардеко, показывала сыну каждый шар на просвет. Все они были необыкновенные: некоторые полупрозрачные, будто заиндевелые, со смутными фигурами внутри, некоторые – зеркальные. И каждому зеленый отсвет Ардеко придавал дымное лесное волшебство.

Мама и сама вовлекалась в медленное погружение в детство; она умолкала, двигалась плавно и неторопливо, и когда через полчаса папа восклицал: «Ну, ребятки, завершайте уже вашу ассамблею, дайте газету почитать!», у мамы, – как, впрочем, и у Сени, – был отрешенный вид разбуженного человека.

Включался свет, и наступал черед Сени развешивать по ветвям «мелюзгу» (но очаровательную мелюзгу!): крошечные фигурки животных и птиц, овощей и фруктов, извлекаемых из плоской гэдээровской коробки,

привезенной дядей Петей с какого-то хирургического симпозиума. Все крохотули-игрушки были так скрупулезно, так натурально сделаны: пупырчатые огурчики, задорные оранжевые морковки, умилительно крошечные лиса и волк, и мишка, и домик, и клоуны, и корзинки с фруктами...

Последним к уже завершенному одеянию елки допускался папа, который водружал «маковку», диадему: желтую стеклянную пику с давним маленьким сколом, из-за чего надевать ее следовало под правильным углом, поднявшись на цыпочки… «Как шитый полог, синий свод. Пестреет частыми звездами…» – бормотал папа, старательно прилаживая пику.

Ритуал преображения их семейной елки взрослому уже Гуревичу представлялся торжественными сборами на бал какой-нибудь гоффрейлины при императорском дворе: сначала к особняку прибывает парикмахер Гелио со своим саквояжем, и два часа колдует над куафюрой, отскакивая, любуясь, покрывая лаком то этот завиток, то вон тот кренделек…попутно делая галантные комплименты красоте и очарованию magnifique princesse…Затем две горничные вносят и расстилают на покрывале высокой постели великолепное новое платье, доставленное буквально минуту назад, а за ними уже торопится швея, и минут сорок ползает по полу, подкалывая, прихватывая там и сям кружева по подолу… Каждый делает свою работу, кто-то прибывает, кто-то отбывает… Старшую горничную посылают принести из сейфа в кабинете князя сапфировую диадему… Наконец – в ослепительном наряде, в изящных туфельках, завитую и накрашенную, с диадемой в сложнейшей прическе, – придворную даму подсаживают в карету с фамильным гербом два дюжих камердинера.

…И на ближайший месяц елка в углу – напротив их белой кафельной печи – становилась привычным атрибутом обстановки. На Старый Новый год, который в Ленинграде всегда все отмечали, на обед приезжали дед Саня и бабушка Роза, и за празднично накрытым столом все тихо, по-семейному смотрели «Кабачок 12 стульев» с Пани Моникой в исполнении Ольги Аросевой.

Но на каникулах…

***

В годы его детства ёлки – не деревья, а детские новогодние праздники, – были довольно убогим мероприятием. Настоящие ведомственные «ёлки», с интересной концертной программой, с богатым подарком, в котором и шоколадный Дед Мороз имеется, и апельсин, или две мандаринки, и здоровенная шоколадина, – были, как там Диккенс писал, «уделом избранных».

Обычные же школьные-районные «ёлки» представляли традиционные новогодние скетчи в исполнении парочки нетрезвых актеров, в заношенных и прожженных сигаретами костюмах Волка и Зайчика. Волк гоготал неприятным, но вполне естественным голосом прирожденного пропойцы, его жена-зайчик убегал и прятался под ёлкой, пискляво умоляя детишек его спасти. Дирижировали этой вечной интермедией Снегурочка, засыпанная блескучей паршой, и Дед Мороз в свалявшемся парике и в серой от костюмерной пыли бороде.

Тем поразительней была трепетная любовь младшего Гуревича ко всей этой, как называла ее мама, «балаганной белиберде». («Лучше сядь и почитай свежий номер «Техники молодежи», ты что, малявка?»).

А вот нравилась Сене эта беготня за Зайчиком, нравился хвойный запах подвязанных для густоты кроны ветвей, сверкание золотых шаров и игрушек, праздничный дождик конфетти, блескучие гирлянды и бумажные флажки. Нравились песни всем хороводом, нарядные сверстники, и внезапное волшебство: когда из темного угла появлялась Снегурочка, ведомая лучом пыльного желтого прожектора. И ужасно нравилось ее голубое одеяние – как это, черт, называется, то, что на ней надето: зипун, сарафан, армяк? А ее толстенная белоснежная коса, свисающая через плечо куском корабельного каната! Ой, как все это нравилось! Короче, Сеня всегда ждал своих детсадовских, а потом и школьных ёлок с мечтательным нетерпением.

Папа объяснял этот феномен просто: он говорил, что живое воображение его начитанного и чувствительного сына дорисовывает реальность до желаемой кондиции; придает явлениям собственную выпуклую изобразительность и красочность; и что подлинное действие происходит не в социуме, который крутится у сына перед глазами, а в его интересно устроенной голове… Ничего, говорил папа, года через три-четыре, ну, пять…все

придет в норму, Сеня израстется, и как сказал Поэт: «Так исчезают заблужденья С измученной души моей…»

Все это так, пусть, но как дорисовать в воображении шоколадного Деда Мороза в шубе из красной фольги? или здоровенную шоколадину в серебряной обертке, или апельсин? – апельсины Сеня обожал за одуряюще сильный запах цитрусовых плантаций из книг то ли Фенимора Купера, то ли Майн-Рида.

Между прочим, взрывоопасное воображение Гуревича, вопреки предсказаниям папы, с возрастом никуда не испарилось, наоборот, – впоследствии оно обеспечивало Гуревичу трогательные и волнующие воспоминания самой первозданной силы. Как иначе объяснить его невольные слезы при виде очередной наряженной елки и очередной Снегурки, явно вторичного происхождения? Да-да, на всех этих детских праздниках на глаза у взрослого Гуревича наворачивались слезы, и кто-то из детей, кто сидел поближе, нырял ему под руку и спрашивал мерзким шепотом:

– Па-ап, ты плачешь?

***

…Но той зимой, на каникулах в четвертом классе, когда Сене исполнилось 10 лет (да, первая десяточка прокатила!) – с «ёлками» наметилось некоторое ведомственное оживление. Возможно, в недрах министерства образования, или кто там отвечал за наше счастливое детство, произошла какая-то подвижка в сторону всеобщего ёлочного равноправия. И к этим самым «ёлкам» подоспела особенная, нарядная такая зима: белый-белейший, хотелось даже сказать: белоснежный снег на фоне желтых, с белыми колоннами зданий, черная графика чугунных решеток и голых черных ветвей, желтый искристый свет фонарей…и с самого утра – ожидание праздника. Во дворе их дома на детской площадке большие ребята налепили из снега всякие чудеса: крепость крестоносцев, пещеру с животными, целую семью снеговиков, и каждый день кто-то выносил из дома лейку с подкрашенной водой, и поливал всю эту скульптурную группу. Выходишь во двор по дороге в школу и попадаешь в розовую-марганцовую, или зеленоватую, или голубоватую от синьки сказочную страну…

Той зимой просто не могло не случиться чуда, и оно случилось: у внучки маминой пациентки совпали две «ёлки» – в Союзе композиторов, и в Аничковом дворце, который тогда был Дворцом пионеров. Недели две еще несчастная композиторская внучка металась, выбирая между особняком Монферрана и главной в городе «Ёлкой»…Наконец однажды вечером мама принесла и выложила перед сыном конверт с красивой открыткой-приглашением. «Это, конечно, полная чушь для грудничков, – сказала мама, – но постарайся не потерять: там открытку обменивают на подарок».

Сеня еле дождался этого дня! В особняк Монферрана, что на Большой Морской, поехал сам, – родители уже считали его большим парнем. Приехал пораньше, и в роскошный вестибюль, украшенный гирляндами, шарами, цветными флажками вошел из самых первых. Сдал в гардероб куртку, получил номерок... Конверт с приглашением был зашпилен булавкой в кармане отпаренных утюгом школьных брюк, – чтобы не потерять его в беготне и хороводах. Потеряешь – хана; Сеня даже представить такое боялся.

Особняк Союза композиторов привел Сеню в восторженный ступор: это здесь, именно здесь в его воображении разыгрывались все романы, все королевские балы и приемы, все дуэли двух его мушкетеров-петрушек! Именно таким он представлял себе обиталище французской знати: дубовые, винтом закрученные лестницы, черно-белый шахматный пол в вестибюле, гостиная, обитая желтым солнечным штофом…

Ему хотелось пробежаться по коридорам и лестницам, заглянуть во все комнаты и углы… Но он стоял, притиснувшись к закрытым резным дверям в зал, придерживая карман с пришпиленным пригласительным билетом, боясь пропустить тот первый миг, когда дверь отворится… И вот резные створы под его плечом дрогнули, крякнули и распахнулись, и открылся зал с камином, с высоченной, под потолок, красавицей-елью. Заиграла музыка, и нарядные дети – счастливые обладатели композиторской родни – хлынули туда, прямо в сердце праздника. Сеню закрутил-завертел восторженный вихрь эмоций. Нет, «вихрь эмоций» – это папа так говорил, это позднейшие наслоения памяти. В те минуты в груди у Сени пузырился радостный вулкан, счастливый такой оркестр, и он вскрикивал от восторга, и вместе со всеми пел, и

вызывал Снегурку – а та была не пыльная и пожилая, как обычно, – а грациозно-танцевальная, юная, с певучим низким голосом.

А еще Сене ужасно понравился Волк, похожий на Д'Артаньяна в синем камзоле, только с хвостом, – веселый чернобровый Волк, он так смешно выкрикивал реплики: «Вебята! – восклицал, – Пвавда же, меня водят за нос?! Я пожавуй, вассержусь и буду вычать!». Вот такой симпатичный был Волк, и все понимали, что он не злой, а добрый; что у него все равно не получилось бы зарррычать: он же «эр» не выговаривал!

Два часа пролетели вихрем; ёлка сияла шарами, гирляндами, драгоценными игольчатыми лампочками, но в придачу цветные прожектора неизвестно откуда, вернее, из-под потолка ополаскивали ее всякий раз новым цветом: то синим, то желтым, то зловеще-красным, то таким нестерпимо золотым, что она сияла совсем уже неземным облаком восторга.

А в конце представления Дед Мороз объявил, что сложил все подарки в гостиной – той самой прекрасной зале, обитой желтым шелковым штофом, – и каждый может получить свой подарок в обмен на пригласительный билет: «Не толпитесь, ребята, подарков всем хватит!»

Ну да, хватит! Легко сказать! Сеня дико взволновался… Двери распахнулись, толпа детей хлынула в гостиную, где две сотрудницы Дома композиторов выхватывали из протянутых рук билеты, взамен выхватывали из огромной кучи подарков цветную картонную коробку и передавали их в руки поверх голов. Лес рук колосился цветными билетами. Сеня, прислонившись к стене, пытался отстегнуть английскую булавку в кармане брюк, и чуть не плакал: она не хотела расстегиваться! Тогда он сильно рванул карман, вырвал пригласительный вместе с булавкой, поцарапался, побежал, пробился сквозь толпу, так и протянул свой билет – с булавкой, и черт с ней!

Ему передали подарок, он схватил, отпрянул, на корточках выполз из толпы, бросился в вестибюль, где у стены в ряд стояли длинные деревянные скамьи. Рухнул на скамью в самом уголке, обеими руками придерживая, поглаживая на коленях раскрашенную картонную коробку; так и сидел минуты две, выращивая в животе и в груди предвкушение…

Потом ее открыл.

Внутри оказались: пачка вафель «Снежинка», пачка печений «Дружба», пять недурных батончиков фабрики Крупской, с шоколадной начинкой (он дважды пересчитал!), средней ценности плитка шоколада; совершенно целый-не-помятый, в шубе из красной фольги, с выпученными глазами шикарный Дед Мороз; игрушечный вертолетик… и настоящий апельсин! Круглый. Большой. Оранжевая бомба! Он занимал весь центр коробки, а все остальное лежало вокруг него, понимая свою второстепенность.

Пахнул он необыкновенно; душу вытягивал тонкий заморский запах легкого ветерка и солнца, и синего неба, и далеких пальм… Сеня сидел в углу вестибюля и думал: съесть апельсин сейчас или дома? Хотелось съесть его немедленно, разодрать ногтями пористую шкуру, (которую потом можно год носить в кармане полупальто и нюхать пальцы), вгрызться-всосаться в сердцевину, слопать в один присест… Нет: разделить на дольки и высасывать из каждой запах до последнего, потому что запах проникает в тебя не только через ноздри, он вырастает во рту, прорастает в горло, и там витает, как сквознячок в коридоре. Интересно, останется ли во рту запах до завтра?

В конце концов решил: нет, не станет он так по-дурацки торопливо портить подарок; он сядет в автобус, приоткроет в коробке щелочку, и всю дорогу до дома будет вдыхать и вдыхать аромат апельсиновой плантации, синего неба и легкого ветерка… А дома…

Домой еще надо было добираться. Тут и гардеробщик издали позвал, мол, милай, ты уж давай, собирайся, что эт ты застрял тут!

Вестибюль и правда был уже пуст…

Сеня встал со скамейки, подошел, получил свое пальтишко; не расставаясь с подарком, придерживая его локтем, застегнул все пуговицы, шапку завязал потуже, натянул варежки, обеими руками обнял красную, с золотой елочкой коробку, и вышел в колючий мороз...

До остановки надо было идти приличное расстояние, пройти почти всю улицу, пересечь Исаакиевскую площадь… Он шел сосредоточенно и, как говорил папа, ответственно, волнуясь – не повредит ли мороз апельсину, не лучше ли вынуть его и опустить в карман – может, там ему будет теплее?

Через несколько шагов его нагнали большие парни, целая компания, – совсем взрослые дядьки, из карманов полушубков у них торчали бутылки с пивом.

– О! Вот и закусь, бватва! – сказал один из них недавним знакомым голосом. Это был голос Волка, который так понравился Сене на представлении! Мальчик понял, что тот, да и вся компания артистов, только что вышли из того же, что и Сеня, здания. Из особняка Монферрана.

И после тех слов – про закусь, – Волк вдруг легко, даже как-то приятельски вытянул из рук мальчика коробку.

Все происходило на ходу, попутно, между прочим, и Сеня по инерции побежал следом, догоняя шутника, не веря в происходящее: это шутка, сейчас ему отдадут его подарок! Это же артисты, они просто шутят…

Точно, то были Волк, и Дед Мороз, и Зайчик, и даже Снегурка, которая оказалась худым вертлявым пареньком в черной куртке… Просто они разгримировались и стали обычными людьми. Нет, они отдадут сейчас, ну, на что им! Этого не может быть! Ну не станут же они закусывать пиво его вафлями, или печеньем… или шоколадным Дедом Морозом?! На что им пластмассовый вертолетик, они же взрослые!

И только когда вся компания повернула к переходу, Сеня разом поверил в происходящее, встал, как вкопанный, и крикнул:

– Стой! Отдай, Волчара!

Волк притормозил, обернулся, весело и изумленно уставился на Сеню:

– Вебята! Нас, как будто, обижа-ают…Ай-яй-яй, ты же пионэй, мальчик. Вазве можно ставеньких обижать? Ты нас должен через довогу пееводить…

– Да ладно те, Кирюш, пошли, опаздываем!

– Во-о-ор! Волчара! Гадский вор! – в исступлении кричал Сеня, надеясь, что кто-то из других взрослых, из прохожих справедливых людей обратит внимание и вступится. Но как назло, мимо поодиночке прошмыгивали какие-то старушки, или женщина с маленькой девочкой, или даже кто-то из мужчин, не любителей происшествий…

– Ворюга!!! Ты не артист, ты ворюга проклятый!!!

Волк, в распахнутом полушубке, отделился от товарищей и пошел на Сеню, укоризненно качая головой, будто собирался произнести над ним воспитательную тираду. Но ничего не произнес: просто больно ткнул твердой ладонью Сеню в грудь, и Сеня покачнулся и сел на

асфальт, пушистый от снега. Падая, он увидел, как из коробки в снег выкатилась оранжевая бомбочка апельсина, и на миг безумная радость вспыхнула: не заметит!

Но Волк заметил.

Нагнулся, сгреб апельсин ковшом ладони, сунул в карман полушубка, и, не взглянув на приставучего засранца, понесся догонять компанию, уже исчезнувшую в завихрениях медленного снега. А Сеня посидел еще с минуту-другую, поднялся, и с мокрой от снега задницей пошел на автобус – через бесконечную Исаакиевскую площадь, мимо темной громады собора.

Так исчезают заблужденья с измученной души моей…

Ничего, ничего, все нормально…

Потом прошла целая жизнь, череда печалей, и все ж таки, радостей – тоже. Попал он в страну, где апельсины валяются под деревами, нагнись-не хочу. Раза два они снимали квартиру по соседству с апельсиновой плантацией, и одуряюще назойливый запах цитрусовых донимал Гуревича до мигреней.

Но стоило ему вспомнить тот снежный морозный вечер, сияющую елку, царственный особняк Монферрана, дубовые-резные панели, темно-золотой штоф стен… и, конечно, подарок в бумажной коробке, где тяжеленьким солнцем перекатывался пахучий его апельсин, – на глаза наворачивались слезы, и кто-то из детей, поднырнув ему под руку, непременно спрашивал этим мерзким голосом:

– Па-ап, ты плачешь?!

Анна Файн

Красное и белое

1.

- Итак, мать дает красное, а отец – белое. У этого изречения множество толкований, в том числе каббалистических, но мы пока остановимся на его прямом смысле.

Тонкий седой пейс учителя вылез из-под ермолки и упал на страницу раскрытой книги. Раввин не спеша подобрал локон, высвободил и второй, и вновь закрутил их фитильками, широко разведя руки в стороны. Затем соединил на макушке, сколол металлической скрепкой и накрыл черной бархатной кипой. Захлопнул книгу, предварительно заложив ее витой серебряной палочкой, на конце которой красовался указующий перст.

«Опять душеспасительные беседы», - подумал Майкл.

Перед нравоучениями ребе всегда закрывал книгу, ведь раскрытый фолиант, – манок для чертей. Нечистые силы любят шнырять по страницам святых книг.

- Мать дает красноту, отец – белизну. Потому выделения женщин красные, а мужчин – белые. От матери ребенок наследует все красное – мясо, мышцы, внутренние органы и кровь. От отца все белое - мозг, кости, белки глаз, кожу и ногти. Семя, от которого рождается ребенок, появляется в мозгу мужчины, проходит по позвоночнику и вытекает наружу через половой орган. Потому говорили мудрецы, что не следует слишком часто предаваться супружеским утехам. Кто поступает так, теряет частицу мозга, лишается разума и способности к изучению Торы.

«Пошло-поехало, понеслось, - сказал Майкл про себя, - начал с лукавых завитушек, а закончил запретом частого секса. Так я и думал».

В обычной ешиве они сейчас разбирали бы лист Талмуда, копаясь в казуистических построениях и оттачивая формальную логику. Каждый спорил бы со своим "хаврутой" – партнером по изучению святых книг. Их нестройные, хриплые крики заполняли бы зал. Но то была ешива для отступников, вновь пришедших к вере, и

воспитательные речи составляли неизбежную часть учебной программы. Возвращенцы находились на разных уровнях понимания текстов – одни получили светское образование и только-только приобщались к наследию предков, другие, как Майкл, выросли в религиозных семьях, успели окончить хедер и даже немного позаниматься в "малой ешиве". Майкл отучился там два года, а затем сбежал и пустился в свободное плаванье. Оно, впрочем, недолго оставалось свободным. Призвали в армию, где он три года плавился в невыносимой жаре пустыни Негев. Муштра, тряска в бронетранспортере, который в их части назывался "жесточкой", тупость армейских порядков. Все это заставило его снова взяться за книги. Путь в университет казался нескончаемо долгим – у бывшего ешиботника не было аттестата зрелости. К неожиданной радости отца, он предпочел ешиву. Отец сразу пожертвовал ее устроителям пятьдесят тысяч баксов, одним чеком со своего американского счета. Но вскоре Майкл понял, что происходящее вокруг него ничуть не умнее армейского устава.

Когда начиналась промывка мозгов, Майкл отправлялся в долгий сон с открытыми глазами. Иногда его пробивало на споры, и он вступал в перепалку с учителем. Что бы он теперь ни делал, из ешивы уже не выкинут. Не сумеют отказаться от жирных подачек за подписью его отца.

- Ребе, - начал он, - все, что вы рассказываете, основано на умозрительной науке раннего средневековья. Современным же ученым ясно, что сперматозоиды образуются в семенниках, а мозг – это мозг. И генетике есть, что сказать о наследовании всякого рода признаков от отца и матери. Думаю, генетики не согласились бы с вашей теорией.

- И что? – раввин уставился на Майкла поверх очков. - Мы тут не науку изучаем. Мы учим премудрость Торы. Наука нужна нам только в практических целях - для излечения тела, а тело – для молитвы и дальнейшего учения.

- Если бы в ваших рассуждениях была бы хоть доля правды, на их основании можно было бы лечить, - парировал Майкл, - но светские люди не толпятся у наших ворот, а вот мы встаем в очередь перед их больницами. А врачи, между прочим, учили биологию, в том числе теорию эволюции, которую вы отрицаете, но мы продолжаем обивать пороги больниц чаще, чем приемные раввинов.

Учитель понял, что Майклу лишь бы поспорить, но вместо продолжения урока ответил странным на взгляд ешиботников пассажем.

- Разум дан нам для изучения Торы. Еврею нужна голова, но иногда, чтобы выжить, нужно отрезать себе голову. Прекрати умствовать, Михаэль. Мы не лечить приставлены, а исправлять. Подумай: быть может, речь не о теле. Может быть, мозг, кожа и белки глаз – это различные части твоей души?

- А разве называть различные части души кожей, мозгом и костями – не умствование? Тогда и семя – не семя. Тогда все – иносказание, и супружеские утехи не портят мозг. И вообще, вам, значит, можно умствовать, а мне нельзя?

Раввин хотел было сказать, что ешива – не место для философских споров, но вспомнил, что главная его задача как раз такие беседы. Ведь перед ним сидели парни, сбившиеся с пути и до некоторой степени все еще блуждающие в лесах сомнений. Он вздохнул, пожал плечами, открыл книгу, вынул из нее серебряный перст и продолжил урок.

Рядом с Майклом в нетерпении ерзал на деревянной скамье его сосед Эфроим по прозвищу Фройка. У этого Фройки были гениальные способности к Талмуду – фотографическая память и умение сразу выхватывать из реплик мудрецов общую логическую составляющую. Ему не терпелось покончить с лекцией и перейти к странице Талмуда, которую он называл "сладостью". Другие ешиботники не верили, что Фройка в прошлом бросал религию, настолько обширными казались его познания. Ходили слухи, будто он никакой не возвращенец, а ешива – его заработок. Фройка будто бы на самом деле агент полиции, и его задача – вынюхивать наркодилеров, мухами вьющихся вокруг молодых парней и девчонок. Но Майкл знал, что это неправда. Уж он-то знал про Фройку все или почти все.

В отличие от Фройки, Майкл страдал над Талмудом. Память подводила его. Случались провалы, "затыки", как он выражался. Майкл относил их на счет армейской службы. Особенно четырех месяцев в учебке, когда он, новоиспеченный сержант, гонял свежих призывников. После целого дня, проведенного в поту и мыле, новобранцы падали на койки, а он садился за писанину – немалую часть армейской тупости составляла ветвистая бюрократия. Затем, уже в двенадцать ночи – планерка с

офицерами. И только после нее, до трех часов утра – подготовка следующего тренировочного дня. Вставать же приходилось в шесть, еще до общей побудки. Майкл спал всего три часа, и ему казалось, что насильственная бессонница клетку за клеткой выжигает мозги. К счастью, этот кошмар быстро закончился – его признали лучшим сержантом полка и отправили в офицерскую школу.

После трех армейских лет он был уверен, что раввины правы, отбиваясь от настойчивых домогательств государства. Не следует призывать ешиботников в армию – со сгоревшими мозгами они уже не осилят Талмуд. И тогда интеллектуальный резерв нации погибнет навсегда. В общем, дембель находился в раздрае. Учиться хотелось, но быть среди лучших он не мог, а откровенная пропаганда раздражала. Однако непредставимо было уйти и начать жизнь с полного нуля.

Что до Фройки, то талмудический ум не помогал ему в обычной жизни. Была у него удивительная черта – как только он узнавал от ребе новую галаху – еврейский закон, тут же пытался осуществить ее на практике. Однажды учитель рассказал, что, проходя мимо церквей, следует плюнуть в их сторону. То же следует сделать, если проходишь мимо священника или монаха. Майкл тогда заспорил с раввином. Ведь в молитвеннике пропечатано благословение мудрецам из числа народов мира. Это касается и священников с монахами. А вдруг проходящий мимо человек в черной рясе считается у иноверцев мудрецом? Как же ты плюнешь в него, когда его благословить надо? Раввин отвечал, что мудрец известен всему миру, а плевать следует не слюной, а так, чисто символически. Майкл все равно ему не поверил и решил не заплевывать святой город. А вот Фройка принял средневековый обычай как руководство к действию.

Утром, после молитвы у Стены Плача, Фройка спешил в ешиву по узкой улочке Старого города. Навстречу ему попался монах в рясе, подпоясанной вервием. Два человека в черном, один на один в каменном проходе между лавками, еще занавешенными глухими щитами с кое-как намалеванными арабскими надписями. Фройка плюнул в монаха. Плюнул чисто символически – сказал "Ту!" и пошел себе дальше. Но монах жил в Старом городе не первый год и понял смысл междометия. Он развернулся, догнал Фройку и врезал нехристю по морде. Врезал тоже символически – ведь и он был иерусалимец, мастак по

части метафор и аллегорий. Ни ока, ни зуба не выбил, но Фройке было немного обидно, а щека саднила от костистого монашеского кулака.

В другой раз они с Фройкой ехали в автобусе по улице Бар-Илан, разделяющей два благочестивых еврейских квартала. Водитель, однако, был светский, без кипы. Радио лило в эфир голос восточной певицы, похожий на горячую струю золотого меда.

Ласкала бы шары твои и стержень,
И целовала б губ твоих коралл,
Когда б ты был, как я, влюблен, не сдержан,
Когда б, как я, от страсти ты сгорал.

- Водитель! – Фройка вскочил на ноги, его рыженькая бородка затряслась, как под ударами ветра. - Выключи немедленно эту похабную песню! Ты что, не видишь? Здесь кошерные евреи едут, да еще с детьми!

Вместо ответа водила врубил песню на полную мощность. Кошерные евреи с детьми дотерпели до ближайшей остановки, а потом дружно посыпались на тротуар. Прыгали сами, вытаскивали коляски с младенцами, помогали сойти беременным бабам и старикам. В автобусе остались трое – Майкл, Фройка и какая-то девушка. Она с безучастным видом листала смартфон. Святые люди на остановке предупреждали других святых, что в автобусе творится непотребство, и те не залезали внутрь, галдели и перетаптывались с ноги на ногу.

- Водитель, транспорт не лично твой, - забубнил Фройка, подлетев к шоферу, - он общественный. Здесь дети едут. Вот ты и кондиционер, между прочим, не включил. Не думаешь о пассажирах!

- А я обязан о тебе думать? – зычно, как это умеют делать только шоферюги, пробасил водитель. - Ты на следующей остановке сойдешь, а я должен целый день тут мерзнуть, да еще слушать проповеди вместо музыки? Иди ты знаешь куда? На стержень и шары!

- Я пожалуюсь в министерство транспорта, - гнул свое Фройка.

- Ах, в министерство! Теперь он про государство с министерствами вспомнил! Что же ты не вспомнил о нем, когда просиживал штаны в ешиве и отлынивал от армии! – еще громче заорал водила.

- Я служил спасателем в тыловых войсках, - с достоинством отвечал Фройка.

- А я – в мотопехоте. В «Гивати», - Майкл встал с места и подлил масла в огонь. Но шоферюга на него даже не посмотрел.

- Дети в автобусе едут, - бубнил Фройка.

- Дети ничего не поняли, - орал водила, - это ты понял, потому что ты развращенный лицемер! Это ты своим криком обратил внимание детей на неприличную песню!

«В этом чертовом городе даже у шоферов узорчатая логика Талмуда», - подумал Майкл. И посмотрел на девушку, ту, что листала смартфон. Она тоже подняла глаза, но взгляд у нее был невидящий. Думала о чем-то своем, может, эсэмэску сочиняла. Забавные у нее были глаза – карие в зеленых веснушках. А волосы, коричневые и разделенные на лохматые прядки, – как воздушные корешки сикомор в лесах Израиля. Кожа смуглая, тело худощавое, даже суховатое. «Волосы цвета корицы, а кожа, как сандал», - подумал тогда Майкл. Сандал и корица этой девушки навсегда слились в его памяти с расплавленным медом непристойной песни. «Вот такие цвета, запахи и звуки должны быть у соития», - подумал Майкл.

У него совсем не было опыта с женщинами. Торопливый перепихнин с Авивой не в счет. Да и когда было набраться опыта? В ешиве не разгуляешься. Как выяснилось, и в армии тоже. Это у офисных солдат, у "джобников", есть время знакомиться с девушками. А боец занят так, что и словом с солдатками не перекинется, хотя девчонки из бригады «Каракал» тренировались на одной базе с "гиватниками". Но однажды, между сержантской службой и офицерской школой, его отправили в Самарию набираться боевого опыта. Их разместили бок о бок с погранцами. Так только говорится – погранцы, а на деле – специальные части по борьбе с террором.

Он стоял тогда на карауле. Было скучно, и тут пришла Авива из пограничной части. Солдатка-второгодка, ефрейтор с двумя "шпалами" на рукаве. У нее как раз образовалось время, свободное от патрулирования, и она тоже маялась без дела. Про девочек-пограничниц ходили слухи, что они все "бахуриллы" – не то девушки, ни то гориллы. Да еще через одну - лесбиянки. Но Авива была девчонка как девчонка. Среднего роста, никакая не громила, с пышной черной косичкой. Глаза тоже черные, внимательные. Поднесла ему банку холодной кока-колы. Внизу, под горкой, на которой топтался Майкл, полыхала, гремела и взрывалась арабская деревня.

- Это что там у них? Свадьбу гуляют? – спросил Майкл.

- Да нет. Пятница же сегодня. Они после проповеди возбуждаются и отправляются прямо из мечети на джихад. Покрышки жгут, камнями кидаются, в общем, бузят. Наши и ваши пошли их унимать.

- А зачем их унимать? Они же свою деревню громят. Им же хуже.

- Так лучше сразу вырубить. А то свою разгромят, за наши возьмутся. Да и потом, соглашение у нас с Палестинской автономией, не знаешь?

Она дождалась смены караула, взяла его за руку и повела за собой. Привела в вагончик, где жили пограничницы. Все девушки еще были на заданиях, и вагончик пустовал. Его строили для десяти солдат, но он вмещал пятнадцать. Проходы между раскладушками застелили спальными мешками, в углах громоздились наваленные друг на друга солдатские рюкзаки. Зимние куртки девушек, чтобы не забивать и без того тесное пространство, висели снаружи на гвоздях, словно пытаясь обогреть холодные стены.

Авива грубо расстегнула ему штаны, точно воспитательница детсада, которая торопится отпИсать трехлетку. Свои она стащила вместе с трусами и бросила на раскладушку. Потом повалила Майкла на другую койку и быстро привела его орудие в боевое положение. Села сверху, как потом понял Майкл, для лучшего контроля над скоростью процесса. Она очень спешила – девчонки могли вернуться с минуты на минуту. Кончилось все очень быстро. Майкл не успел ничего почувствовать. Ровным счетом ничего. «Хорошо, хоть не больно было», - усмехался он про себя.

Через несколько дней его отправили на дальнюю базу Хар Керен, где вообще не было никаких девушек, а только пейсатые солдаты из спецпризыва. Авива не оставила ему номер телефона, да он и не просил.

2.

Хоть Майкл не любил ешиву, но к молитвам это не относилось. Молился он трижды в день, как положено еврею. Начал еще в армии. Привычка подниматься раньше всех сохранилась до конца службы. Тогда, в армии, он вставал, принимал душ, а потом, когда другие солдаты мылись, читал утреннюю молитву «Шахарит». Не всю не

хватало времени, но "Шма, Исраэль!" и "Восемнадцать благословений" он успевал до построения. Все-таки заучил их наизусть еще в детстве, когда бегал в хедер. Он боялся пропустить молитву. Но однажды это случилось с ним. Он тогда не прочитал «Минху», не успел, потому что надо было сдавать экзамен по ночному ориентированию. Майкл добежал до мошава, еврейской деревни, и решил пройти сквозь нее, чтобы сэкономить время. Жители крепко спали, но зато его заметили, а, скорее, учуяли, свирепые уличные псы. Сначала одно рычащее чудовище погналось за чужаком, затем другое, и вот уже огромный лающий снаряд с десятью горящими во тьме глазами несся за ним, готовый завалить и разорвать на куски. Майкл тогда неожиданно скакнул в боковой проход между домами. Дикая свора, сверкающая в лунном свете косматыми протуберанцами, по инерции пронеслась мимо. Он быстро определил по звездам направление на Иерусалим, прислонился к подходящему забору и взмолился Богу. Прочитал одну за другой и предвечернюю, и вечернюю молитвы. На это ушло четверть часа. Минуты, выигранные на косяке через деревню, вернулись с процентами. К финишу он пришел вовремя, но позже, чем рассчитывал, и это сказалось на оценке и на всей его дальнейшей судьбе кадета. Майкл был уверен, что, помолись он вовремя, до старта, у него все получилось бы, как надо.

А сейчас он помолится не где-нибудь, а у Стены. Ему не надо совать туда записочки, Всевышний услышит, и, может быть, подскажет, бросить ли ешиву или продолжать занятия.

Он спустился по каменной лестнице и на минуту замер у золотой меноры, стоявшей в ожидании Третьего Храма на горе напротив Стены. Говорят, ее подарил городу какой-то "новый русский", с целью отмывания денег. Сначала менора то и дело падала, а потом ее закрепили тросами внутри стеклянного стакана, чего не было и не могло быть в Храме. Да и отлили этот подаренный мафией семисвечник не из цельного куска золота, а из дешевого металла, а позолотили только снаружи. «Фальшивка, фейк, - думал Майкл, - фальшивый, толком не знающий Учения раввин, специально сосланный в ешиву для заблудших душ. Картонные ешиботники-придурки, родители с их фальшивой заботой, особенно мать, для которой узоры на ногтях важнее сына. Да и я сам… просто паршивый неудачник».

Солнце било по не защищенной одеждой полоске кожи – сзади на шее, между воротником и волосами. «Неудачник, неудачник, - орали солнечные лучи. Ушел из "малой ешивы", думал устроиться официантом, но хозяевам ресторанов нужны студенты или дембели, а не беглые школьники. Призвался в армию, хотел стать офицером, но офицерской школы так и не окончил. Вернулся в свою часть старшим сержантом и бездарно проваландался еще полтора года. Поступил в ешиву, но оказалось, что Талмуд не по зубам, а на душеспасительные лекции не хватает терпения. Единственный опыт с женщиной – пшик. Он еще менору критикует! На донора ворчит! Этот донор, подаривший менору, сумел как-то разбогатеть в своей России, а ты разве что унаследуешь состояние отца. Самому тебе не дано приумножить то, что накопили отец и дед. Потому что ты жалкий неудачник».

У Майкла засосало под ложечкой, а в грудь как будто втиснули тяжеленный камень, стесняющий дыхание. Это было знакомое состояние. Иногда оно накатывало так беспощадно, что Майкл не мог утром подняться с постели и лежал, свернувшись улиткой, беспомощный, раздавленный и никчемный. Верное спасение в такую минуту – двигаться по солнцу, и Майкл погнал себя вперед. Зашел в павильон блокпоста. Солдаты привычно спросили: "Оружие есть?", и он привычно ответил, что нет. Пройдя блокпост, наткнулся на старуху, сжимавшую в тощем кулачке целую связку красных нитей. Они походили на китайскую шелковую кисточку, какие вешают на стенки любители фэн-шуя.

- Сынок, возьми ниточку на счастье, - старуха протянула ему нитку, - пять шекелей.

Хороший бизнес, нечего сказать. Кусок веревки стоил где-то полшекеля, а продавался за пять.

- Ты, значит, та женщина, которая дает красноту?

- Я не поняла тебя, сынок.

- Говорят, женщина дает красноту, а мужчина – белизну. Дай мне красную нитку, а я дам тебе белый шекель.

- Пять шекелей, мой сладкий.

- Шекель, и ни агоры больше, - ему не нужна была красная нитка, но просто дать денег старухе Майкл стеснялся, а покупать без торгов в этом городе было не принято.

- Хорошо, две нитки за пять шекелей, - со вздохом согласилась старуха.

Помолившись, Майкл решил зайти к Фройке. До начала вечерних занятий еще оставалось время, и он успел бы

сделать над собой то, что казалось сейчас наиболее логичным и правильным.

Фройка не жил в общаге, он снимал комнату в Старом городе. Это стоило довольно дорого, но Фройке, как и Майклу, помогали родители. Майкл толкнул незапертую дверь. Его приятель сидел на диване, по-турецки подогнув худые ноги в черных ешиботных брючках. Из-за этой привычки штаны у талмудиста вечно лоснились и пузырились на коленях. Он читал религиозную газету "А-Модиа".

- Есть? – спросил Майкл.
- Есть, - буркнул Фройка.
- Поделишься?
- Семьдесят шекелей гони, халявщик.

Майкл достал деньги, и Фройка, порывшись среди диванных подушек, вытащил холщовый кисет. Вынул нечто похожее на мшистый зеленый камень и протянул Майклу.

Майкл подошел к газовой плитке – благочестивый Фройка вел хозяйство сам, не доверяя кошерности посуды на хозяйской кухне. Зажег газ, подпалил камень с угла, а потом постучал им по разделочной доске. Трава ссыпалась щедро. Майкл достал квадратик папиросной бумаги, положил туда травяные крошки и ловким движением скрутил косяк.

"Козья ножка" загорелась, испустив высокий язычок пламени, затем успокоилась и стала куриться ровно. Первая затяжка – и словно тонкие нити светящегося раскаленного металла побежали по извилинам. Это было приятно. Вторая – и мозг разогрелся, скукожился жарким кулачком и оторвался от стенок черепа. «Вот это и есть – я в отрыве», - подумал он. В отрыве все мысли улетели, унося с собой страдание. Сейчас был только жар в голове. Только жар, как от первобытного, уютного костра с пахучими травами, и никаких мыслей.

Подходя к дому Фройки несколько минут назад, Майкл еще думал, что не умеет в жизни ничего – только бегать, стрелять и отжиматься, но даже армия, подарившая эти умения, не смогла их по достоинству оценить. А сейчас какая там армия-шмармия! Стрелобегать и обжиматься... Обжиматься, с бабами обжиматься... это он сумеет. Ах-ха-ха, как смешно! И Майкл счастливо захихикал, согнулся пополам и упал на диван рядом с Фройкой.

3.

Майкл ежедневно проделывал знакомый путь от Старого города к Стене, иногда останавливаясь у фальшивой меноры, иногда покупая у старухи красную нить. Однажды привычный ритуал нарушился. Войдя на улицу Кардо - главную пешеходную магистраль Старого города – он задумался, отключился и налетел на какого-то человека. Человек этот нес на голове деревянный лоток с питами. Лоток накренился, и питы мягко шлепнулись на каменную мостовую, добела отмытую недавним дождем и слегка обсушенную солнцем.

Майкл бросился подбирать упавшие лепешки и увидел, что перед ним сидит на корточках девушка. Она тоже подбирала питы и складывала обратно в лоток. Питы были горячие, пышные и приятные на ощупь. А девушка – да, это была она, та самая, сделанная из сандала и корицы, с зелеными искорками в глазах и прической из воздушных корешков.

- Я уронил твои питы, - сказал Майкл, - позволь заплатить. Сколько я должен?

- Да ладно. Улица сухая и чистая, дождь прошел только что. Мы их отряхнем и продадим, не беспокойся. Песок, подумаешь. В нашей стране все с песком.

- Можно, я пойду с тобой?

- Зачем?

- Песок отряхивать. Вдвоем быстрее будет.

Она засмеялась и жестом позвала за собой. Они прошли по улице Кардо в сторону арабского квартала. По дороге Майкл узнал, что ее зовут Ривка, она помогает своему дяде в лавке, но это лишь подработка. А так вообще учится в Еврейском университете, на отделении антропологии. Лавка дяди была на самой границе между еврейским и арабским кварталами. Собственно, она-то и служила границей, а покупатели шли с обеих сторон и говорили на разных языках.

- Позвони мне, я запомню твой телефон, - попросил Майкл, вынимая смартфон из сумки с талитом и тфиллин.

Он продиктовал номер и через несколько секунд услышал трель мобильника.

4 .

Она жила на улице Яффо недалеко от въезда в Иерусалим, в одном из старых домов, построенных в поздний османский период. По фасаду были разбросаны неглубокие балконы, украшенные витыми чугунными решетками – снизу, с улицы, они казались совсем плоскими, а решетки точно кто-то нарисовал тушью прямо по штукатурке. Сначала нужно было подняться по высокой темной лестнице на третий этаж. Лестница пахла кошками и отчего-то нафталином. Но в квартире Ривки противные запахи исчезали. Там пахло не только корицей и сандалом, но тысячью сводящих с ума благовоний. Ривка коллекционировала духи, в основном, маленькие пробники – на пять миллилитров каждый. В проеме глубокого окна стояли два фикуса, отделяя прохладный мир ее жилища от шумной, жаркой улицы. Между фикусами громоздились фиалы, бутылочки, скляночки, пузыречки, стеклянные колокольчики и графинчики, которые она называла "гробиками". По утрам, когда солнце тонкими лучами пробивалось сквозь листья фикусов, вся эта благодать сверкала, точно колотый лед, а по стенам прыгали разноцветные пятна, как в калейдоскопе. Отправляясь в университет, Ривка заботливо накрывала подоконник черным платком – ничто так не портит парфюмерию, как солнце.

Она состояла в интернетовском сообществе "парфманьяков". Закупка новых "красавцев" – так она именовала духи – продолжалась вечно, не говоря уж про обмен, продажу и дележ больших флаконов, называемый "распивом" – словно маньяки пили свои дурманы, а не вдыхали их. Кстати, и духи не назывались духами – только "парфюмы" или "ароматы", а простецкое "духи" выдавало профана.

Ривка обрызгивала "красавцами" все – себя, диванные подушки, занавески и кошку Хамру. Хамра фыркала, пыталась лапой отмыть чужой запах с усов, но горький вкус заставлял ее гневно мяукать и валиться на пол. В конец концов она сдавалась и шла спать на старое одеяло в углу.

Когда Майкл впервые переспал с Ривкой, он опять ничего не почувствовал и даже запаниковал. Но уже во второй раз наслаждение каплей зародилось в мозгу, скользнуло вдоль позвоночника и ослепительным цветком взорвалось внизу. Он познавал женщину – шаг за шагом, рывок за рывком.

Раньше ему казалось, что главное в сексе – хорошая мускулатура, и он гордился накачанным телом пехотинца. Но оказалось, главное – понимать женщину. И Майкл очень, очень хотел понять Ривку – все ее желания, все ощущения, все, что происходит у нее в голове, в животе... и везде.

Грудки у нее были маленькие, и между ними пролегала не ложбинка, а целая долина, широкая глинистая долина, где могла бы развернуться армия боевых гномов. Он утыкался туда носом и принюхивался. Она спрашивала:

- Что на этот раз?

- Мед, роза и какая-то травка.

- Молодец. Про мед и розу – правильно, а травка – витивер. У тебя хороший нос. Если подтянешь химию, сможешь поехать во Францию и выучиться на парфюмера.

У нее было множество странных привычек, делавших ее не похожей на других женщин. Впрочем, других он не знал. Но Майкл был уверен, что второй такой нет в целом мире. Она странным образом мыла пол. Не гоняла воду туда-сюда шваброй, как восточные женщины (его мать нанимала на уборку марокканок или йеменок), не стирала тряпку в ведре, как ашкеназки. Она протирала пол маленьким старым полотенцем, встав на четвереньки, плитку за плиткой – а это были фигурные плитки старинного дома, образующие нечто вроде пазла. Тряпку ополаскивала прямо под краном, а затем дезинфицировала раковину хлоркой. Руки после этого воняли, но Ривка наносила очередной парфюм, и вонь прекращалась. В ее квартире всегда пахло чистотой и "красавцами", а это было восхитительно, особенно после ешивы с вечным переваренным жиром казенного чолнта.

- Какая ты необыкновенная, - однажды сказал Майкл, - странные волосы – лохмушками. Странные глаза – пестрые. Губы цвета баклажана, почти черные, и соски тоже. В кого ты такая?

- Моя бабушка была йеменская еврейка, - отвечала Ривка. - Йеменские евреи - потомки прозелитов, арабское племя, принявшее иудаизм. Так про них говорят. А еще они переплывали на лодках через пролив в Африку и брали в жены девушек из эфиопов-иудеев. Так что в моих жилах течет и африканская кровь.

Жилище Ривки состояло из двух комнат – салона-спальни, с фикусами и "ароматами" на окне, и неизвестной ему каморки, которую она называла "мой рабочий кабинет".

Однажды он попытался туда войти, но Ривка жестом запретила ему.

- У каждого человека должно быть личное пространство. Не вторгайся в него. Ты и так вечно лезешь в мою кофейную чашку, тарелку, сумку. Хватит. Порог кабинета - последняя черта.

Он и в самом деле отнимал ее чашку, когда она пила кофе, вместо того, чтобы налить себе отдельно из джезвы. Ему хотелось не просто кофе - он жаждал пить ее энергию, вдыхать ее запах и пробовать вкус ее губ с края чашки. Майкл все время доедал из тарелки Ривки, а иногда даже рылся в маленькой женской сумочке, хотя Ривку это бесило.

Он слышал, что влюбленные мужчины мечтают о том, чтобы стать чашкой или зубной щеткой предмета своей страсти. Теперь такое произошло и с ним, но это было лучшее, что вообще могло произойти. За пределами ривкиной квартиры он был неудачником, горе-ешиботником, ленивым сыном преуспевающего отца. Но все это исчезало, как только он прикасался к подруге.

Несколько раз в день Ривка удалялась в кабинет. «Нужно переговорить с научным руководителем, - объясняла она. Или: - Нужно поговорить с мамой». Однажды Майкл склонился у замочной скважины, но ключ торчал с другой стороны, и ничего он так и не увидел.

В ешиве и на улицах города Майкла по-прежнему терзала депрессия. Однажды он позвонил матери и поделился с ней: тяжесть в груди, стесненное дыхание, нежелание утром вставать с постели. Мать, как ему показалось, сухо и отстраненно посоветовала сходить к психиатру. Он так и сделал. Психиатр сказал, что да, мол, депрессия, средней тяжести, без суицида и панических атак. Выписал лекарство, но предупредил, что оно снизит либидо. Некоторые мужчины даже становятся импотентами. На время, конечно, не навсегда.

Майкл взял рецепт, но не стал покупать лекарство. Стать импотентом? Нет, он не мог разочаровать Ривку. Лучшее лекарство – блаженное забытье после секса. Когда отключаются все чувства и мысли, когда не то спишь, не то падаешь в короткий обморок. Потом приходишь в себя – а в голове не мысли, а обрывки мыслей. Из них не составишь целого, а, оттого и страдания нет. Лишишься такого – и что останется? Окончательно скуриться, влезть в долги? Нет, лучше оставить все, как есть.

Майкл бросил ешиву, и ребе тут же настучал отцу. Отец перестал переводить деньги и не желал даже разговаривать. Да что уж! Давно пора работать, чтобы появились свои средства, и можно было снять квартиру побольше, для себя и Ривки. Общий салон, ему спальня, и ей – личное пространство, раз она так хочет.

Теперь Майкл Шварц был дембелем, выпускником боевой части, и его охотно принимали в любую охранную фирму. Он устроился начальником смены в гостиницу. Деньги небольшие, но в остальном – прекрасная работа. Он должен был разруливать мелкие конфликты, а это иногда было даже интересно. Только после каждой загвоздки в плавном течении гостиничной жизни ему приходилось исписывать тонны бланков и протоколов, причем по-английски, чтобы постояльцы могли с ними ознакомиться. Английский он знал лучше иврита, и начальство ценило его за это.

Если гость заявлял о пропаже вещи, ее возвращали в течение трех лет. Если проходило больше времени, или о пропаже вовсе не сообщали, потерянная и найденная вещь переходила в собственность обслуги.

Однажды Майклу достались духи – запыленный флакон темного стекла, формой похожий на сливу. Он отмыл его и отнес Ривке. Радости его подруги не было предела. Она скакала, висла у него на шее и радостно визжала:

- Это Poison! Винтажный, старого разлива! Ты сам даже не знаешь, *что* ты мне принес! Работай в этой гостинице всегда, не увольняйся!

Да он и не стал бы увольняться. Лишь бы она была довольна.

Однажды они проснулись утром, поцеловались, он омыл руки и быстро помолился, а она ушла в рабочий кабинет и заперлась там. Времени впереди было навалом – у нее с утра не было лекций, а ему на работу еще только вечером, к ночной смене. Когда он вновь объединились на кухне, выяснилось, что кофе кончился. Ривка быстро сменила флисовую пижаму на джинсы и свитер. Сказала, что скоро вернется с кофе и булочками, а Майклу поручила накормить Хамру.

Он поискал кошку, но ее нигде не было видно. Вдруг Майкл заметил рыжий хвостик в приоткрытой двери Ривкиного кабинета. Он позвал Хамру, но кошка не шла, и он решил отнести ее на кухню к кормушке. Открыл дверь кабинета, и любопытство затянуло его внутрь. Ничего

особенного: компьютерный столик с компом и принтером, шкаф с книгами. Книги на трех языках – по-английски, на иврите и по-арабски. Последнее обстоятельство не удивило: Ривка писала курсовик по каким-то арабским обычаям, Бог их разберет. Между столом и стенкой втиснулся маленький, свернутый в трубку коврик, должно быть, для занятий йогой. Вдруг Майкл заметил серый прямоугольник рядом с клавиатурой на выдвижной полке.

Он взял его – это было удостоверение личности. Майкл открыл его и остолбенел. У него потемнело в глазах. Комната качнулась, а свернутый в трубку коврик дулом танка нацелился на него.

Он осторожно положил удостоверение на место и вернулся в салон-спальню. Бессильно опустился в глубокое продавленное кресло. И тут во входной двери повернулся ключ, и вошла Ривка с банкой кофе и белым бумажным пакетом, из которого аппетитно пахло свежими булочками.

- Сейчас сварю кофе. Что с тобой? Тебе плохо?

- Зачем ты мне врала?

Она помолчала, положила пакет на кровать и села рядом.

- Быть арабкой – преступление?

- Нет, быть арабкой – не преступление. Преступление – врать.

- Я никогда тебе не лгала. Да, я мусульманка, но ты никогда не спрашивал о моей вере. Мог бы и сам догадаться. Я пять раз в день совершаю намаз, - она мотнула головой в сторону "рабочего" кабинета.

- Ты говорила, что тебя зовут Ривка Ашер. А ты – Рабаб Ашрауи!

Ее глаза сверкнули зеленым огнем.

- Раньше наша семья жила в Яффо, и я ходила в еврейскую школу. Не я одна, кстати, нас там было несколько таких. Учительнице казалось, будто Рабаб – грубое и неблагозвучное имя. Она меня переименовала, и я с тех пор пользуюсь двумя именами. Как и ты, между прочим. Ты ведь тоже Михаэль и Майкл.

- Но... йеменская бабушка?

- А вот это правда. Моя бабушка – йеменская еврейка. Когда их сюда привезли, они думали, что попали на Землю Обетованную. Но сионистам нужно было пушечное мясо для войн и дешевая рабочая сила. Семью бабушки поселили в жестяной лачуге посреди пустыни. Когда зимой шел дождь, они не слышали друг друга, так сильно гремела металлическая крыша. Ножки стола ставили в банки с

водой, чтобы тараканы не заползали в тарелки. Дети в тех лачугах мерли как мухи. Так что бабушка – она была еще совсем молодая – не возражала, когда сын шейха ближайшей деревни стал ухаживать за ней. А потом от нее отреклась семья. После этого она приняла ислам и переехала в деревню. Дедушка ввел ее в трехэтажный дом, они никогда и ни в чем не знала отказа. Ну, а уж маму бабушка и дедушка выдали за мусульманина, естественно.

- Бабушка, мамина мама? Так ты еврейка по Галахе!

- Думаешь, у вас я еврейка, а у нас – арабка? Все совсем наоборот. У вас я Рабаб Ашрауи, то есть террористка и враг. А у нас… Никто не простил моей семье, что они определили меня в еврейскую школу. Я только в универе своя. Там нет арабов и евреев, а есть преподы, студенты и аспиранты. Там мой арабский – преимущество. Еще один язык, который далеко не все знают.

Он в полном замешательстве теребил черную кудрявую бородку, не зная, что сказать.

- Ну, кончай кукситься. Идем пить кофе, а то булочки остынут.

В общем, Майкл мог бы уйти от нее. Но его место в общаге уже заняли, а дома ждал резкий разговор с отцом. Снять комнату в одиночку не так-то просто. И потом – Майкл наконец признался в этом себе - он подсел на Ривку, как на наркотик. Если бы он мог целиком залезть в ее лоно, найти убежище в его темной, сырой и жаркой тесноте, пахнущей разогретыми на солнце пальмовыми листьями, он сделал бы это, не раздумывая.

Однажды, лежа на спине и позволив ей запустить тонкие пальцы в завитки на его груди, он сказал:

- Ты еврейка по Галахе, по нашему закону. Мы можем пожениться.

Она засмеялась:

- Пожениться? Уже? Сколько мы знакомы?

- Мы знакомы вечность. В той среде, откуда я вышел, девушку и парня знакомят, и если через месяц они не женятся, значит, сватовство провалилось. Тогда их надо заново знакомить с кем-то другим. Конечно, я плохой еврей. Я жил с тобой, не дав тебе брачной грамоты - ктубы. Ты не ходила в микву. Но все это можно исправить.

- Я должна принять иудаизм?

- Не совсем. Ты и так еврейка. Просто скажешь в раввинском суде, что раскаиваешься в своих прежних поступках. Вот и все.

- Если родители узнают, мне несдобровать. Особенно, если узнают, что мы уже жили вместе.
- Тебя убьют?
- Нет, что ты. Но могут держать взаперти, пока не найдут подходящего жениха. Нет. Легче уж тебе принять ислам.
- Ислам? Мне? Ты шутишь.
- Да вообще-то нет никакого ислама, иудаизма и христианства. Это все одна и та же религия. Семитский монотеизм. Ну, или религия Авраама. Все, кто верят в Единого Бога, принадлежат к нашей общей религии. Остальное – этнокультурные различия. Можешь мне поверить как антропологу.
- Ты самый красивый в мире антрополог, - он потянулся губами к ее губам, - а что потом? Как мы поженимся?
- Если ты примешь ислам в шариатском суде этой страны, и сделаешь мне никах – родители очень быстро узнают об этом. У нес все знают обо всех, даже без интернета. Трудно представить, что они могут учинить. Конечно, ты уже будешь мусульманином, но у нас не женятся без благословения семейного клана. Нет уж, знаешь, давай жить, как жили.
- Чертова страна, здесь даже нет гражданского брака, - проворчал Майкл, - увезти, тебя, что ли в Америку? Поженимся в мэрии, а потом, если захотим, вернемся. Как тебе такой вариант? Хотя мне это ничего не даст. Все равно – брак без ктубы.
- Да зачем мне твоя ктуба?
- Затем, что это самый древний в мире документ, гарантирующий женщине ее права.
- Какие еще права?
- Быть наследницей мужа, например.
- Ах ты, богач ты мой!
- Не смейся. Мой папа недавно продал небольшую отрасль израильской промышленности, и об этой сделке писала экономическая газета "Глобс".
- Хорошо, что я не читаю "Жлобс". А то бы от смеха умерла. Миллионер-охранник, это ж надо!
- Принцесса Диана, если хочешь знать, работала няней, пока не вышла замуж за принца Чарльза, - он повалил ее на подушки, - ты моя принцесса, я тебя обожаю!

Это были счастливейшие дни в его жизни, наполненные смехом, ночными прогулками по Иерусалиму, сандалом и мускусом, амброй и амброксаном. Вопрос о свадьбе время

от времени возникал в их разговорах, затухал и вспыхивал снова.

Однажды Ривка сказала:

- Знаешь, я ни в какую Америку не поеду. Родня меня и там достанет. Надо уехать туда, куда не ходят поезда и не летают самолеты. В закрытое царство, где нас не найдут.

- В Северную Корею, что ли? Мы там с голода умрем. Или нас казнят за непочтение к великому лидеру Ким Чен Ыну.

- Да нет. Наше закрытое царство совсем близко. Тут, на Аравийском полуострове.

И она стала рассказывать о царстве равенства и свободы, где нет богатых и бедных, нет показной роскоши, и жизнь проста, как в древности.

Они сидели на кухне и ели чечевичную похлебку, приготовленную Ривкой. Ах, эта чечевичная похлебка! Ласкающая нёбо и гортань бархатистая и густая, из разваренных, фисташкового цвета зерен и мелко нарубленной картошки! Этот ни с чем не сравнимый аромат, рядом с которым все "красавцы" – просто напыщенные пошляки. Эти переливы желтого и зеленого, с красными пятнами моркови и сладкой паприки, присыпанные молотым кориандром и черным перцем! Когда Ривка впервые сварила свой райский сладко-острый суп, Майкл заикнулся было, что блюдо это библейское и древнее. Эсав, ворвавшись к брату своему Яакову, потребовал у него "красного, красного этого". Ривка возразила. Во-первых, слово "адом" в древнем иврите означало "коричневый", коричневый, как глина, как земля – "адама". А во-вторых, блюдо не только еврейское. Арабы его тоже готовят, да и весь Ближний Восток. Такую похлебку варили еще шумеры и аккадцы, так что споры арабов и евреев о первородстве беспочвенны. Обе цивилизации - просто малые дети по сравнению с теми, кто жил здесь до них и бесследно исчез с коричневой глинистой Аравийской земли.

На это раз Ривка тоже заговорила о древности.

- Мне кажется, - начала она, отхлебнув немного супа, - что я не арабка и не еврейка. Я – химьяритка.

- Химьяритка? Что это значит?

- Когда-то на территории современного Йемена находилось царство Химьяр. Химьяритская знать разбогатела на торговле благовониями. Впрочем, благовониями торговал весь Ближний Восток. Они возили нард, алой и киннамон, из Индии приходили караваны с

сандаловым деревом, а евреи выращивали драгоценный афарсемон, масло которого ценилось буквально на вес золота. Но люди царства Химьяр умели еще и воевать. Они захватили сначала весь нынешний Йемен, а к седьмому веку новой эры – почти всю Аравию. Химьяр стал огромной страной, соперничавшей с Византией и Эфиопией. Его населяли язычники, христиане и иудеи. Большинство иудеев не происходили от евреев. Это были воинственные и жестокие кочевники, принявшие иудаизм. И царский род химьяритов – тоже. Различие в вере помогало царям Химьяра противостоять христианской Византии.

Тогда все народы Аравии воевали между собой. Арабские языческие племена постоянно шли войной друг на друга. А иудеи-химьяриты, объединившись с некоторыми язычниками, воевали с другими язычниками и христианами. И тогда пророк Мухаммад решил положить этому конец. Он решил объединить всех под началом новой веры – ислама. "Ислам" значит "подчинение", покорность Единому Богу. Он хотел создать новое государство – Умму, в котором все, кто верит во Всевышнего – иудеи, христиане и мусульмане – нашли бы свое место, и воцарился бы мир.

- У него получилось? – спросил Майкл, заранее зная ответ.

- Сначала получилось, - Ривка нахмурилась, - но потом что-то пошло не так. Однако сегодня Всевышний дает нам второй шанс. Умма уже существует. Пока что она объединяет только мусульман. Истинных мусульман, тех, кто верит по-настоящему. На территории Халифата – так называется новое государство – нет бедных и богатых. Там нет показухи, которой пропитана вся современная культура. Никаких трендов-брендов. Никакой дубайской позолоты на дверных ручках. Все живут в простоте. Слишком богатые и роскошные мечети разрушены. Люди молятся в простых помещениях с белеными стенами – совсем, как ваши синагоги. В Халифате нет ворья. Там даже двери в домах не запирают. Товары можно брать в долг без кредиток – продавцы и покупатели доверяют друг другу. Мужчины там – мужчины, а женщины – женщины. Они могут не работать, если им не хочется. Согласно шариату, мужья обязаны обеспечивать жен, они и обеспечивают. А здесь... Нет, ты молодец - отдаешь мне деньги на хозяйство, почти всю зарплату. Но посмотри на моих подруг-евреек! Стоит мужчине прийти в дом, как выясняется, что он готов только

брать. Поставь в ряд их любовников – это же вереница нахлебников, альфонсов, и больше ничего.

Майкл слушал ее, не зная, верить или нет. Он бы не поверил, если бы нашел в «ю-тьюбе» сцены из жизни Халифата. Но тогда это новое государство только-только начиналось, и никаких роликов про него в сети еще не было, за исключением саморекламы. Да и Майкл, недавний ешиботник из ортодоксального дома, лишь недавно купил себе лэптоп, и теперь занимался освоением компьютерной грамотности.

- Я обрезан, - наконец сказал он, - твои химьяриты быстро поймут, что я еврей. Насколько я знаю, евреев в этом регионе никто не любит.

- А ты прими ислам. Какая тебе разница? Ты же сам вечно ноешь, что у тебя голова пухнет от комментариев к Торе и комментариев на комментарии, от всех этих устрожении закона и облегчений на устрожения. Все это тоже завитушки культуры вокруг простого здания веры. Архитектурные излишества ради умственной роскоши. А она так же противна, как и физическая. Надо опроститься по всем линиям. Ни трендов, ни брендов, ни витиеватых мудреных построений. Пророк Мухаммад обещал своим последователям, что их жизнь станет легче. Легче по сравнению с чем? С жизнью иудеев, конечно.

- Ты никогда не откажешься от роскоши, - сказал Майкл.

- Почему?

- "Красавцев" своих не сумеешь выкинуть. Ты же потомок тех, кто возил благовония. Сама говорила, что духи – это душа. Как же ты без души?

- Там у меня будут настоящие ароматы. Из природных экстрактов, не химия. И на масляной основе, потому что мусульманин не должен пользоваться алкоголем. Но одного "красавца" я бы все же оставила.

Она подошла к окну и вернулась с ярко-голубой стеклянной звездой, вытянутой по косой, с острыми лучами. Один луч металлический – то была крышечка. Ривка прыснула в нее из голубой звезды и поднесла к носу Майкла:

- Что на этот раз?

- Это сладость какая-то. Но неземная. На Земле ничего подобного нет. Сладость из космоса.

- Ты гений! Нет, тебе надо учить химию и поступать в школу парфюмерии. Это этилмальтол. Для одних он пахнет сахарной ватой и детским праздником, для других –

шоколадом, для третьих – жженым сахаром. Но ты прав – в природе нет подобной сладости с металлическим привкусом. Это духи "Ангел", и они про неземное.

Она не стала давить на него. Разговор был забыт. Как оказалось позже, забыл о нем только Майкл. Ривка через некоторое время снова завела речь о том, что надо бы ему стать мусульманином. На этот раз он отказался решительно и резко.

После этого наступил этап отчуждения. Они по-прежнему жили вместе, спали и ели вместе, но Ривка отдалилась от него. Ее мысли как будто унеслись к той голубой звезде, где обитала неземная сладость. По вечерам, вместо того, чтобы выйти к пешеходной зоне между улицами короля Георга и Яффо, найти кафешку и усесться там над чашечками горячего ароматного кофе и пирожными, они разбредались по разным комнатам, и угрюмо сидели, уставившись каждый в свой компьютер. Майкл ковырялся в «ю-тьюбе» и «фейсбуке», а Ривка вообще ушла в какое-то неизведанное пространство. Как понял Майкл, она виртуально путешествовала по стране свой мечты – новой Умме, Халифату.

Однажды она объявила:

- Милый, нам нужно расстаться. Я уезжаю.

- Куда?

- Сначала в Турцию, а потом в Сирию. В Халифат.

- Ты сошла с ума! В мусульманской стране ты даже из дома не сумеешь выйти без мужского конвоя. Ты все время жалуешься, что твоя семейка на тебя давит. Но они хотя бы давят издали, не мешают учиться. А что будет там?

- Я не могу здесь больше оставаться. Здесь я ни то ни сё. Черт с ним, с универом. Ну, стану я антропологом. Выжить не смогу все равно, если грант не добуду. Моя подруга вот не получила грант, как большинство, и теперь работает кассиршей в супермаркете. Кстати, там, в Халифате, мне будет, что исследовать. Не понравится – вернусь на Запад и напишу книгу. Поедем со мной, а?

Майкл решительно отказался, и этим отрезал ее от себя. Она перестала с ним разговаривать и принялась сосредоточенно готовиться к отъезду. Не продлила договор об аренде квартиры и велела Майклу искать новое жилье – для себя одного. Упаковала чемодан. Съездила ненадолго куда-то и вернулась с иорданским паспортом – собиралась путешествовать с ним. Все это время они почти не

разговаривали. Тяжеленный камень снова водворился в его грудь и лег на сердце.

Нужно было продать коллекцию парфюмов. Каждый день к Ривке приходили парфманьячки. Иногда они садились за стол на кухне – по двое, по трое, и совершали "распив" – делили на двоих-троих содержимое одного флакона. Приносили с собой пробирки и крошечные пузырьки с притертыми пробками, вроде старинных аптекарских, вооружались миниатюрными парфюмерными воронками и разливали содержимое "красавцев", ахая и охая от восторга. Кухня гремела от какофонии запахов. Майкл, если был занят готовкой, не выдерживал и уходил в салон. Многие парфманьячки говорили между собой по-русски, а на иврите - с сильным русским акцентом. Но попадались и арабки. Эти оглядывали его с напористым любопытством и что-то говорили Ривке по-арабски, видно, спрашивали о нем. Она отвечала, и они принимались болтать и хохотать. Здесь он впервые вступил на зыбкую почву безъязычья. Однако звуки арабской речи в устах Ривки звенели усладой чувств, как и все, что она делала. Раскатистое "р", которое у других трещало, как пулеметная очередь, у нее нежно чирикало птичьей трелью. Гортанные звуки у других арабов казались рвотными спазмами, а у нее – мистическим горловым пением, призывающим потусторонние силы. Майкл старался не обижаться на то, что они исключили его из общего разговора, и просто слушал ее прекрасное соло в сопровождении хора подпевал.

"Красавцев" на окне становилось все меньше и меньше. Разноцветные солнечные блики уже не скакали утром по стенам. Из мебели остались только два стула и кровать. Любовники по-прежнему спали вместе, но вечером Ривка поворачивалась к Майклу спиной и делала вид, что уснула, а он делал вид, что не хочет ее будить. С исчезновением разноцветных пятен на стенах Майклу стало казаться, что мир опять почернел, а, может быть, мир не изменился, просто он смотрел на него сквозь закопченное стекло. Он знал, что тусклый мир – следствие депрессии, но все, чем он до сих пор лечился, было отнято у него.

Рыжую кошку Хамру пристроить было куда труднее, чем "красавцев". Ривка давала объявления, умоляла друзей и подруг, но обстоятельства не позволяли им забрать кошку. В конце концов, Майкл позвонил Фройке, и тот неожиданно согласился.

Фройка сидел, как всегда, по-турецки, посреди старенького дивана. Хамра, сообразив, что к чему, прыгнула на диван и принялась тереться наглой рыжей мордой о колени в вытянутых блестящих штанах.

- Какие же проститутки эти кошки! – в сердцах сказал Майкл. - Я ее кормил, шерсть ей вычесывал, а она…

- Кошки? А женщины? – хмыкнул Фройка.

- А что ты знаешь о женщинах?

- Меня хотят женить. Встретился уже с тремя. Бывшие наркоманки, раскаялись и теперь учатся в религиозных семинариях. Даже не пытаются скромниц изображать. Взгляды бесстыдные, лица распахнутые.

- Как это – распахнутые?

- Ну, такие, знаешь… Глаза широко расставлены, ноздри раздуты, щеки разъехались к ушам, губы вывернуты. Они и ноги так же легко распахивают, будь уверен. А что у тебя? Кажется, ты живешь с подругой?

Мкйкл немного помялся, но не выдержал и рассказал Фройке все. Тот слушал, выпучив глаза, и аж рот раскрыл от удивления.

- Это не женщина, а демон! – заключил он. - Рабаб! Что это за имя? У женщин не бывает таких жутких имен! Она хочет уехать? Прекрасно! Главное, не удерживай. Она – та самая Лилит, которой нас в хедере пугали. Когда просыпаешься мокрый и понимаешь – демоница тебя терзала. Ну, парень, ты и влип.

- Да брось ты. Обычная девушка. И потом, она еврейка.

- Откуда ты знаешь? Это она так говорит. Она – Рабаб, а ты – раб баб, - подытожил Фройка.

Фройка не тот человек, которого можно было слушать всерьез. Особенно после истории с монахом. Что он знал о жизни? Да ровным счетом ничего. Единственные умения – добывать хорошую траву и копаться в Талмуде. Но это все не значит, что к его советам нужно прислушиваться. И Майкл отправился к себе домой в полной уверенности, что разберется со своими делами без фройкиных советов.

Он услышал рыдания еще с лестницы. Рыдала Ривка, лежа ничком на их широкой и одинокой кровати.

Он сел рядом, положил руку ей на плечо.

- Милая, ну перестань. Тебе так тяжело расставаться с Хамрой?

- Дурак. Я не могу расстаться с тобой! Я люблю тебя! – ее тело дрожало, а лицо покраснело от слез. Это не могла быть театральная истерика. Она не знала, когда Майкл

вернется от Фройки, но, видно, рыдала уже давно – голубые цветочки на одеяле потемнели от слез и стали печально-синими. Майкл лег рядом, Ривка повернула к нему мокрое лицо.

- Ну, так не уезжай! Оставайся со мной! Женимся где угодно. Хочешь – на Кипре? Хочешь – в Праге? Это, конечно, не шариатский брак и не хупа, но мы не можем иначе – у нас разные веры. А в нашей стране, ты знаешь, гражданского брака нет.

- Я должна уехать. Меня прессуют с двух сторон. Родители нашли какого-то жениха и требуют, чтобы я приехала на смотрины. Кто-то, видно, донес им, что я не одна. Кто-то из этих чертовых кукол, что покупали мои парфюмы. А вчера после занятий в универе меня опять выловил агент ШАБАКа. Хотят, чтобы я стучала на младшего брата. Он еще совсем мальчишка, но успел вступить в Исламское движение Севера, и они... и он.., - она снова заплакала.

Майкл подумал и словно в холодную воду бухнулся:

- Ладно. Я приму ислам и женюсь на тебе по шариату, где скажешь. Я не могу без тебя, и ты не должна ехать туда одна. Для тебя это опасно, ведь так?

Они обнялись. Теперь оба плакали, вытирая слезы о волосы друг друга. Он гладил ее по растрепанным прядям, похожим на воздушные корешки сикомор, и она тоже погладила его по голове, прямо по бархатной кипе на железной заколке.

В последующие три месяца оба неустанно готовились к отъезду. Ривка учила Майкла арабскому языку. Он узнал, что "хамра" означает "красная". Он освоил небольшое количество слов, похожих на ивритские, с теми же корнями, но иным значением. Близким по смыслу, но другим, слово иврит вывернули наизнанку. Ривка сказала, что принять ислам очень просто. Надо трижды повторить перед шариатским судом шахаду – клятву: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммад – пророк его». Майкл никак не мог выучить шахаду наизусть. На него словно напало то старое армейское беспамятство. С первой частью клятвы он был согласен – да, Бог только один, нет другого. Он ведь и сам говорил это ежедневно в молитве "Шма, Исраэль!" Но вот со второй частью возникали проблемы. Он путал слова, никак не мог запомнить, сколько ни зубрил. Видно, мозг сопротивлялся тому, во что он не верил. Ривка учила его и

основам ислама. Тем не менее, Майкл продолжал есть кошерную еду и соблюдать субботу.

- От шабата до шабата по закону шариата, - шутили они. К ним вернулась прежняя любовь, и все происходящее казалось подготовкой к грядущему соединению - уже навеки.

Перед отъездом он снова зашел к Фройке – хотел оставить у него свой израильский паспорт. Майкл решил путешествовать с американским – так все-таки надежнее. Кто их знает, может, они не любят израильтян, пусть даже принявших ислам. Вот и Ривка собралась в Турцию с иорданским паспортом.

- Ты хоть по телефону отвечай, шлимазл, - попросил Фройка, - и номер твоего папы оставь. В случае чего я его найду. Если отвечать перестанешь.

- Можно мне? – спросил Майкл. - У тебя есть? Я заплачу.

- Да ладно, халявщик. Давай так. На прощанье.

Они скрутили "джойнты" и затянулись. Горячие токи побежали по высохшим руслам сезонных рек, мозг повис в космосе маленькой красной планетой, а над ней загорелась отчаянная голубая звезда с острыми лучами. Под голубой звездой все было едино – друзья и враги, забытые слова одних молитв и недоученные – других, оставленные позади века и страны. Его ждало царство Химьяр, сказочное царство равноправия. Только там он мог любить свою женщину, только там они могли быть равны и неразделимы, как неделимо красное и белое в теле человека.

5.

В их последнюю ночь на улице Яффо Майкл сказал:

- Я не знаю, как у мусульман проходит помолвка, а у нас жених и невеста дарят друг другу подарки. Вот, держи, - он протянул Ривке небольшую картонную коробку, перетянутую алой шелковой лентой.

Она открыла и ахнула:

- Боже мой! Какая красота! Это же настоящая иерусалимская филигрань! Почти забытое искусство!

Ривка вытащила объемистый, но легкий браслет из тончайших нитей светлого серебра и попросила Майкла застегнуть его на запястье. Он пришелся точно впору. Браслет Майкл раздобыл в маленькой антикварной лавочке в Старом городе.

- Погоди! Я ведь тоже должна что-то подарить тебе. Браслет я, извини, не купила, но на время сойдет и это.

Она встала, порылась среди вещей, приготовленных для бесплатной раздачи, и вытащила красную нитку - одну из тех, что продают у Стены плача. Повязала ему на руку. Он удовлетворенно вздохнул:

- Женщина дает красное, а мужчина – белое. Теперь мы обручены.

Стамбул оказался радушным и дружелюбным восточным городом. Точнее, восточным и западным одновременно. В этом он походил на Тель-Авив – та же вальяжная лень, простота обращения, но в то же время быстрота и расторопность Запада. На улицах звучали языки Европы и Востока, а турки относились к чужестранцам незлобиво и терпимо. По улицам и рынкам гуляла самая пестрая и разнообразная толпа, какую можно было найти в этой части света. Одни были несомненными мусульманами, другие – обычными европейцами, но никто никому не мешал. И женщины отличались пестротой – одни в платочках, другие в хиджабах, третьи простоволосые, а четвертые – как еврейки из религиозных поселений Иудеи – в пышных тюрбанах из хитро переплетенных, закрученных шарфов. Ривка тоже замотала голову черным шарфом. Майкл узнал его – тот самый, которым она защищала своих "красавцев" от губительного солнца.

Первые три дня они шатались по городу, навещали, как прочие туристы, знаменитые дворцы и мечети, катались по Босфору на водном трамвайчике, на нижнем ярусе Галатского моста ели сочную жареную рыбу, завернутую в лаваш.

Стоя под сверкающими изразцами парадной залы дворца Топкапы и задрав голову к льющему свет куполу, Майкл задумчиво рассматривал арабские надписи, золотыми ящерками застывшие на бело-голубых плитках. Он спросил у Ривки:

- И вот эту красоту твои химьяриты пытаются разрушить во имя равенства? Строят грубые, как сараи, мечети? Тебе не жалко?

- Не забывай, что здесь происходило. Сюда привозили пленниц для султанского гарема. Их принуждали забыть родину, отца и мать, язык и веру. Им запрещали даже произносить свое настоящее имя. Тут каждая плитка насквозь пропитана кровью. Девочки-кочевницы, как правило, не проживали в гареме и двух лет, умирали от

оспы или туберкулеза. Только при Сулеймане Великолепном их начали одевать, кормить и лечить. А до того здесь был настоящий концлагерь – темные сырые помещения без окон, юные рабыни в лохмотьях…

Майкл подумал, что Турция прошла огромный путь от рабынь в лохмотьях до женщин в очках от «Prada» и золоте, и не надо начинать все сначала. Но он ничего не сказал, потому что королевство Химьяр прочно держало разум и чувства Ривки в своих глиняных объятьях.

На четвертый день в гостиницу явился молодой человек лет тридцати, черноглазый и чернокудрый восточный красавец, с модной, едва проросшей бородкой, словно размазанной по щекам. Он представился Расулом. По-арабски Расул не говорил – они общались по-английски, а его Расул знал плоховато. Назвал себя кавказцем и пояснил, что его родной брат уже давно живет в Халифате. У Расула был хороший знакомый в турецком пограничном городе. Он-то и проведет Ривку и Майкла в Халифат, по одному ему известной тропе. До городка Расул довезет их на машине, сдаст на руки проводнику, а тот – сирийцам по ту сторону границы. Вот и все. На это потребуется пара тысяч долларов наличными. О наличке они с Ривкой позаботились заранее.

А до отъезда в пограничный городок предстояло еще сходить в шариатский суд и принять ислам. Расул и это пообещал устроить – дело простое, не требующее особой подготовки. К тому времени Майкл уже затвердил шахаду наизусть, и не путал слова.

Он уже не беспокоился ни о чем. В самом деле, если мусульмане по ту сторону границы такие же, как и эти – бояться нечего. В Стамбуле Майкл не раз признавался, что он израильтянин, и это не вызывало ничего, кроме дружелюбных улыбок и ласковых приглашений войти в лавку.

Вечером они заказали пиццу и уселись перед телевизором, где выступала переливчато блестящая турецкая певица – звук они почти убрали, чтобы не мешал разговору.

- Как ты говоришь, называется этот пограничный город? – спросил Майкл.

- Эль-Рукх. Как птица Рух почти.

- Что за птица, расскажи.

- Это огромная птица. Когда она летит по небу, крылами заслоняет солнце.

- Кажется, я ее знаю. У нас она называется птица Зиз.

- Про нее говорится в арабских сказках. Например, история мальчика по имени Синдбад. Он работал на рынке – доставлял товары в дома покупателей на собственной спине. Однажды мальчик попал в дом богатого горожанина, которого, как ни странно, тоже звали Синдбадом.

- Значит, это был один и тот же человек, - заметил Майкл, - ведь у арабов тоже есть мистика, да? В мистических текстах два персонажа, носящих одинаковое имя – всегда один и тот же человек в разных духовных состояниях.

- Да, мистика у нас есть. Суфизм. Так вот, второй Синдбад был мореходом. Хождение по морю у суфиев – поиски Бога. Наверное, ты прав. Первый Синдбад гонял с товаром по рынку, то есть был погружен в мирскую суету. А второй искал Бога. Но это был один и тот же человек. Бога он не нашел, зато попал на остров, поросший диким виноградом. Там его поработил злой старик. У старика не было ступней, только острые кости ниже коленей. Он не мог ходить сам, и Синдбад таскал его на спине. Старик втыкал ему в бока свои острые кости и заставлял бежать вперед.

- Ясно. Этот старик – суетность, алчность и прочие житейские страсти. Сами по себе, без человека, они не ходят по земле. Им нужен носитель. И если оседлают, то уж заставят побегать. Синдбад сумел избавиться от старика?

- Да, сумел. Он незаметно собрал виноград, выжал сок, дал ему перебродить и напоил всадника. Тот опьянел и упал на землю. И тогда Синдбад нашел яйцо птицы Рух… и там еще были всякие приключения, а потом Рух донесла его до дома.

- Ну, вино в Каббале – символ постижения. Страданиями он достиг веры, избавился от тщеты и нашел тайну. Яйцо, из которого появляется птенец – это раскрытие тайны, наверное. Ну, и птица доставила Синдбада домой, то есть к Творцу. Однако, пройдя первый круг превращений, он снова стал маленьким мальчиком и был вынужден начать все сначала, правда, вооруженный памятью о первом круге.

- Смотри, сколько всего интересного мы рассказали друг другу, - Ривка положила голову на плечо любимого, - ты мне про вашу мистику, а я тебе – про нашу. А сколько еще мы узнаем! Там мы встретим сирийцев и персов, афганцев, пакистанцев! Ты соберешь больше мудрости Востока, чем обещал вам ребе в ешиве. А я все запишу. Когда-нибудь из

этого соберется книга. Невиданная книга, какой еще не было на земле.

6.

Расул сдал их на руки проводнику – неразговорчивому человеку лет пятидесяти. Следующей ночью они оставили городок Эль-Рукх. Провожатый вел их тропой, которая шла вдоль старой городской стены, постепенно снижаясь, спускаясь к разлому между горами, похожему на вади в окрестностях Иерусалима. Из-за городской стены, похожей на груду камней, скрепленных между собой, как казалось Майклу, землей, нанесенной сюда еще во время сотворения мира, долетали теплые, густые кофейные волны. Там, за стеной, собравшись под низкими сводами кофеен, мужчины пили черное пенистое варево и курили кальян, пока их жены завершали дневные дела и укладывали спать детей.

Проводник шел впереди, за ним – Ривка, а Майкл замыкал шествие. Это было похоже на экзамены по ночному ориентированию, – надо бежать, не обращая внимания на красоту окружающего мира. Только в армии у него была карта, которую, правда, отбирали перед экзаменом, но он всегда отпечатывал ее в мозгу – за время службы у него испортилась словесная память, зато развилась зрительная. Но здесь карты не было, ее заменяли знания провожатого. Майклу приходилось то и дело уклоняться от острых колючек: кроны деревьев, росших между стеной и тропинкой, представляли собой что-то вроде мотков сероватой колючей проволоки. В свете ранних звезд колючки отсвечивали старым серебром.

Солнце садилось, и небо по ту сторону вади затопили облака, похожие на сгустки лиловой крови. Видно, там, по ту сторону разлома между горами, где садилось солнце, за невидимой пустыней, билось о невидимый берег Средиземное море. Майкл не смотрел в ту сторону. Все его сосредоточенное внимание уходило на то, чтобы четко впечатывать носки армейских ботинок в сколы камней, которыми была утыкана тропа. Его чуткий нос улавливал слабый глинистый запах со дна вади. На минуту он остановился, чтобы перевести дух, и в последних лучах солнца увидел, что земля там, на дне, вся покрыта трещинами. Это было русло пересохшей речки.

Он снова побежал вперед, догоняя свою подругу, которая прыгала по камням с легкостью козы. Противоположный берег пересохшей реки начал вздыматься, подниматься все выше и выше, превращаясь в гору. На ее обращенном к реке склоне темнели черные глазницы. Это были отверстия пещер. В таких когда-то прятались изгнанные царями пророки, отшельники всех мастей и повстанцы разных эпох.

Они шли дальше уже медленнее – проводник сбавил ход. Неожиданно из двух черных пещер-глазниц вытекли слезы и покатились по холму к руслу реки. Майкл не сразу понял, что это люди. Они взобрались вверх по ближнему склону, окружили проводника и о чем-то заговорили по-арабски. Майкл подошел поближе.

Их было трое. Молодые мужчины в черной форме. Широкого покроя куртки и не доходящие до щиколотки штаны. На головах тюрбаны. Это все, что Майкл успел рассмотреть до того, как один из них подошел к нему и резко рванул вниз лямку его рюкзака.

- Не бойся, - сказал проводник на ломаном английском, - это таможня. Сейчас документы проверят.

Но не успел Майкл сообразить, что происходит, как услышал крик Ривки. Она что-то кричала по-арабски. Двое "таможенников" схватили ее за руки, и один из них потянул на себя белый серебряный браслет, который Майкл подарил ей в знак их союза.

В армии он учил "крав мага", контактный бой, когда-то изобретенный чешскими евреями для защиты от погромщиков. Инструктор говорил:

- Стреляй, а если кончились патроны, бей прикладом. Отняли оружие – бей каской. Нет каски – бей головой.

У него не было автомата и каски. Майкл ударил головой одного из тех, кто держал Ривку. Он услышал хруст носовой кости и почувствовал запах крови. Теперь он мог напасть на второго, не дав первому опомниться, но тут его самого сильно ударили сзади по голове, и он отключился.

Ему снился первый год в армии. Его ребята из «Гивати», и он вместе с ними, сидят в тесной "жесточке" – бэтээре, переделанном из трофейного советского танка, захваченного на Синае. Отчаянно грохочет мотор, жесточка трясется по камням полигона.

Майкл открыл глаза. Он лежал на грязном полу со связанными за спиной руками, а жестянка, куда его втолкнули, качалась, словно на волнах. Должно быть, его погрузили на катер. Катер? В пустыне? Во рту он ощутил

железистый вкус крови, и нос заполнила вонь разогретого и грязного металла. Воняло с пола, на котором он лежал. В следующий момент Майкл понял, что никакой это не катер, а вертолет. Он понял это по характерному шуму мотора и вращающихся лопастей над головой. То, что он принял за волны, был бушевавший снаружи ветер. Майкл завозился, пытаясь перевернуться на спину, но вокруг раздалось сразу несколько голосов. Его пнули сапогом в зад, потом кто-то кольнул иглой в предплечье, и он снова провалился в армейский сон про жесточку и ребят из «Гивати».

Он пришел в себя уже в другом месте. Точнее, он пришел не в себя, а в кого-то другого. У этого другого болела голова сразу в двух местах – там, где ударил он, и где ударили его, а на руке не было красной нити. Он лежал на низком топчане, покрытом засаленными потно-вонючими тряпками. На нем была чужая одежда - свободная серая роба и серые штаны, слишком короткие для его роста. Теперь его звали просто Пленник. Он очнулся в пленника и стал им.

Пленник сел и огляделся. Посмотрел вниз и пошевелил пальцами босых ног. Его американские солдатские ботинки, купленные через интернет, исчезли. На полу рядом с топчаном валялись тряпичные шлепанцы с резиновой подошвой. Рюкзак с деньгами, паспортом и прочими вещами пропал. Но самое главное – он был один, без Ривки.

Топчан, на котором он сидел, находился в комнате с голыми бетонными стенами. Бетон кое-как нашлепали поверх арматуры, широкими бросками. Местами он растрескался, как дно пересохшей реки, по которой тот, другой, кого звали Майклом, шел еще совсем недавно… или давно? В стене позади топчана светилось маленькое окошко с торчащими из нижнего края кривыми стеблями арматуры, не доходившими до верха оконного проема. В окошке занималась заря, а может быть, закат, окрасивший оранжевым противоположную стену, из которой выступало жестяное корыто с дырой, не переходившей в трубу, и ржавый кран над корытом.

Пленник встал и попытался отвернуть кран. Вытекло с жалобным вздохом несколько темных, как кровь, капель, тут же просочившихся сквозь дыру прямо на пол, такой же неровный, как и стены. Больше в комнате не было ничего. Ничего, не считая двери рядом с умывальником и дыры в полу у пустой четвертой стены. Пленник подошел к дыре.

Она уходила вниз бетонной трубой, испачканной старыми экскрементами. Из дыры несло немытым сортиром, аммиаком и гнилью.

Пленник подошел к двери и толкнул ее. Она неожиданно растворилась, но, когда он попытался высунуться, прострекотала автоматная очередь, и пуля свистнула в миллиметре от его носа. Он тут же захлопнул дверь и снова уселся на топчан.

Его положение было ужасно, но, как все депрессивные люди, Пленник постоянно ожидал от жизни какого-нибудь кошмара, поэтому произошедшее опечалило, но не ошеломило его. Медленные мысли ползли в ушибленной голове, в основном о том, что без воды ему долго не протянуть.

Вскоре Пленник осел на топчан, потом лег, облизал пересохшие губы, немного поворочался и уснул. Когда он проснулся, в окошке занималась новая заря, на этот раз настоящая, утренняя. Он узнал об этом по веселому яичному цвету солнечных пятен над жестяным умывальником и каплям росы между прутьями арматуры на окне. То есть, в той стороне, где окно – восток, за умывальником – запад, а выгребная яма находится у северной стены. Вот и отлично. Значит, южная стена, обращенная к Иерусалиму, – самая дальняя от выгребной ямы. У нее-то он и будет молиться. Сегодня и в последующие дни, если никто не вытащит его отсюда.

Распахнулась дверь, и в комнату вошел человек в тесном, коричневого цвета пиджаке, белых штанах феллаха и в красно-белой палестинской куфие. Он нес жестяное ведро, полное воды.

Пленник вопросительно посмотрел на вошедшего. Тот ткнул себя пальцем в грудь и сказал:

- Хасан.

Хасан проговорил что-то по-арабски. Пленник ответил по-английски. Хасан по-английски не говорил, но, как выяснилось позже, понимал отдельные слова. Он поставил ведро рядом с умывальником. В другой руке у него оказалась зеленая пластмассовая кружка с длинным носиком и целлофановый пакет. Он положил все это на пол рядом с ведром и удалился, но вначале приказал Пленнику не следовать за собой, жестами изобразив стоящего за дверью автоматчика.

Пленник не знал, когда Хасан снова наполнит ведро, поэтому он решил экономить воду. Зачерпнув зеленой

кружкой немного из ведра, он полил на руки и произнес благословение – еврейское, не арабское - на омовение рук. Затем зачерпнул снова и полил из длинного носика себе в рот, жадно глотая воду. У нее был глинистый запах, впрочем, не гадкий. Видно где-то там, среди гор, откуда его похитили, бил родник. Пленник отправил надобности над выгребной ямой и осторожно омыл тело из зеленой кружки, стараясь не прикасаться к себе длинным пластмассовым носиком, потому что из него еще предстояло пить и умываться. Он вымыл руки после туалета, произнес предписанное еврейское благословение, подошел к южной стене и начал молиться. К счастью, главные еврейские молитвы Пленник помнил наизусть. Мусульманских он не знал, да это и не было нужно. Теперь, когда у него забрали Ривку, в исламе больше не было никакого смысла.

Потекли дни, похожие один на другой. Гнетущая тоска сжевала бы ему сердце, но он был слишком занят распределением водных порций по дневным часам. Утром входил Хасан – мрачноватый, небритый, с жестяным ведром, полным глинистой воды, и двумя полузасохшими питами. Майкл бормотал первое утреннее благословение "Благодарю Тебя, царь живой и вечный…", совершал омовение рук над жестяным желобом, справлял нужду над выгребной ямой, очищал тело при помощи зеленой кружки с длинным носиком, смачивал негнущиеся питы водой и нанизывал их на прутья, торчавшие из окна. Первые лучи солнца согревали хлеб, а к тому моменту, когда он заканчивал утреннюю молитву «Шахарит», питы разбухали и даже успевали слегка согреться – снаружи было очень жарко. Он снова совершал омовение и преломлял первую лепешку. Она отдавала плесенью, но не настолько, чтобы вызвать рвоту. Пленник медленно жевал хлеб и думал, как хорошо, что утренняя молитва такая длинная. Скоро полдень, а времени для скуки и убийственных размышлений осталось не так много. Пленник не торопясь читал длинное благословение после хлебной трапезы и падал на топчан.

Он полуприкрывал веки, так, чтобы ресницы заштриховали комнату вокруг него. И вот это уже не тюрьма в неизвестной сирийской точке. Это вагончик девушек-пограничниц. Они на боевом задании, должно быть, в ближайшей арабской деревне. Вагончик слишком тесный и до отказа забит близко стоящими койками, рюкзаками и спальниками, расстеленными в проходах.

Входит Авива. Хозяйским жестом она стаскивает с него штаны, снимает и свои вместе с трусиками, швыряет на соседнюю койку. Садится сверху, уходя от его чресел к потолку косым треугольником, внушительная, как египетская пирамида. Все кончается слишком быстро.

Он пробовал заменить Авиву на Ривку, но это оказалось невозможно. Не хватало ривкиных "красавцев", ее ванили, ладана, киннамона и амбры. Все дело в выгребной яме. Оттуда несло "скунсом" – едкой жидкостью, при помощи которой погранцы разгоняли арабские беспорядки. Скунс вонял одновременно скисшей до гнили капустой и навозом. Словно кто-то навалил коровье дерьмо в старую бочку с солениями, плотно закрыл крышку, а потом внезапно открыл ее и сунул Пленника носом прямо внутрь.

Потом Авива исчезала, а Пленник засыпал. Когда он просыпался снова, солнце уходило на западную сторону, где дверь и умывальник. Там оно оставалось большую часть дня, и это тоже было Божьей милостью – его бетонное жилище не особо перегревалось. Он вставал, совершал омовение рук после сна, снова отправлял свои надобности над выгребной ямой, мыл руки и снимал с железных прутьев вторую питу, уже остывшую и склизкую, но съедобную. Неспешно читал благословение после хлебной трапезы. Время предвечерней молитвы, «Минхи», он определял по грустному цвету неба в окошке, а вечернюю, «Маарив», молился в полной темноте. Молитвы и благословения делили день на клеточки и помогали не сойти с ума. Пленник даже подумал, что они и составлены были именно на такой случай – на крайний, когда жизнь висит на волоске, и в мире нет никого и ничего, кроме тебя и Бога.

Вечером Пленник вставал над выгребной ямой и окатывал себя из ведра с головы до ног, не снимая одежды. Так он совершал и душ, и стирку. В ведре оставалось еще достаточно воды для такой процедуры. Затем он снимал робу и штаны, выжимал их над ямой, смывая остатки экскрементов, и вешал свое одеяние на те же криво торчащие из окна железные прутья. Тряпки просыхали, но к утру снова набирали влагу от росы – ею он обтирал лицо, прежде, чем произнести первое утреннее благословение "Благодарю Тебя, Царь живой и вечный".

Он не видел, кто и когда забирал ведро, но каждый день с новой зарей в бетонной лачуге появлялся Хасан с новой пайкой воды и хлеба.

По ночам Пленнику снились голодные сны. Вот Ривка готовит чечевичную похлебку, свежую, вкусную, остро пахнущую жареным луком и кардамоном. Он тянется к половнику, чтобы начерпать ароматного супа, но Хамра прыгает с кухонной полки, опрокидывая кастрюлю, и желанная еда растекается по полу. Голодные спазмы кусают чрево изнутри, голова болит, рот наполняется слюной.

Однажды ночью все это стало так мучительно, что он проснулся. Из выгребной ямы к умывальнику шествовало целое стадо тараканов – видно, они надеялись обнаружить на полу под раковиной непросохшие капли воды. Пара тараканов возилась на топчане. В пятне напротив окна, куда светила полная луна, Пленник увидел силуэт чудовища с острыми зазубринами на хвосте. Он поискал глазами на полу – так и есть, из ямы вылезли не только мирные тараканы, но и кое-что похуже. Пленник сильно ударил скорпиона резиновой подошвой шлепанца. Затем повалился на топчан. Это небольшое усилие утомило его, и он заснул.

Утром Пленник жестами попросил Хасана принести какую ни на есть крышку для выгребной ямы. Тот подумал, поскреб щетину и ушел. Вернулся через некоторое время с металлическим листом и накрыл им дыру в полу. Теперь тараканы не лезли в комнату по ночам, да и воняло меньше, хотя какой-то странный запашок шел прямо из окна, мешая превратить Авиву в Ривку. Майкл не раз вставал на цыпочки у окна, пытаясь рассмотреть, что там, но не видел ничего, кроме песчаных куч и кусочка синего неба.

Однажды Хасан расщедрился – принес необычно пухлые питы, две слипшиеся карамельки и сморщенное яблочко. Когда Пленник откусил от первой питы, в ней оказался влажный клейкий булгур. Во второй был рис с бараньим жиром. Самого мяса не положили. «Да сегодня, наверное, пятница», - догадался Пленник. Необычная щедрость похитителей объяснялась святым для мусульман днем. Значит, вечером наступает шабат. С вечера и весь последующий день он произносил субботние молитвы. Пленник долго смотрел на закат – уходящее солнце заменило ему субботние свечи.

Прошло много дней, расчерченных на недели пятничными добавками еды и субботними молитвами. Он исхудал, а его маленькая бородка теперь доходила до груди. Кожа головы

свербила, и однажды, сильно расчесав ее, он увидел, как жирная вошь падает ему на колени. Он раздавил ее пальцами. Теперь стало еще легче занимать время. В перерывах между молитвами Пленник убивал вшей. Его реки пересохли, и он, хоть и воображал вагончик пограничниц, никак не мог впустить туда ни Авиву, ни тем более Ривку.

Пленник стал путать сон и явь. Однажды ему показалось, что посреди вагончика – или бетонной тюрьмы? – водрузили стол, а за ним сидят три его командира с офицерских курсов. Они решают его судьбу.

- Майкл Шварц, - начал один, - давайте посмотрим на ваши оценки.

- Хорошие оценки, - подхватил другой, - одни сотни, только вот за ночное ориентирование восемьдесят баллов. Но выйдет ли из Майкла Шварца настоящий офицер?

- Не выйдет, - заявил третий, мерзкий на вид, военный чинуша. - У него, конечно, прекрасные баллы. И полоса препятствий, и многоборье, и стрельбы, ну, про ночное ориентирование вы уже сказали. Но, как бы это точнее выразиться... характер не командирский. Тренинги по тактике принятия решений сержант Шварц провалил.

- Да, не командирский характер, - снова завел первый, - не ведущий.

- Не ведущий, ведомый, - добавил второй, - когда надо подчиниться, он подчиняется. А вот когда инициативу взять... Тут провал. Нельзя сказать, чтобы не мужской характер…

- Тс-с-с… Среди командиров есть и девушки. Давайте без гендерных предрассудков.

- Давайте. Характер крепкий, но не командирский. Смелый, но не инициативный. Можете вернуться в свою часть, сержант Шварц. Через месяц вы получите очередное звание старшего сержанта и должность старшины взвода. На будущий год у вас будет новая возможность пойти на курсы офицеров.

Видно, это был сон, потому что он проснулся, и проснулся Майклом, не Пленником. Голова работала ясно, голод и злость подбросили тело вверх. Была глубокая ночь. За окном сопели шакалы – он знал этот слабый рык по ночным дежурствам в Негеве. Дверной проем зиял щелью. Тот, кто забрал пустое ведро, неплотно прикрыл дверь.

Он встал и осторожно высунулся наружу. Никакой автоматной очереди не последовало. Те, кто охраняли его

днем, отправились спать. Если они спали рядом с тюрьмой, можно было бы ударить одного из них по голове железной крышкой от выгребной ямы, отнять оружие и быстро покрошить остальных, пока не очухались. Вряд ли этих ублюдков много, наверняка, двое или трое. Он старший сержант «Гивати», ему ли бояться жалких террористов?

Майкл схватил крышку, вышел наружу и осторожно двинулся вдоль стены. Повернул за угол, прошел вдоль другой стены, третьей… Он обогнул тюрьму по периметру. Никто его не охранял. Вокруг простиралась пустыня - мягкая, барханная, барханная. Мокрая роба все еще сохла на железных прутьях, он был наг, как в час рождения . Холодный ночной ветер перебирал грязные волосы на его груди. А в небе над ним светили голубые остро-лучевые звезды царства Химьяр и пухлая, белая, как женская грудь, луна.

Майкл привалился к стене. Его зрение приспособилось к темноте, и чуть поодаль он увидел выходящую из земли бетонную трубу, а под ней – лужу мочи и дерьма. Канализация тюрьмы вела в никуда. Вокруг не было деревни или города. Он жил в поставленном прямо посреди бесконечности бетонном кубике.

Нужно было бежать прямо сейчас. Но куда? Скоро встанет солнце, пустыня разогреется добела, а у него нет воды. Пока добежишь до цивилизации, трижды умрешь от жажды. Если добежишь. Он умеет ориентироваться, после того, как заранее выучит карту местности. Ночью можно находить путь по звездам, только звезды тут не помогут.

Холодные волны ночного воздуха омывали щеки, трепали отросшую бороду и длинные, спутанные волосы. Вдруг струйка знакомого аромата юркой змейкой скользнула ему в ноздрю. Этилмальтол! Пронзительный запах инопланетной сладости! Ривка была где-то рядом. Его глупая девочка, химьяритка, дочь торговцев благовониями! Он отправился сюда лишь затем, чтобы защитить ее. Но не защитил. Как он мог быть таким идиотом?

Если бы вот сейчас прилетела птица Рух… Нет, лучше вертолет. Не тот, на котором террористы забросили его сюда. Армейский «Апачи» спустился бы с неба и отвез в Израиль, по дороге прихватив и Ривку. А лучше всего – жесточка. Жесточка и ребята из «Гивати», при каждом автомат, и дымовые шашки, и хорошо бы еще швейцарский МАГ… Кажется, из-за бархана доносится шум. Это хрип

шакалов? Нет, это жесточка приближается к нему, все ближе и ближе…

Он очнулся в бетонном кубе, на влажном топчане, покрытом тряпьем. В окошке занималась новая заря. Когда он уснул? До того как вышел из домика, или уже после? Или он уснул еще раньше, и сном было все – ешива, встреча с Ривкой, путешествие в Турцию, побег в Химьяр и пленение? Это все трава. Надо встряхнуться, и дым рассеется. Он окажется на диване рядом с Фройкой в облаке терпкой сладковатой отравы.

А дверь? Она в самом деле открыта и не охраняется? Пленник вскочил и резко толкнул ее, только для того, чтобы наткнуться на Хасана с ведром. Немного воды пролилось на порог, и Хасан разразился неожиданно многословным выступлением по-арабски.

Они вошли в комнату, Хасан поставил ведро у рукомойника и вышел, предварительно жестами объяснив Пленнику, что, если тот попытается бежать, его убьют. В доказательство за стеной прострекотала автоматная очередь.

Пленник больше не пытался вырваться на свободу. Но однажды его одиночество нарушилось. Дверь каморки открылась, и вошел мужчина в камуфляжных штанах, черной гимнастерке и черном тюрбане. За ним, согнувшись то ли от неудобства, то ли в почтительном поклоне, плелся Хасан. На спине он тащил складной стол и стул. Хасан поставил стол напротив топчана, раскрыл стул и придвинул к столу. Мужчина уселся и с интересом посмотрел на Пленника. Утреннее солнце светило прямо ему в лицо – красивое, обрамленное кудрявой семитской бородкой, с благородным тонким носом и блестящими, маслянистыми черными глазами, похожими на два нефтяных озерца. Он чем-то напоминал Пленника, когда тот еще назывался Майклом, но была в нем и преувеличенно сладкая, ненатуральная красота саудовских принцев с яркими губами и длинными верблюжьими ресницами.

Пленник сидел перед ним на низком топчане, согнув ноги, и скреб заскорузлыми пятками о выпуклости бетонного пола. Это было приятно. Слабая улыбка играла на его худом, с ввалившимися щеками, лице. Но Муса – так звали вошедшего – не видел улыбки, потому что Пленник сидел спиной к окну.

- Как вы себя чувствуете? – спросил Муса. Он говорил на британском английском с аккуратным акцентом выпускника хорошей частной школы.

- Где Рабаб? – спросил Пленник.

- Рабаб? Какая Рабаб?

- Со мной была девушка. Рабаб. Моя невеста.

- Не было никакой девушки. Тебя одного привезли. Впрочем, если она вправду была, ее, наверное, уже выдали замуж за нашего бойца. Настоящего мусульманина.

- Но ведь я – мусульманин. Мы с ней были в шариатском суде. Там, в Стамбуле.

Брови Мусы поползли вверх.

- Если так, брат, произнеси шахаду.

Пленник произнес первые три слова и замолчал. Он вертел головой, точно пытаясь вернуть на место отошедшие контакты, но окончание клятвы не вспоминалось.

- Ты не мусульманин. Мы следили за тобой. Ты вроде и молишься, но не по-нашему, и не пять раз в день. Омовение рук тоже не по-нашему делаешь. И потом, на руке у тебя была красная нить. Это языческий обычай. Так делают все идолопоклонники от Магриба до Индии. Но скоро мы покончим с ними. Эти страны исчезнут, а на их месте возникнет Халифат, и каждый его житель станет поклоняться Единому Богу.

- Я помнил шахаду наизусть. Вы ударили меня по голове, и вот я забыл.

- Нет, ты забыл потому, что ты язычник и находишься во власти Иблиса. У таких, как ты, Аллах отнимает память, чтобы они не учили других своим языческим путям.

- Что же вы от меня хотите?

Муса достал из кармана паспорт. Он растопырил его, раздвинул страницы так брезгливо, будто раскрывает грязную вульву шлюхи. Это был американский паспорт Майкла.

- Ты американец. Ты должен осудить правительство США. Не сейчас. Завтра ты сделаешь это перед камерой, но не здесь, в другом месте. Мы выбрали подходящую локацию для съемки. Вот тебе текст. Просмотри его. Запоминать не прошу – твоя память отобрана Аллахом. Просто прочитай сейчас, а завтра озвучишь во второй раз.

Пленник принялся читать грамотно составленный английский текст. Во всем, что произошло с ним, и еще произойдет, он обвиняет правительство США. Это оно

вооружает все режимы, которые только есть на Ближнем Востоке, и провоцирует бесконечные войны. Оно сейчас бомбит в Ираке и Йемене воинов Халифата – самого справедливого в мире государства, основанного на вере в Аллаха.

- Ну, тебе все понятно? - спросил Муса.

- Да. Понятно. Во всем виновата Америка. Это она поссорила Шумер и Аккад, разрушила Вавилонскую башню, развязала войну между Ассирией и Египтом, финансировала персидское завоевание, иго Селевкидов и Птолемеев, она привела Рим на Ближний Восток. Она разрушила Иерусалимский Храм и изгнала евреев с их земли. Она стояла за войнами, которые вели крестоносцы. Достаточно или еще продолжать?

- Хорошо излагаешь. В общем, завтра прочитаешь этот текст с бумажки. Можешь и про Шумер с Аккадом. В случае чего, мы вырежем.

- А что потом? Вы меня отпустите?

- Отпустим, конечно. Вопрос, когда и куда. На этот счет у братьев не сложилось пока единого мнения.

Наутро Муса и Хасан ввалились в камеру еще с тремя "братьями". Среди них выделялся один, награжденный лиловой шишкой на лбу. Пленник догадался, что это след неистовых намазов лбом об пол – признак выдающегося религиозного рвения. Они снова раскрыли столик, водрузили на него таз, наполнили водой и грубо обрили ему бороду, оставляя порезы. Пленник жестами попросил, чтобы сбрили и волосы, очень уж досаждали ему вши. Но брадобреи, переглянувшись и перекинувшись парой фраз по-арабски, жестами отказали ему в этой милости. Затем его накормили питой, набитой жирным рисом. На этот раз в пахучей мешанине попадались кусочки баранины. Непривычно сытная пища тут же вызвала у Пленника изжогу. Затем один из тюремщиков сбегал на улицу и вернулся со свертком. Это оказались оранжевые штаны и такого же цвета арестантская роба. Пленник, хотя ему не дали помыться, с удовольствием переоделся в чистое – старая, вечно не достиранная одежда так заскорузла, что натирала кожу в паху.

Ему завели руки за спину и надели наручники, а глаза завязали тряпкой. Запихнули в машину – он успел заметить, что это был военного образца джип. Двое из трех охранников сели по бокам. Машина рванулась вперед.

Сведенные сзади руки не давали Пленнику опереться на спинку сидения. Его мотало взад-вперед, и вскоре к изжоге прибавилась тошнота. Он думал только об одном – как бы не вернуть съеденный завтрак. Но вскоре, от постоянного трения о переднее сиденье повязка на глазах ослабла, а потом и вовсе сползла немного вниз. Попутчики не обратили не это внимания. Тот, что слева, с шишкой на лбу, перебирал четки, погрузившись в молитву. Охранник справа откинулся назад, и слушал то ли музыку, то ли проповедь, сжав в руках смартфон и заткнув уши пластиковыми ракушками. Машину тряхнуло, Пленника сильно мотнуло вперед, он ударился головой о подголовник переднего сиденья. Прежнее сознание вернулось к нему. Он слова был Майклом. «Я Майкл, - подумал он, - со мной не может случиться ничего плохого. Плохое происходит только с Пленником. Он там, в бетонном кубе. Как раз сейчас он снимает с прутьев первую питу. А меня везут к новой жизни. Неизвестно, какой, но в моей жизни что-то произойдет, и все, что случится – к лучшему».

Джип ехал по барханам, то взбираясь вверх, то ныряя вниз, под песчаную кучу. Но вот дорога стала ровнее. Майкл увидел, что они едут по морщинистому дну пересохшего озера. Горизонт впереди не вздымался мягкими волнами, но торчал изломами, которые явно соорудили человеческие руки. Они приближались к городу или поселку. Отсюда он казался таинственно-прекрасным, как восточная сказка из диснеевского мультика об Аладдине. Воображение дорисовывало пальмы, диковинных птиц в листве садов за глинистыми оградами, нежно журчащие фонтаны в таинственных двориках, мозаичные полы и неслышно скользящих по ним прекрасных девушек с черными глазами в прорезях никабов.

Через несколько минут то, что представлялось мультяшно-завораживающей восточной картинкой, превратилось в обычную для этой части света кучу мусора – беспорядочно наваленные друг на друга бетонные и глиняные коробки. По стенам тянулись спутанные провода, похожие на изъеденные дефолиантами лианы. Одна из глиняных коробок была чуть выше и тоньше других, и Майкл догадался, что это минарет. Время очередной молитвы еще не наступило, и муэдзин не наполнял пустыню ровным и густым трансовым пением. Зато на открытой площадке вокруг верхней части минарета

возились похожие на муравьев фигурки – видно, между молитвами высокое сооружение использовали в качестве сторожевой башни. Зловонные кучи отбросов там и сям украшали подножия глиняных стен. Сверху на мусор брезгливо взирали бородатые лица воинов – заборы были почти везде оклеены агитационными плакатами и исписаны арабскими надписями. Иногда навстречу попадались люди – молодые парни и подростки, пестро одетые в камуфляжки, белые штаны феллахов и черные униформы боевиков. Проходили и взрослые мужчины, но их было немного.

Джип свернул на боковую улицу, более узкую, чем та, по которой они ехали вначале. Здесь в проеме между бетонными трущобами Майкл заметил и женщин, безглазых, глухо замотанных в черное. Две женщины стояли между домами, еще две торопливо перебежали через дорогу. Любая из этих безликих фигур могла быть Ривкой. Майкл принюхался, но не уловил ничего, кроме сладковатой вони гниющих помоев.

Почти у самой околицы его высадили из машины, поправили повязку на глазах и погнали вперед хлопками ладоней меж лопаток. Солнечные лучи жгли затылок и шею, отвыкшую от дневного света и успевшую быстро обгореть. «Недотепа! – орали солнечные лучи, - посмотри, куда ты попал!» По голосам сзади он догадался, что за ним шествует целая процессия. Но вот хлопки по спине прекратились, и процессия остановилась.

С него сняли повязку. Они стояли у края песчаного карьера, а на другой стороне суетился человек с камерой, водруженной на треногу. Тренога неровно увязла в мягком песке, норовя завалиться, и человек, одетый во все черное, несколько минут возился с ней, пока она не встала ровнее.

Его повалили на колени лицом к камере. Чья-то рука поднесла к глазам листок со вчерашним текстом. И Майкл прочитал по бумажке то, что читал вчера – во всем, что с ним случилось и еще случится, виновато правительство США.

Шею сильно припекло солнце, кожа уже начала болеть, но тут внезапно наступило облегчение. Холодный ветер пронесся над шеей, остудив болезненно саднящую кожу. Вслед за этим он почувствовал сильный удар сзади под затылок. Боли не было. Боль наступила, когда его властно потянули вверх за волосы. Он попытался встать, чтобы ослабить давление, но не слушались ноги. Сверху он

увидел, как незнакомое, худое и слабое тело в оранжевой робе, отчего-то без головы, но в кровавых пятнах, сползает по белому песку на дно карьера.

Он жил еще три минуты, но они длились целую вечность. Он многое успел понять. Понял, зачем его так долго держали в бетонном кубе. Они хотели, чтобы волосы отрасли длиннее – так палачу было, за что схватиться. Майкл понял смысл красного и белого. Ривка дала ему красный цвет страсти, а он должен был заплатить за это белым, ясным цветом понимания. Ведь "выбелить" на древнем иврите означает "разъяснить".

И что там еще говорил ребе? "Отрезать себе голову, чтобы остаться в живых". Да, но там, в Иерусалиме, это была лишь метафора, а здесь, в опрощенном, лишенном аллегорий Химьяре, все изречения понимались буквально.

Мир завертелся у него перед глазами, белый песок налип на лицо, покрытое смертным потом, и красная пелена заволокла все вокруг. Он понял, что умирает, и попытался сказать "Шма", но воздух не набирался в легкие, а рот забило песком. В последний миг ускользающего сознания он увидел женское лицо. Но то была не Ривка. То было лицо его матери, склоненное над колыбелью.

Инна Шейхатович

Гадание на мелкой монете

Вилли работал в этой газете уже порядочно. Собирал материалы, - большей частью накапывал скандальные истории в интернете, в глянцевых журналах, которые где-то добывал владелец, неуклюжий и жадный Жан. Газета была эмигрантская, бестолковая. Чем-то напоминала салат, политый дешевым вином. Качество материалов никого не волновало – ни создателей, ни читателей. За рабочий день Вилли успевал посмотреть гороскоп, поесть два-три раза, поговорить по телефону с Джитой, медноволосой феей, румынкой, которая с Вилли ни в какую не желала встречаться. Поработать он тоже как-то успевал, хотя удовольствия от процесса не получал. Его тяготили пыльные, сто лет немытые окна редакции, груды бумаг, газет, журналов на столах и под столами, хозяин, который ничего не понимал в газетном деле. Вилли и сам-то не очень был готов для этой работы, но он все же пять лет после лесного техникума трудился в маленьком районном «Зеленом листке». Приехав в новую страну, он искал такую работу, чтобы без особого напряжения и в тишине. За окнами редакции выли сирены¸ задыхались в приступах злости дожди и ураганы, звонившие в газету люди жаловались на свою жизнь: на здоровье, на крыс в подъезде, на министров, диджеев, водителей автобусов, протекающий кондиционер, вообще на все.

Вилли давно научился слушать вполуха и отвечать туманными фразами, в которых не было даже намека на оценку ситуации. Рокот далеких голосов в телефонной трубке его никак не затрагивал. Дома Вилли сосредоточенно искал уединения. Ужинал в молчании, сдержанно хвалил жену, старался и на ее вопросы отвечать уклончиво и кратко. Отгораживался упрямым глазением на телевизионный экран и скороговоркой «пойду рано спать - еле на ногах стою». Роза, жена Вилли, носила вязаные кардиганы, красила ногти принципиально синим лаком¸ обладала деятельным и суматошным характером. Она знала миллион никому не нужных вещей: примет, способов сохранить цветы в вазе живыми подольше, ее волновали и

вдохновляли вещие сны. Она любила давать советы и считала себя немного ведьмой. Денег в доме постоянно не было, и она призывала одиноких женщин, матерей, у которых были стойкие и драматичные проблемы с детьми, озлобленных искательниц богатства и счастья, к себе на прием. Чтобы озарить их жизни и мрак в головах важными предсказаниями. При этом она не скупилась на саморекламу и гордо называла высокую цену за свои услуги. Вечерами в растрепанную, очень захламленную, душную квартиру тянулась безмолвная цепочка женщин всех калибров, стилей, социальных слоев. Чем-то со стороны это напоминало муравьиную дорожку в чужом лесу, незаметную и очень трогательную. Роза громко выкрикивала «вижу сглаз!», или «о, как ваша мама вас любит – просто ангел- хранитель!». Потом, на следующих визитах, она меняла трактовку, той клиентке, у которой была мама, говорила про сглаз, а «сглаженной» - про мать… Еще она маленькой метелкой сметала со спины женщины плохие энергии, жгла свечи, шептала что-то над «Книгой мертвых», которая во всей своей заманчивой таинственности лежала перед ней на столе. Книга была на немецком, Роза не понимала в ней ни слова. Но страсть и многозначительность, с которыми Роза склонялась над книгой, придавали весомость процессу.

Вилли часто присутствовал при сеансах, точнее – был дома, и закрывался во время этих священнодействий в маленькой комнатке, которую Розе почему-то нравилось называть «офисом». Клиентки смотрели на Розу так, как, наверное, смотрят раковые больные на врача с мировым именем, который может сотворить чудо. Если предсказание-расследование не давало желаемого результата, не совпадало с действительностью, она смиренно говорила, опустив голову: «Жаль, что не совпали энергии, - а в этом даже я не властна!».

Майя, невысокая, неловкая, всегда депрессивно настроенная, коротко и принципиально немодно постриженная, работавшая наборщицей в той же редакции, где безынициативно и преданно служил четвертой власти Вилли, прознала про Розины опыты. Всхлипывая, сжимая в кулачке промокший носовой платок, она стала проситься на прием. Вилли сначала наотрез отказывался. Потом она его все же упросила: «Ты же ни при чем! Я не обижусь, даже если все это зря!..».

Вечером в дверь квартиры Вилли позвонили, и маленькая, вся какая-то мятая, но оживленная, с жадным блеском в серых глазах¸ Майя возникла на пороге. Роза радушно улыбнулась и повела ее в гостиную, заваленную хламом и какими-то штуками непонятного назначения. Майя была взволнована и сосредоточена. Она серьезно отвечала на вопросы, терпела, когда Роза жгла свои ядовитые свечи, когда сметала с ее спины нечто, явно мешавшее счастью и гармонии в жизни. В финале Роза сказала устало и удовлетворенно:

- Ну, вот, все прекрасно. Нет сомнений, что все получится. Дам вам свечку с собой – ночью обнесете свое жилище зажженной свечой. А еще возьмете мелкие монетки – и сейчас, по дороге домой, бросите их за спину, не оглядываясь. И скажете свои сокровенные желания. Быстро, пока монетки не упали. Понятно? Не забудьте: свеча и монетки работают. Это действительно сильно действует. Монетки – вот ваши главные козыри.

К деньгам Роза не прикасалась - попросила клиентку положить нужную сумму под вышитую подушечку. В это время зазвонил телефон. Роза крикнула мужу, чтобы он взял трубку в «офисе». Майя простилась, улыбалась с напряжением и готовностью чемпионки, которая идет на рекорд. Тепло поблагодарила и ушла.

Майя выпила воды, устало глянула в тусклое зеркало. Смахнула ресницу со щеки, пробормотала «устаю, много энергии трачу». И закричала «Вил, кто это? Что надо?». Он сначала не отозвался, потом пришел и понуро сообщил, что их дочь, Марианна, уехала куда-то на Матланские острова. В коммуну. В новую жизнь. «Что?» - охнула Роза. «Как? Ты спросил ее - почему? С кем? Куда писать?!»… Вилли раздраженно махнул рукой: «Ты же ее знаешь. Вечно дурь в голове. Сплошной сквозняк. То она не ест мясо, то не носит мех и кожу, не пользуется шампунем…». Роза была в истерике:

- Зачем мне рассказываешь то, что я и сама знаю? К чему? Она оставила адрес? Она, твоя дочь, сказала, как ее найти, через кого держать связь?

Он пожал плечами:

- Ничего она не сказала. А что, твои гадания-предсказания ничего тебе не открыли? Про других все знаешь, советы раздаешь, а свою дочь в подзорную трубу не можешь разглядеть?

Роза чуть не лопнула от возмущения. Она залпом опрокинула стакан воды, схватила себя за плечи и закричала:

- Мои гадания? Если бы ты зарабатывал – я бы с этими игрушками не возилась. И ребенок бы был с нами. Все ты, всегда твоя глупость нам дорого обходится!»

Он тяжело задышал, рванул ручку двери и скрылся в «офисе». Роза кричала вслед:

- И что? Теперь в кусты? Надоело, как горькая редька! Где она, где Марианна? Какого черта ее туда понесло?!

Ночь прошла быстро, Вилли забылся в кошмарном сне, проснулся не отдохнувшим, ватным, в поту, будильник дырявил его мозг. Вода и бритва раздражали, улица угнетала монотонным шумом.

Он постарался не сталкиваться с женой, налил кофе в термос, прихватил из буфета галеты, из холодильника сыр - и промчался по лестнице. Роза молча сидела на кухне с чашкой чая, сигаретой и гороскопом. Она нервничала, злилась. Нервно стягивала полы старого кардигана на груди, пыталась вычитать в измятой журнальной странице что-то тайное и мудрое для себя. Знаки, преддверия.

Рабочий день прошел у Вилли обычно. Хозяин опять пытался изыскать ресурсы экономии («…Может, есть возможность не платить переводчикам? Скажем, что это временно, что совсем нет денег... потом они забудут, а?»… «…Или фотограф… это же не работа – щелкнул, переслал картинки – вот и весь труд, даже непонятно, за что платим?!»).

Вилли равнодушно выслушал, привычно отмахнулся, пообещал подумать. На звонки отвечал нетерпеливым тоном. Перед самым окончанием рабочего дня график Алекс предложил на скорую руку отметить его день рождения. Сбегали в лавку, купили то да се. Выпили. Сказали дежурные слова. Когда выпили побольше, речи стали патетичнее. «Ты знаешь, где находятся Ма… Мати… Матланские острова?» - спросил Вилли у секретарши редакции Руты. Рута испуганно уставилась на него:

- Там революция?

- Да нет, вроде, я так спросил. Для общего развития… Что там хоть растет, что ловится?

График Алекс расхохотался:

- Старик, тебе не все фиолетово, что растет и кто ловится? Нашу газету туда не добросить – да и нафиг

надо… пей, давай¸ водка греется! За тебя, братуха! Кайф с тобой работать! Ты человек! Дай обниму!

Домой Вилли приехал поздно. Роза шуршала чем-то в спальне, ужина не было.

Он покурил на балконе. Старые, обычные звезды равнодушно и лениво мигали над крышей дома. Соседи кричали так громко, что казалось, будто их убивают. Вилли поставил будильник, вздохнул – и провалился в сон.

Через несколько дней рыжая Джитта согласилась, наконец, пойти с ним в ресторан. Они сидели на веранде, рядом со скрипучим шкафом-кондиционером. Тугие ветки искусственных кустов с белыми цветами лезли в бокалы. Выпив, Вилли притиснул Джитту к ограде, плакал, говорил, что ему уже снятся рыжие сны, и что он ее дико хочет, и что ее поведение выглядит как издевательство. Джитта, аккуратно постелив салфетку, выпила вино, съела свой шницель, не отказалась от десерта, и, забрав подаренный Вилли кожаный красный кошелек, ушла в сгустившиеся малиново-синие сливки заката.

Шли дни. Вили отсиживал в редакции. Листал новости мира под чутким оком владельца. Слушал грубоватые анекдоты Алекса, иногда с ним выпивал. Майя смотрела на него молитвенно и неизменно передавала Розе уважительные приветы. А он проходил мимо Розы молча, не глядя на нее, разве что иногда бесцветно бросал «я ушел» или «буду поздно».

Пейзаж за окном и температура на градуснике были все те же. Как-то ближе к вечеру в редакции раздался звонок. Вилли долго не поднимал трубку, думал, звонившим надоест, и они отстанут. Но звонок повторялся и повторялся. Телефон вибрировал, и воздух качался. Наконец, Вилли сдался. На другом конце провода сказали совершенно невозможную вещь. Что его дочь Марианна была найдена в гостинице за много километров отсюда без признаков жизни. Вилли начал бормотать и заикаться. Он не понимал, не желал понимать. Ему было трудно вникнуть, сложить слова, образ дочери в желтой куртке, с выбившейся из–под шапки прядью черных волос стоял перед внезапно ослепшими глазами.

Потом он видел бьющуюся в истерике, обезумевшую Розу, звонил матери, чтобы сообщить ей о несчастье¸ ездил в далекий город на далеком острове. Там почти в бреду, почти в бессознательном состоянии опознавал, получал вещи, отвечал на вопросы, что-то подписывал. И

опять подписывал. И опять…Пустой и постаревший, он вернулся. В самолете, мучаясь болью во всем теле, какими-то судорогами мышц, потихоньку выпил коньяк из фляжки. Пытался спать. Он так и не понял, что произошло. Полиция открыла дело. Но зацепок не было. Не было ни свидетелей, ни мотивов. Ни подозреваемых. Горничная в гостинице, где Марианна умерла, намекала Вилли на какие-то золотые часы, наркотики, парня в камуфляжных штанах. Но он так плохо ее понимал, что каждую фразу приходилось переспрашивать. Да и денег, чтобы она была словоохотливей, у Вилли не было. Пустая сумка, немного одежды, несколько книг Стивена Кинга – это все, что у Вилли осталось от дочери. Он пил в самолете всю дорогу домой. Пил, пока ждал такси. Пил, хотя все тело горело и во рту был вкус ржавчины. Вошел в дом, отодвинул серую от слез и бессонных ночей, всклокоченную Розу. Ушел в «офис», хлопнув дверью. Роза билась и голосила за стеной. Били часы, гудели автомобили, бессмысленно пытаясь куда-то прорваться.

Вилли не вставал два дня. Не ел. Не отвечал на телефонные звонки. Роза охрипла от криков и проклятий. На третий день вечером раздался звонок в дверь. Роза, шаркая разношенными домашними туфлями, ворча, отворила. Вилли услышал голос Майи. Вышел. Майя, часто моргая белесыми жалкими ресницами, кричала, захлебываясь слезами, кашлем, злобой:

- Гадания, да? Свечки, монетки... Пока не упадут?! Все сбудется?! Лживая тварь! Вымогательница. Сука! Вот тебе твои монеты, вот, получай!

Она размахнулась и швырнула в Розу пригоршню мелких денег. Монеты ударили градом по зеркалу, катились по полу. Прыгали в полутемной прихожей, как круглые верткие жучки. Майя повернулась и бросилась бежать. Вилли схватил Розу в охапку, она беспомощно обвисла на его руках, сказала беспомощно, каким-то детским голоском:

- …Не совпали энергии… бывает. Разве я виновата?..

Рита Инина

Тайм-аут

Из записок медсестры

По медицинским канонам пулевое ранение всегда будет считаться грязным, какая бы светлая и гладкая пуля не проникла в ваше тело.

Я вижу созвездие шрамов на его груди и спине. Маленькие, круглые, там, где пули пробили мягкую живую ткань, похожи на следы оторванных пуговиц; их пять. Они на спине. Выходных отверстий только четыре. Эти шрамы похожи на розовые морские звёздочки, приклеившиеся к твёрдому грунту его грудной клетки. Такие можно увидеть во время отлива на прибрежных камнях.

Его тело решило уберечь семь с половиной граммов металла и приютить сувениром около пирамидки надпочечника. 7,5 граммов - не такая уж большая нагрузка для мужчины в семьдесят кило… но, тем не менее, присутствие инородного тела беспокойно для пирамидки, и она реагирует, выплёскивая в кровь адреналин. Его тело тлеет горячо, как угольная зола. Влажный фарфор глазного яблока блестит, как кофейная чашечка, только что вынутая из моечной машины…

Ему нравится одеваться и выглядеть cool-and-sexy. Он постоянно заказывает по интернету что-то новенькое. И ухмыляющиеся жёлтые конверты «Амазона» с разноцветными майками, трусами и футболками валяются в полном хаосе на цементном полу гаража, временно оборудованного его мамой для человеческого обитания.

Выцветший лазурит виагры разбросан на столике около дивана. Там же бумажная тарелка с высохшей нетронутой едой, политой чем-то красным.

Он любит сидеть у входа в гараж, сворачивать маленькие сигаретки, курить и смотреть в бесконечность. Его бесконечность ограничивается пересекающейся дорогой, соседским гаражом и кустами ежевики, разросшейся до беспредела. Я стараюсь приезжать к нему пораньше, потому что он всегда заставляет меня ждать и медленно и неохотно покидает свой наблюдательный пост, ловко выруливая к кровати между завалами пакетов. Я замечаю,

что сегодня пакетов как-то особенно много. «У меня день рождения», — объясняет он. Мне неудобно, что я совсем упустила это из виду, хотя пересматривала его документы перед визитом. Я извиняюсь и обещаю, что в следующий раз принесу ему шоколадный шейк из «Старбакса».

Тем не менее, я на работе, и мне необходимо ему напомнить, что нельзя сидеть часами на одном месте без движения, и вообще, пора бросать курить.

— Ты не представляешь, что ты делаешь со своими сосудами.

Он игнорирует всё, что я ему говорю.

— Ладно, давай делай скорей перевязку.

— И мои перевязки тебе не помогут, если ты…

Он груб и капризен. Но что-то мешает мне на него сердиться. Может быть, потому что я могу в любой момент выбежать из душной, прокуренной комнаты, сесть в машину, нажать на газ и уехать на берег моря, где буду смотреть на холодные волны, потягивая белое вино на веранде «Anthony's», а он уже не сделает этого никогда.

Он перекидывает нижнюю часть тела из кресла-каталки на белую простыню, как охотник мёртвую добычу. Его узкое тело баскетболиста ограничено полем госпитальной кровати, и оно лежит передо мной обнажённо и беспомощно. Я беру ножницы и освобождаю его усталые мускулы от промокших бинтов, прокладок и пластырей. Я переворачиваю его на грудь и осматриваю его длинную спину с маленькими, аккуратными ягодицами, когда-то крепкими и гладкими, как две половинки футбольного мяча, а теперь изъеденными пролежнями. В иллюминатор его раны я вижу часть большого вертела бедренной кости[1] и серо-розовые ленточки сухожилий так же ясно, как в сериях научной документалистики PBS. Желто-зелёные всплески на марле и незабываемый запах Rafflesia arnoldii[2] не оставляют сомнений. Нет, это не избыток адреналина, это факинг инфекция. Я переворачиваю его на бок.

— Давай померю температуру?

— Нет.

---

[1] Большой вертел, Greater trochanter – верхняя часть кости бедра.

[2] Раффлезия Арнольда (лат. Rafflésia arnóldii)– вид растений-паразитов с запахом гнили.

— Давление?
— Нет. Не хочу. Ничего не надо.
— Ну, не надо так не надо. Мне и так всё понятно. Тебе надо ехать в больницу.
— Какая больница? У меня сегодня день рождения. Скоро придёт моя девочка. Мы поедем ужинать.
— Хорошо, я буду звонить твоей маме.
— Звони сколько хочешь. Я никуда не поеду. И вообще, мне сегодня двадцать один. Я могу официально заказывать алкоголь в баре.
— Ты понимаешь, что тебе срочно нужны антибиотики?
Он демонстративно не слышит. Между тем, его рука сползает по животу вниз и машинально захватывает в горсть смятый кусок тёмной замши, затерянный между его похудевших бёдер.
— Что это? Зачем ты положила туда бинт?
— Это не бинт.
Он задумывается на минуту, освобождает безжизненную мошонку из ладони и обиженно отворачивается к стене. Потом он достаёт из-под подушки пистолет, такой же горячий, как его тело, прижимает нагретый металл к щеке и губам, нежно проводит по подбородку. «Glock G19», 9 мм — это его мужское. Его гибкие пальцы, которым мог бы позавидовать Рахманинов, умеют скручивать маленькие сигаретки. Ещё они могут крепко держать пистолет.
— Хей, ты случаем не суисайдал? Ты что, на этом спал? Он хоть на предохранителе? Ты так убьёшь себя.
Он прячет пистолет под подушку.
— Ты ничего не видела.
— Я вижу, что у тебя инфекция, и тебе надо срочно ехать в больницу.
Звонит его телефон речитативом из хип-хопа[1]. Он оживляется, хватает правой рукой вибрирующий кусок пластика, напевает громко, развивая мелодию, и одновременно жестикулирует левой рукой, отщёлкивая пальцами ритм. На другом конце линии присоединяется мужской голос и так они продолжают в унисон минуты две-три.
— Хей, бро, я перезвоню позже. Моя медсестра здесь. Да, спасибо, конечно. Увидимся.

---

[1] M.C. Emcees, hip-hop, рэп - музыкальный стиль.

***

Мама нашла его лежащим в темной аллее недалеко от дома, истекающего кровью, с перебитой рептилией позвоночника. Он помнил удар, но не чувствовал боли. Она кричала. Как она кричала! Ей казалось, что весь город слышит её ужасный крик, и соседи должны прибежать на помощь. Она ощущала реверберацию упругих волн всей анатомией своего тела - особенно тяжело было голове и в области лёгких. Но не было звука. Так кричат во сне. Так, наверно, кричат чёрные дельфины на Фарерских островах, загнанные на мелководье.

Он знал, кто это сделал. Но он не сказал полицейским. Потому что он верит, что, когда он поправится, - а он обязательно поправится, - он найдёт того, кто это сделал. И подкараулит его дождливым сиэтловским вечером в тёмной аллее. И уже тот, другой, будет лежать на мокром асфальте, смешивая горячую солёную кровь с холодным пресным дождём. И уже того, другого, мама и любимая девочка будут кричать, как чёрные дельфины на Фарерских островах, загнанные охотниками на мелководье.

***

Я закончила свою работу:

— Ну вот, должно продержаться до завтра. А утром поедешь к доктору в клинику. Я бы на твоём месте поехала сейчас.

— А ты не можешь прийти завтра? Мне неохота ехать в клинику.

— Нет, не могу. Твоя страховка не покрывает столько визитов. И по плану ты должен появляться в клинике хотя бы раз в неделю.

— Bullsheet, — ворчит он. - Тогда положи побольше марли, чтобы я не промок, пока еду в машине или сижу в ресторане. Стыдно.

— Надень лучше памперсы.

Он задумывается и произносит грустно:

— Никогда не думал, что мне придётся носить памперсы в двадцать один год. Моя помощница по уходу опаздывает. Ты не поможешь мне одеться?

— Конечно. Что ты хочешь надеть сегодня?

Он помогает мне разобраться с пакетами:

— Открой тот, который слева на диване.

Я вспарываю пакет с трусами. Маленькие белые трусики распластаны под пластиком силуэтом мхатовской чайки.

—Ты хочешь эти?
– Да, я хочу эти.
— Может, лучше boxershorts?
– Нет, эти.
С неловкостью таксидермиста-дилетанта я натягиваю изящные трусики поверх памперсов. Чайка умирает. Теперь очередь узенькой белой маечки: она будет светиться в темноте, как луна на его тёмном теле.
— Что теперь?
— Багги.
Его кожа обжигает мне пальцы.
— Нет, это невозможно. Ты весь горишь, я звоню 911?
— Не смей. Я всё равно не поеду в госпиталь.
— Но ты поедешь завтра в клинику?
— ОК.
И мы продолжаем одеваться. Его длинные руки ныряют в рукава чёрной атласной куртки с вышитыми большими буквами. Зиппер приспустить, чтобы была видна маечка и золотая тяжёлая цепь на груди. Резинка на трусиках с такими же большими буквами должна быть обязательно видна из-под пояса широких штанов. Я изо всех сил тяну за резинку трусов, стараясь прикрыть голубоватую марлю памперсов, упрямо высовывающуюся из-под ремня. Да, так хорошо. Секси. Ну, вот и всё.
С ловкостью спортсмена он опять перебирается в кресло-каталку.
— Всё, я пошла.
— А кеды?
— Какие кеды? С твоими отёками?
Нет, он не может пойти на свидание в тапочках. Кеды с красными и желтыми языками пламени не хотят надеваться.
— Ослабь шнуровку.
Ну, наконец-то справились. Он хватает пачку сигарет со стола.
— Подожди, я выйду, потом закуришь.
Он не слушает и закуривает всё равно. И мы вместе выруливаем из его комнаты-гаража на улицу. Он в кресле, я на своих двоих. Я останавливаюсь около кустов ежевики, чтобы сорвать несколько ягод. Потом, по дороге к машине, я звоню его маме и лечащему врачу. И я жалуюсь на его непослушание и на нежелание ехать в больницу. Я оборачиваюсь и вижу его вытянутую, всё ещё красивую фигуру, втиснутую по непонятной причине в инвалидное

кресло. Он щурится на заходящее солнце, выпуская клубы синего дыма, и смотрит вдаль. Он ждёт, когда знакомый «нисан» с помятым бампером появится из-за поворота. И он мечтает, как они с подружкой поедут вместе на её машине в знакомое местечко, «У Энди» на Рэйнир-Бич. И будут смотреть игру на большом экране. А потом, после ужина, они вернутся уже к ней домой. И он увидит своего сына. И может быть, если мальчик ещё не спит, а ещё лучше, если они вернутся пораньше и успеют на время купания, то ему дадут его подержать. И он прижмёт его, мокренького после ванночки, к своей простреленной груди таким маленьким тёплым медальончиком. И мир округлится, станет мягким, добрым, и замкнётся силиконовым колечком в пухленькой ручке мальчика. В то время, как другая пухленькая ручка будет исследовать его губы и нос. И он будет строить мальчику смешные рожицы, а мальчик будет смеяться и кусать его за подбородок, потому что у него режутся зубки, и ему хочется кусаться.

Я разворачиваю машину, чтобы выехать на основную дорогу; в боковом зеркале ещё раз на секунду промелькнёт его лицо: он улыбается, он мечтает, он ждёт… Почему же она опаздывает?

Ирина Маулер

Забег к счастью длиною в жизнь

Судьба Марго

Лето приближалось к своей середине, вернее, к своей сердцевине. Солнце сжимало кольцом, а душный средиземноморский воздух периной покрывал жаркую, прокаленную землю. Силы были на исходе, и приближающийся отпуск качался маревой тучкой на часах июля. На работе у Маргариты, как обычно перед отпуском, началась чехарда. Начальник неожиданно заартачился и не хотел подписывать разрешение на отдых, муж вел себя в последнее время очень странно, а в их квартире, расположенной на последнем этаже четырехэтажного дома, прорвало трубы. Но проблемы растолкали друг друга, как бы открывая, пусть и нехотя, путь в исполнение желаний. Самолет в положенное время взмыл в воздух и мерно поплыл над городами, странами, морями и горами, перенося Марго в желанную необходимость.

В этом году ей исполнялось пятьдесят. Внезапно и неотвратимо годы наступали на пятки, гормоны душили, а воображаемое личное счастье все никак не наступало.

Двадцатилетняя женщина от тридцатилетней отличается возможностями, а не их пониманием. Тридцатилетняя от сорокалетней - знанием о том, как правильно их использовать. Знанием, но не применением этих знаний. Между сорока и пятьюдесятью знания переходят в умение, и вот тут-то оказывается, что время не ждет, а стремительно бежит вперед и не собирается ожидать решений, которые Марго никогда не умела принимать. Она жила всегда надеждой на то, что все само как-то образуется. Но ничего не образовывалось - ее когда-то любимый и любящий муж жил уже несколько лет в отдельной комнате, и их отношения уже давно перешли на положение попутчиков, едущих в одну сторону, но разным транспортом.

Что такое жизнь: радостная ли встреча с новым днем или унылое сопровождение дня пустого; облако надежды в бутоне распускающейся розы или отчаяние, висящее

грозовой тучей? Маргарита в последнее время, - а время это длилось уже несколько лет, - все чаще ловила себя на грустных пустых мыслях, мешающих ей, такой жизнерадостной и наивной, продолжать счастливое завоевание каждого дня. Все чаще она просыпалась неудовлетворенной и разочарованной.

Читать Марго всегда любила и прочитала немало интересных книг, которые подробно и радостно учили жить, но жить так, как там было описано - никак не получалось. «Книги - это рецепты, но надо еще и лекарства принимать», - философски рассуждала она и ничего не делала, все оставляя «на само собой». И только появление Гиля, ворвавшегося в ее жизнь, казалось, должно было все наконец поставить на свои места.

Марго была натурой творчески одаренной. Она писала стихи и музыку, картины и романы - и получала то восхищение и восторг поклонников, то зависть и равнодушие соперников. Но ни то, ни другое ее, в общем-то, не очень волновало. Она всегда была «сама в себе». Интроверт - какое ломкое слово… Впрочем, людей, которых оно характеризует, отличают самоуглубленность и замкнутость, ранимость и осторожность по отношению к внешнему миру. Марго, - с ее эмоциональной хрупкостью и глубиной принятия окружающего мира, с его словами, произнесенными то слишком громко, то слишком тихо, - примиряла с действительностью гармония цвета, случайно найденного кистью; звука, услышанного внезапно в какофонии дня; слова, сознательно пойманного и заключенного в сети белоснежного листа бумаги. И тем не менее, она была, несмотря на самоуглубленность, человеком реалистичным. Ну, так ей казалось. Она прекрасно понимала, что качество это - приобретенное. Жизнь предложила свои правила игры, и она их приняла. А что было делать?

Все всегда с чего-то начинается. И обычно начинается вдруг. Так случилось и у Марго.

Марго и Сергей

Ее брак с Сергеем можно было бы назвать и счастливым, - со стороны, конечно. Правда, цену этому счастью знала только Маргоша, Гошка, - как ее называл Сережа: простой коренастый паренек из рабочей семьи.

Он случайно появился на какой-то очередной вечеринке и был другом кого-то из ее согруппников. Поначалу она даже не обратила на него внимание, Марго всегда нравились высокие подтянутые ребята, а этот… Но настойчивость Сергея не знала границ. Да и у Марго других предложений не было. А у Сергея был добрый, покладистый нрав и безграничная любознательность к жизни.

Тогда, в конце восьмидесятых, еще никто не предполагал, что времена социальной защищенности и всенародной расслабленности вот-вот закончатся. За окном весна привычно сменяла зиму; мужчины на рабочих местах без азарта обсуждали международное политическое положение, а женщины - места возможного выброса дефицита. В кулуарах сплетничали и решали вопросы продвижения по службе.

Подружка по работе Ира всегда откровенно делилась с Марго своей личной жизнью, и почему-то в итоге выходило, что ее личная жизнь намного интереснее и красочней, чем Маргошина. Ира не была замужем, часто меняла любовников, и с таким азартом о них рассказывала, что Марго начинало казаться: зря она поспешила с замужеством. Сергей не оправдывал ее надежд - он был не амбициозен, не собирался «хватать жизнь за грудки», не хотел иметь красивый дом и читать умные книги. А Маргоше надо было идеального - возлюбленного, дома, детей, необыкновенной, увлекательной жизни. Она с жадностью выпивала каждый день до дна, и с такой же страстью хотела видеть и ночью удивительные сны.

От чего зависят желания человеческие: от генной ли предрасположенности, от количества прочитанных книг или от наличия химических элементов в организме? А может быть все-таки, человек - просто марионетка в чьих- то руках, и нет смысла прилагать неимоверные усилия там, где уже все предрешено…

Но Маргоша обо всем таком сложном тогда не думала. Ей было плохо с Сергеем, и тогда появился Борис. Намного старше и солиднее ее, уже отыгравший в детство, положительный и состоявшийся Борис почему-то по-мальчишески влюбился в Марго и предложил ей руку; сердце, правда, на всякий случай оставив у себя. Но где же об этом было знать Марго? Руку она видела, а как увидеть сердце, когда у нее самой за спиной выросли крылья, и она, казалось, уже перенеслась в те высотные дали, о которых так мечтала?

Развод Сергей никак не хотел давать. Марго недоумевала: и зачем она ему - ведь ни стираных носков, ни вкусного обеда за эти несколько лет совместной жизни Сергей от нее так и не получил. Она знала, что он ее любит, что готов исполнить любую прихоть, уехать за ней на край света… Но он был не борец - и это все перечеркивало. Поэтому, добившись развода и став свободной женщиной, Марго тут же передала свой паспорт в ЗАГС для законного подтверждения отношений с человеком, которого она приняла за принца, пришедшего воплотить ее желания. Тогда еще она не знала, что ни один мужчина не сможет ей помочь в реализации мечты. Она не знала, что только сам человек своей волей, усилием, счастливой звездой выводит себя туда, куда хочет попасть. И никто не может за руку привести его в страну молока и меда. У каждого свои кисельные берега и свой берег мечты. И если изначально у одного страна мечты - Юг, а у другого – Север, вместе, рука об руку, туда никак не попасть.

Но если бы не молодость и вера в чудеса - не было бы не только ошибок, но и побед вопреки всему.

Марго и Борис

Так как Марго в чудеса верила, ее свадьба состоялась, хотя и не такая пышная, как в первый раз.

Когда из праздника надежд она попала в страну будней, когда смолк оркестр эмоций и Борис на ее желания стал отвечать своими - Марго стала догадываться, что образ принца оказался нарисованным ее восторженным и не знавшим границ воображением. Но ее желания никуда не исчезли, и Марго решила сосредоточиться на них сама. Конечно, можно было просто опустить руки, поменять направление, постараться подстроиться под желания Бориса… Но тогда это была бы уже другая Марго, а в результате - и другая жизнь, по другим правилам и предпочтениям. А Марго летела навстречу солнцу, как бабочки летят на свет, и остановить ее было невозможно.

Когда перед ней закрылись двери, она нашла выход - вылетела в окно, расправив душу навстречу свету. И полетели вместе с ней, развернулись во всю широту ее творческие устремления, руша шлюзы, сдерживаемые надеждами и поисками женского счастья. Прирожденные способности и таланты заиграли всеми цветами радуги.

Это давало Маргарите те эмоциональные подъемы и восторги, которых она ждала и не дождалась от своих мужей. Свобода самовыражения - без окриков и поучений, без требований и обязательств - захватила и понесла Марго по жизни.

Творчество – удел избранных, удел любимцев судьбы. Не зря говорят: «Бог поцеловал в макушку». Нигде и ни в чем не обрести такую безоглядную внутреннюю свободу, как эта свобода созидания нового. Слушать ее, скользить за ней, умело держа компас, слышать ее и, как лунатик, идти, не осознавая своих действий.

Марго все резче отдалялась от Бориса, а он, казалось, только этого и ждал. На его мобильном телефоне все чаще стали появляться неизвестные Марго имена. Его выходные все чаще стали проходить вне дома. И отпуск он предпочитал проводить вне семьи: семинары, друзья, знакомые... Подрастала дочь, но времени и желания заниматься ею у Бориса не возникало.

Семейное счастье - мечта юной девочки и зрелой дамы; надежда на плечо друга в радости и горе, близость душ, разговор без слов; путь по закоулкам жизни рука об руку… Реальность это или пустые мечты, которым не суждено сбыться? Где ответ на этот простой вопрос: возможна ли в природе отношений между мужчиной и женщиной связь длиною в жизнь, или это лишь вынужденное сосуществование, помогающее выживать?..

Семейного счастья у Марго не было. Зато внесемейного, личного, запретного - и потому немного отстраненного от ее обычной календарной жизни, - оказалось достаточно.

С вопросами морали Марго впервые столкнулась, когда поняла, что с Борисом уже ничего не достроить, а жизнь продолжается, и очень хочется любить и быть любимой. Вот только вместе эти желания почему-то не ходят: либо любишь ты, либо тебя. Марго с ее непрерывной склонностью к анализу открыла для себя давно известную истину: когда ты готов отдать себя - это становится неинтересно другому, потому что интересна только победа, а сдающихся без боя берут в плен. Но жизнь пленного - не жизнь героя.

Раскрытая на одном и том же месте книга, знакомая и надоевшая мелодия, неизменная яичница на завтрак… Марго никак не хотела числиться в одном ряду с этими образами. И, по-видимому, вследствие этого протеста она всегда оставалась желанной и недоступной для жаждущих

общения с ней мужчин. Она выбрала свою мораль замужней женщины, которая не обсуждалась. Присутствие любовника в ее жизни, в ее душе, требующей близости и партнерства, было необходимо, но допустимо, лишь если любовник – это любовь, помощь, признание, Маргариты как личности. И требования к этому патетическому образу любовника с каждым годом увеличивались в той же пропорции, в какой возрастали требования Марго к себе и к жизни.

Эта внутренняя жизнь бурлила и конфликтовала с жизнью внешней, которая никак не хотела подчиниться желанию Марго самой составлять расписание на день. Жизнь внешняя навязывала ей свои правила – держала в ежовых рукавицах, тренировала на выносливость, не отвечала взаимностью, подводила в самых неожиданных местах и требовала большой цены за успех, достающийся тяжелым трудом. Но Марго боролась, как могла, и точно знала: если она отступит хоть раз - проиграет сражение. Поэтому Марго, скрепя сердце, шла на временные уступки, в уверенности, что ее победа впереди.

Развод

Все случилось как-то неожиданно. Обычный телефонный звонок во время рабочего дня; запечатанный почтовый конверт. Марго удивленно повертела его в руках – на конверте крупными буквами стояло слово «Рабанут»[1]. Не может быть… Сердце Марго упало и покатилось куда-то под гору, как во сне, когда падаешь в пропасть и нет конца этому падению. Может быть, это сон? И этот конверт, и все то, что происходило между ней и Борисом за последний год?

Соседская налаженная жизнь вдруг стала ломаться, портиться, и из второсортной свежести разом превратилась в продукт распада, раздражения и злости. «К чему мы идем?» - не раз спрашивала себя Марго, но старалась прикрыть глаза на происходящее, которое все сильнее доставало ее своими негативными волнами, как ни старалась она от них убежать.

---

[1] Раввинат.

- Я разделил наши счета, - злорадно и победно заявил Борис, садясь за руль машины. - Ты будешь жить на свою зарплату.

Заявление было сделано в безапелляционной форме, как объявление войны. Марго не ожидала такого поворота, ведь она давно привыкла считать себя жертвой, которая молча несет на себе не вкусную и нежную, как клубничная мякоть, а кактусную и горькую, как опталгин, семейную жизнь. А Борис… Что мог дать ей Борис? Только материальную защищенность, которую собирался теперь грубо, как вор, вырвать из ее рук…

Какой странный подход! Разве найдется такая валюта в мире, которая оплачивает отсутствие любви, взаимопонимания, нежности? Нет такой валюты. Но сколько в мире супружеских пар так живут: он много работает и оплачивает видимость семейной жизни, она делает вид, что ничего не замечает... Ей общество не прощает ни малейшего отклонения от схемы, а на его романы смотрит сквозь пальцы. Редко кто из мужей с годами сохраняет интерес к женщине и преданность ей. Немногие остаются верны идеалам молодости, немногие счастливы и любимы по-настоящему. Но стабильность необходима, к ней привыкаешь, она обволакивает мягким одеялом комфорта, и мало кому удается выбраться из ее коварных объятий. Да, Марго привыкла. Иначе она бы уже давно сама разорвала эту душную паутину ненужности и непонимания.

- Ты знаешь, я обязательно должна тебе это рассказать, - начала с восторгом близкая подружка Инна. - Мне кажется, твой муж ищет себе подругу.

Она немного помолчала для усиления драматичности момента.

- Он написал мне письмо на сайте знакомств. Я его сразу вычислила - программист, родом из Молдавии, по имени, правда, Леонид. Но там была фотография, хотя и размытая, - но я его сразу узнала. Мы начали переписываться, но он, кажется, понял, кто я, и исчез. Какой же все-таки подлец. А как он с тобой, у вас все в порядке?

В том-то и дело, что Марго видела: что-то изменилось. Борис никогда не был домоседом, но в последнее время стал исчезать по выходным, праздникам; с работы возвращался все позже и позже. А теперь это заявление о разделе счетов. Все сходилось в одно: у Бориса появилась

постоянная женщина, и он не боится потерять семью. И это после двадцати лет совместной жизни. Ну, не совсем совместной, но все-таки в рамках узаконенных отношений. А где же обязанности перед семьей, в которой давно погас огонь?

Марго сама понимала противоречивость своих вопросов, но в очередной раз предпочла закрыть глаза на происходящее. «Но сколько веревочке не виться, а конец все равно будет», - говорит старинная русская пословица...

Марго уехала из России более двадцати лет назад, а все равно оставалась «русской». «Русские израильтяне» - уже и понятие такое появилось. А раньше всем приехавшим предлагалось срочно переходить на иврит - радио, телевизор, друзья, работа. И никакого русского языка детям – зачем? приехал в страну - говори на иврите. Потом, через много лет, некоторые, опомнившись, с запоздалым сожалением признавали, что их дети не говорят по-русски. «Но все понимают», - торопливо добавляли они, как будто оправдываясь перед самими собой.

Почти все друзья Марго приехали в Израиль в одно время с ней. Они были из разных городов, и в обычной, «доперестроечной» жизни так бы никогда и не встретились В России остались верные подруги, которые радовались ее приезду в родные места, так же, как и она была рада принимать их у себя. Они приезжали надолго, со вкусом проводя время у моря, выезжая на экскурсии по всей стране, но непременно и в Иерусалим.

Марго очень любила этот город, Но еще больше ее притягивала Москва, с ее необъятными просторами и бесконечными возможностями. Однажды такая невероятная возможность ворвалась в ее жизнь и попыталась даже перевернуть ее, но Марго трезво, а может, просто нерешительно отнеслась к Жар-птице. И та, гордо взмахнув крыльями, вылетела из ее окна и до сих пор не возвращалась. Марго очень ждала ее возвращения, но пока безрезультатно.

- Квартиру мы продаем, о сумме алиментов я подумаю.

Марго не понимала Бориса, он изменился до неузнаваемости. В него будто вселилась чужая, злобная и агрессивная душа, которую Марго подозревала в нем и раньше, но не хотела признавать.

В злополучном письме из рабанута Марго такое прочла… Не хотелось верить, что это мог написать человек, которого она когда-то любила и который делил с ней кров долгие

годы. Из письма следовало, что они не были женаты по еврейским законам в России, под хупой не стояли, стакан не давили, «ктубу» не подписывали, а значит - он человек свободный, и просит отделить ненужную ему и чужую женщину от своей честной и частной материальной жизни. В заключение длинного письма-жалобы на жену, угнетенный и обиженный муж просил рабанут лишить Марго всего, включая алименты и квартиру. О дочке было сказано вскользь, мельком и с привязкой к алиментам.

Марго решила воевать. Не того она была характера, чтобы просто так прощать обиду. Еще в детстве, в зеленом, пахнущем травой дворике под вишнями, она бежала за обидевшим ее соседским мальчишкой с подхваченным с земли кирпичом. И, наверное, все закончилось бы очень плохо, если бы соседка, тетя Тоня, случайно возникшая на ее пути, не остановила погоню.

Как давно это было… Но образ того обидчика ясно предстал перед Марго и смешался с лицом Бориса. Она ему ничего не отдаст, и он будет ей платить столько, сколько скажет она. Решение было принято. Оставалось дело за малым: надо было найти адвоката, и не простого, а самого лучшего.

В Израиле система бракоразводного процесса оказалась очень запутанной и несовершенной - кто первым начинает его, тот, скорее всего, и выигрывает. Рабанут в основном стоит на страже мужских интересов, особенно не вникая в подробности. И если сказал муж, что жена неверна – значит, неверна; сказал, что плохая хозяйка – значит, и проверять нечего. А уж если под хупой не стояли – значит, и брака не было, да и развод не нужен. Никто никому ничего и не должен.

Все это объяснил Марго адвокат, которого она нашла через своего знакомого рава-астролога. «Представь, этот адвокат меня почти от алиментов освободил, теперь я своей жене практически ничего и не плачу»… Рав Хаим жил на окраине небольшого городка, и за приличную плату всегда предсказывал Марго предстоящие события. Его предсказания почему-то в дальнейшем не реализовывались, но психологическую ежеминутную помощь Марго все-таки ощущала. Вот и на этот раз, сраженная неожиданным поворотом событий, она прибыла к нему за помощью и, кроме напутствий, получила номер телефона этого самого адвоката.

Марго и адвокат Мойше

Встретилась с ним Марго возле здания суда. Это был молодой человек, лет тридцати пяти, в костюме религиозного еврея и со взглядом голодной собаки. Он деловито шел навстречу, таща за собой чемодан, в котором, как оказалось позже, хранились дела, делища и делишки его многочисленных клиентов.

Адвокат по имени Мойше, отстраненно выслушав историю Марго, несколько раз прерываясь на телефонные разговоры, ничему не удивился и спокойно озвучил сумму гонорара. Марго от неожиданности даже ахнула. Она знала , что адвокаты берут много, но столько...

Делать было нечего, за спиной горел синим пламенем ее двадцатилетний брак с Борисом, и из этого огня надо было спасать самое главное - дочь и себя. А также квартиру и привычный, наработанный долгими годами жизни, минимальный комфорт.

Марго вытащила чековую книжку и расписала чеки. «Как-нибудь выкручусь», - подумала Марго и уверенной рукой протянула чеки адвокату. Если бы она тогда знала, сколько времени ей самой придется провести у компьютера, изучая юридические правила и законы, сколько нервов придется потратить, пытаясь понять логику Мойше... Если бы можно было вернуть ту минуту подписания договора... Но нет, дело было сделано, договор подписан, поезд поставлен на рельсы.

И дело пошло, то набирая скорость, то тормозя на остановках, то резко останавливаясь, как будто кто-то дергал стоп-кран.

- Подлец и идиот! - кричала в телефонную трубку подруга Марго. - Он что, с ума сошел? Как он мог оставить тебя, такую красивую, умную, и талантливую?! А может быть, его околдовали? Ты знаешь, у меня есть знакомая, она развелась с очередным мужем и недавно вышла замуж за парня на десять лет младше. Выглядит она потрясающе; говорит, что ходит к колдунье. Дать тебе ее телефон?

- Давай,- согласилась Марго. - Почему не пойти, а вдруг…

- Пиши, - с радостью подхватила подружка. - Она живет в Яффо, арабка, зовут Рульда.

Марго записала телефон, позвонила и заказала очередь. Как видно, у многих женщин были проблемы, потому что записали ее - только через месяц.

Одни говорят, что проблемы, или, говоря высокопарным слогом – испытания, даются для развития души. Другие - для того, чтобы можно было радоваться; ведь если все хорошо, то и не поймешь, что счастлив. А так: не идут дела, стопорятся, плюют тебе в душу, а потом вдруг раз - и улыбается тебе жизнь. Вот оно, счастье! Вдыхаешь его полной грудью, как запах сирени или жасмина. А потом рядом пролетит машина, дохнет выхлопными газами - счастья и след простыл. Только поймал его, прижал к себе, - смотришь, а от него уже ничего и не осталось. То ли прижал сильно, то ли не удержал…

Жизнь не сильно баловала Марго и в ее профессиональной деятельности. Начальники менялись так быстро, что она не успевала к ним привыкнуть. Складывалось впечатление, что плохой начальник стоял в очереди за хорошим и подталкивал его к выходу из кабинета. Видимо, все это было задумано только для того, чтобы научить Марго жизни, сделать ее мудрее. Но вместо мудрости с каждым годом Марго становилась все более требовательной к себе и окружающим.

Чего на самом деле ждет человек? - искреннего внимания и помощи, он хочет быть услышанным, понятым и защищенным. Каждому нужны любовь и уважение. Но что же это? – одни не слышат, сколько ни кричи, другие не хотят слышать, имея хороший слух, а третьи слышат, но к себе лично услышанное не относят. И редко когда встретишь душу тонкую и нежную, как бутон розы. Душу, пахнущую чистотой и солнцем, наполненную светом и теплом. И вот оно, счастье, - соприкосновение с такой душой.

Марго все чаще видела вокруг себя глухих и слепых, и все реже встречала людей, наполненных ароматом свежести и благодати. Она спрашивала себя: что же случилось? Почему раньше, когда она легко и уверенно шла по жизни, вокруг нее были преимущественно улыбающиеся и радостные люди? Почему она не замечала подлости и зависти, хитрости и предательства?

Кто может узнать истинные мотивы поведения человека? Ведь перед нами - только внешняя сторона поступка. А что внутри? Перед тем, как сделать подлость, оклеветать, - испытывает ли человек неприятные ощущения; хорошо ли спит, ест? Может быть, он мучается вопросом: «а можно ли, а вправе ли?» А может быть, он просто не понимает того,

что делает. Возможно, то, что другому кажется подлостью, для него самого таковой не выглядит.

А зависть? Сколько рассказано, написано, показано о зависти. Из-за желания забрать то, что есть у другого, и революции происходят. Хорошо обосновать, подвести к мысли, что убивать и грабить можно и правильно; что надо отбирать силой преимущества других; что ты беден и несчастен не потому что ленив или дурак, а потому что тебя обкрадывают, унижают, эксплуатируют… Капитализм, социализм - все равны или каждый за себя?

Марго довелось повидать и социализм с его хамством в обращении между вышестоящими и нижестоящими. Она повидала и покупателей в магазинах, и отдыхающих в санаториях, и отношения между начальством и подчиненными… Но замечала и его величие: развитая культура, качественная литература, хорошие фильмы «с человеческим лицом». А капитализм с его дикими законами джунглей - побеждает сильнейший?

- У вас сегодня очередь к Рульде, вы будете? - незнакомый и ломкий женский голос возвратил Марго к реальности. - У нас очень много желающих, я жду вашего ответа.

Голос замер в ожидании.

- Конечно, - выдохнула Марго. - Записываю адрес.

Марго и ясновидящая

Дорога к ясновидящей колдунье оказалась не из простых. И хотя до Яффо ехать Марго было вроде и недалеко, найти дом Рульды было делом чрезвычайно сложным. Дом был без номера, без ориентиров и без случайных прохожих на улице. Спросить было некого. Марго, уже почти отчаявшись, решила было возвращаться, но вдруг один из домов привлек ее внимание. Это был не дом, это был домище из восточной сказки. Он был розового цвета с арочными окнами, весь увитый виноградом и яркими вьющимися кустами, на которых алым цветом горели похожие на розы цветки. «Этот!» - подумала Марго, и не ошиблась.

В доме водоворотом кружили люди. Одни грустно смотрели в одну точку, другие оживленно беседовали, сообщая о себе всякие житейские подробности. Зал ожидания напоминал мчащийся куда-то поезд, в котором

незнакомые люди мгновенно становятся на несколько часов близкими друзьями, поверяя друг другу свои истории, и уверенные в том, что больше никогда не встретятся.

- Не знаю, как и жить, - доверчиво рассказывала пожилая грузная женщина своей соседке. - Представляешь, мой сын попросил записать на него часть дома, сказал, что будет помогать на старости. Ну, сын же, кому еще, кажется… Мы с ним тогда вместе жили, он все никак жениться не хотел. А тут мне моя знакомая про одну девушку рассказала. Думаю, вот пара хорошая для моего сыночка. А оказалось... Привел он ее домой, сразу места мне не стало в этом доме. «Не могу, - говорю ему, - я так жить. У тебя теперь своя семья, снимайте квартиру, живите своим домом». А он, - как подменили его, что ли: «Не нравится, - говорит, - дом продавай, мою часть мне отдавай, и живи как хочешь». А как мне жить, если после продажи денег мне не то, что на дом, - на квартирку маленькую не хватит. Они-то молодые, ссуду возьмут, а мне какая ссуда, если на пособие живу. Я ведь и не работала никогда; все мой муж старался для нас, земля ему пухом.

- А ты иди в центр по защите от насилия, - уверенно убеждала солидная упитанная тетка с тюрбаном на голове молодую заплаканную девушку, укрытую от кончиков пальцев до пят в застиранное темно-коричневое платье, видно, доставшееся ей по наследству от старших сестер, - Зачем побои терпишь? У тебя же ребенок маленький, молоко пропадет.

Девушка только плотнее заворачивалась в свое платье, как в одеяло, и испуганно смотрела на незнакомку, старавшуюся успокоить и приободрить.

- А я русская сама, - рассказывала девушка в скромной белой наглаженной кофточке и простой юбке до пола. - С мамой приехала, мама замуж за еврея вышла, гражданство получила. А меня, как восемнадцать исполнилось, из страны попросили. Хотя я религиозную школу закончила - все законы и молитвы знаю. Хорошо, что меня сосватали, после того, как гиюр прошла, одному парню хорошему. Очень он меня любит, вот только деток Господь не дает…

Зал шелестел, как шелестит под ветром осенний клен. Люди, как листья, шептались между собой, и каждый говорил о себе, желая, но не ожидая до конца быть услышанным соседом. Милосердие, великодушие - всего-то быть услышанным и понятым. Но не слышат наши уши никого, кроме себя. А наши души закрыты на замки, и

только собственные мысли, как птицы, кружат в них, то по налаженному курсу, то сбиваясь с него, то собираясь в стаи, то поодиночке. Разные души - над разными океанами кружат мысли. И как им встретиться, как полететь в одном направлении, если разделены они и никогда им не услышать друг друга?

Марго внимательно слушала, что говорят вокруг, и ждала своей очереди.

- Маргарита, проходите, - пожилая скромная женщина, видно, уже давно забывшая, что когда-то была красивой, приветливо пригласила Марго в комнату.

Марго вошла и не сразу заметила сидящую к ней спиной на высоком, почти королевском кресле, женщину, черные густые волосы которой были высоко собраны, и казалось, покачивались в воздухе копной вороньего гнезда.

- Я Рульда. Садись, я буду рассказывать тебе о том, что было и будет. - начала колдунья. - Расслабься и слушай. Не перебивай. Я вижу, ты попала в затруднительное положение, твой муж неожиданно объявил тебе войну, и ты не знаешь, как выиграть ее, - колдунья посмотрела внимательно в глаза Марго, как бы проверяя правильность своего диагноза, и, удовлетворившись увиденным, продолжила. - Не бойся. Все будет, как ты хочешь. Я подскажу тебе правильную дорогу, а еще дам тебе зелье. Выпьешь его сегодня вечером, а назавтра пойди к морю вот с этой монетой и постарайся закинуть ее подальше. А потом скажи: «Как эта монета тонет в глубоких водах морей, так и моя печаль утонет вместе с ней. Как эта монета стерта и не нужна своей хозяйке, так и моя прошлая жизнь с мужем не нужна мне и забыта мной навеки. Аминь». Сплюнь три раза через левое плечо и уходи, не оглядываясь. Увидишь, не пройдет и трех дней, как ты найдешь выход из положения. А сейчас иди. На выходе оплатишь мои услуги.

Рульда отвернулась, давая понять, что визит закончен. Марго, совершенно растерявшаяся от услышанного, поднялась и тихо вышла из комнаты, пытаясь понять, что же это сейчас было.

«Ну что ж, это одно из решений», - подумала Марго, уговорив себя пятничным утром съездить к морю и бросить монету.

Марго и Гиль

День обещал быть жарким, солнце уже с раннего утра яростно прожигало виноградную листву у дома, как будто боялось не успеть растратить весь свой запас энергии до вечера.

С каждым годом в Израиле становится все жарче. К миру температура не оставалась равнодушной, посылая ему горячие воздушные поцелуи то из раскаленной далекой страны Лимпопо, то из Аравийской пустыни, то неизвестно откуда. Но посыл был единым - потепление планеты на градус-два. Сводки новостей теперь начинались с угрожающих прогнозов: торнадо в Америке, наводнения в Европе, пожары в Австралии... Правда, в Израиле сводки начинались с подготовки населения к будущей войне. Сообщалось об установке новых противоракетных систем «Патриот», о новых зонах сигналов тревоги; служба тыла изо дня в день объясняла, как правильно ложиться на землю в случае бомбежки, прикрывая голову руками.

«Сколько же это будет длиться?», - думала Маргарита, сидя за рулем и не представляя себе, как это можно внезапно остановиться посреди трассы, кишащей машинами, которые упакованы нервными, замученными стрессом и жарой водителями. Да и неизвестно, что лучше: если не останавливаться – может, и пронесет, а вот если прилечь на трассу - могут и переехать, не заметив...

От этих печальных мыслей Марго отвлек громкий скандал - молодая пара, видно, была на грани развода, и из машины лилась такая профессионально-отборная брань на русском языке, что на минуту Марго показалось, будто она находится в России.

Бензин был на нуле. Марго, краем глаза увидев это, заехала на ближайшую заправочную станцию.

- Девушка, вам помочь? - коренастый мужчина лет сорока пяти, с короткой стрижкой на рыжих густых волосах, заглянул в машину Марго и улыбнулся. – Что, день не задался? Не расстраивайтесь, все уладится. Вам какой бензин, девяносто пятый?

- Да, пожалуйста, полный бак, - ответила на иврите Марго и, неожиданно для себя, тоже улыбнулась в ответ. «Интересная у него улыбка, какая-то мягкая, что ли, и глаза веселые».

- Да, не задался день, да и жизнь тоже, - вырвалось у нее. - Ой, извините, что-то я не о том, вот кредитка, один платеж.

- Меня зовут Гиль, - парень вернул Марго кредитку и, улыбаясь лучистой улыбкой, продолжил: - Проверить масло, воду? И, кажется, ваши поворотники барахлят, надо бы подкрутить.

Он уверенно снял бампер машины и, вытащив из кармана, как фокусник из шляпы, иголку, начал что-то настраивать в крошечных, невидимых каналах панели. Для Марго это было уже высшей грамотой. Действительно, поворотники с каждым годом работали все хуже, а мужской руки все не было. Мужчина вроде был, но когда нужна была его помощь, его почему-то никогда не оказывалось рядом. И когда она болела, и когда прорвало трубы в квартире, и когда она случайно попала с концертом в другой город. Его не было никогда, потому что он был занят. Неважно чем; всегда находились какие-то объяснения. Марго никак не могла покончить с этой непонятной и уводящей от настоящей жизни связи с человеком, который был женат навсегда.

«Зачем я с ним?» - думала Марго по выходным, когда хотелось пойти куда-нибудь, неважно куда, рука в руке. Она думала об этом в будние дни, когда возвращалась с работы в пустую квартиру, думала об этом во снах, думала, но не могла избавиться от этой психологической зависимости. Она, как и многие женщины, попавшие в такую западню, надеялась, что Слава уйдет от жены. Он не раз ей обещал; клялся, что через год, когда его дочь закончит школу, он освободится, наконец, от пут опостылевшей супружеской, жизни. Его жена была далека от него духовно, да и физически, как уверял Слава, они уже давно не вместе. И только дочь склеивала их разбитый брак эти долгие годы. И только с ней, с Марго, Слава видел себя в будущем. Ведь он поверял ей тайны, ведь он звонил ей ежедневно.

Какая банальная история: она любит его, он привязан к семье, она его ждет навсегда, а он появляется по возможности. Женское сердце, как же оно любит обманываться, упрямо отказывая правде в возможности войти в открытую дверь, как же оно любит предаваться мечтам о неосуществимом…

- Так что, масло будем проверять? - Гиль внимательно смотрел на Марго, на ее длинные черные волосы, крупными кудрями падавшими на узкие плечи, на ее мягкие и

выразительные губы, на ее тонкие руки в серебряных браслетах, и думал, что еще никогда не видел такой красивой и ухоженной женщины.

- Да, конечно, извините, я задумалась, - Марго привычным движением поправила волосы. – Пожалуйста, проверьте, а то мне машина нужна живая и здоровая, - улыбнулась Марго.

Гиль уверенно открыл капот и ахнул.

- Да вам, дорогая девушка, просто проверкой не отделаться. У вас совсем нет масла, я вам сейчас принесу.

«Какой интересный мужчина, - Марго посмотрела ему вслед. - Молодой, подтянутый, и с признаками интеллекта. Странно, что он делает здесь, на заправке? Он, похоже, способен на более серьезную занятость.

- Гиль, - Марго было неловко, но любопытство победило. - Это ваша основная работа?

- Конечно же, нет, - легко ответил Гиль. - А почему вы спросили?

- Мне почему-то показалось, что работа на заправке - это не ваше главное предназначение. Или я ошибаюсь?

- Да, вы проницательны. Действительно, я просто сегодня замещаю моего младшего брата. Он только после армии, работает здесь без году неделя, а его уже угораздило заболеть. Боится, чтобы не уволили, тогда потеряет армейскую премию, а без нее ему никак - на образование собирает… А может быть, я вам расскажу о себе сегодня вечером в кафе? Приглашаю вас, придете?

- Приду, - почему-то не задумываясь ответила Маргарита, садясь в машину. - Рада вашему приглашению, - добавила она, не узнавая саму себя. И, улыбнувшись Гилю, поехала устраивать дела с адвокатом...

Владимир Сотников

Прикосновение

Почему именно на берегах рек приходили ко мне открытия? Я смотрел вдаль, и в это время появлялась во мне какая-нибудь новая мысль или новое чувство. Наверное, так они, новые, и являются всегда, расширяя границы жизни.

В детстве на берегу нашей маленькой речки я однажды представил, что второго берега нет у нее, и вместо него я буду всегда вспоминать, представлять, выдумывать ту жизнь, которая была и которая, конечно же, изменится, но родится из первоначальной.

На берегу Енисея, глядя над водой, я вдруг понял, что эта огромная река течет по шву создания мира, по ней соединился земной шар. Я слышал шорох суровых земных нитей.

И на берегу какой-то неизвестной речки, протекающей за такой же неведомой деревней, однажды вечером в кромешной темноте, слыша лишь журчание тихой воды, я почувствовал вечную любовь, удивившись ее внезапному началу.

Много их было, этих открытий, они заполнили все время моей жизни почти без пробелов. Сейчас я только привел три примера, взятых из памяти чуть ли не наугад, но вдруг понял, что объясняют они всю мою жизнь, как оси координат. Взгляд над речкой моего детства говорит о способе восприятия, взгляд над Енисеем – о масштабе, который всегда был притягателен до головокружения, а третий взгляд над неведомой речушкой в темноте – о растворении себя в мире. И если первые два взгляда подтверждали необходимость собственного усилия для возникновения мысли или чувства, то третий был словно и не мой, а встречный. И я ответил ему, ответил с готовностью и радостью узнавания.

Никогда не понимаешь выбора – почему все вышло так, а не иначе. Есть всегда в окружающей жизни легкое дуновение ее соавторства: не только человек решает, что делать, что сказать, куда пойти. И даже когда мы шли по лугу, спускаясь к речке, я как будто различал в облаке тумана эту подсказку: сюда, сюда, по этой невидимой тропинке среди высокой травы, к этим наваленным в

беспорядке бревнам, на которые надо присесть и слушать, как едва слышно журчит через запруду вода.

Нас было четверо: я, мой друг и две девушки. Он тихим голосом читал свои стихи. Читал и читал, мы слушали и слушали. Я с удивлением подумал: вот же лучшее помещение этих слов – в тихую темноту над речкой. И не удержался, сказал: «Как они рады своему лучшему проявлению – здесь, в темноте». «Кто?» - не понял друг. «Твои стихи. Нашли свое время и место». «Я бы этого не почувствовал. Но сейчас, после твоих слов, почувствовал», - сказал поэт.

Может, стихи помогли – они всегда помогают воплощению прошлого в настоящем, может, мои слова об этом – иногда надо сказать о чем-то, чтобы это не осталось невидимым, летающим где-то в высях ангелом мысли, но я вдруг так ощутил завершенность прошлой жизни! Все, что было раньше, было для этой минуты. Стихи писались когда-то, и вот сейчас, наконец, прочитаны, все мои прошлые дни и чувства неслись вперед и вдруг остановились, как будто оказались на краю вырастающей, летящей вперед линии. А что будет дальше?

А может, и темнота помогла, хотя говорить надо не о помощи, а о вине – и стихи виноваты, и мои мысли, ввернувшие меня в это совсем не юношеское ощущение. Как опасны в юности ясные и пронзительные ощущения жизни! Опасны этим занавесом, на котором вдруг увидишь ясно свои чувства, а ведь они должны быть смутными, едва различимыми, чтобы звать вперед.

Что захочется написать после этих стихов: «Я уеду из этого дома, станет пусто в холодном окне, здесь поселят кого-то чужого, навсегда неизвестного мне»? Или после этих: «В воду деревья гляделись. Там, где их листья остались, с ними опять в отраженье голые ветви сливались»? Что дальше? Ничего. Все, что хотелось, сказано. Я чувствовал себя этим деревом без листьев или холодным окном. Или этой темнотой, в которой я сейчас растворился, слился с ней, исчез. Но как хотелось продолжения этого застывшего во мне, остановленного, мира! Хотелось сказать что-то новое, а слов не было, хотелось развеять замирание в себе, но я словно был заколдован, словно окаменел. Я оказался на краю прежней жизни, и она остановилась перед продолжением. А продолжения все не было – кромешная темнота и снаружи, и внутри. Вдруг так ясно понял я: все, что знал и что хотел

знать, прошло во мне, осталось позади, завершилось… Как переплыть темную пропасть?

Смешно, смешно описывать это ощущение, но дело в том, что было оно мне знакомо, не впервые на берегу этой речки набросилось на меня. А началось все однажды, когда я заблудился в лесу совсем маленьким, и страх потерянности и завершенности поселился во мне навсегда. Он вспыхивал потом совсем, казалось бы, необъяснимо: то после прочитанной самой лучшей в мире книги, заставляющей вдруг онеметь на несколько дней, то после необыкновенного багрового заката, в который я все никак не хотел отпускать огромное солнце, и оно по каплям гасило свой пожар… Все прошло, казалось мне, и больше не повторится, и больше этого не будет – как тяжело привыкать к непониманию времени! Как тяжело не понимать и бояться его провалов перед собой. Не так ли и после любой мысли мы ощущаем пустоту и пропасть, будто посетил нас, подарил эту мысль и отлетел ангел, и мы ждем возвращения его или его собрата?

И я испугался в темноте – после стихов, после этих мыслей, после ощущения завершенности прошлой жизни, - чувствуя, как вознеслось куда-то ввысь что-то живое из меня, а я остался камнем.

Река, эта невидимая в темноте река с таким же невидимым другим берегом, спасла меня. Наверное, из той же прежней жизни пришло ко мне желание ощутить ее течение, и я пошевелился, чтобы встать и спуститься к воде. И девушка, сидевшая рядом, пошла со мной. Я подал ей руку. И вдруг меня пронзило будущее. Как будто издалека, из темноты, прилетела и развернулась передо мной тропинка, по которой я должен идти, и не было в ней неровностей. Я стоял на берегу, потрясенный этим странным ощущением покоя и уверенности – стоял и держал эту руку. Ладонь обратилась кверху, я накрыл ее своей. Никогда, никогда еще я не ощущал такой нежности. Нет-нет, я был ребенком, и материнские руки ласкали меня и гладили мою голову, мое лицо, и отцовскую грубую ладонь я не выпускал из своей на прогулках – самое любимое занятие детства… Но то было в прошлом. А сейчас меня звало к себе будущее – почему-то именно это деление времени, посередине которого я оказался, потрясло меня больше всего. Ну и, конечно, эта нежность. Ведь я вырос в деревне, и не могло быть ни у кого из моих близких и родных таких нежных ладоней, как эта. Неужели

так возможно, удивился я. Осторожно, осторожно, как легкий пух, который боялся нарушить прикосновением, я трогал эту ладонь. Вот же все, что зовет вперед, - думал я, - что зовет дальше, вдаль. Вот же вся будущая жизнь.

Как мы шли обратно к старой школе, в которой жили? Что говорили, да и произносились ли слова? Не помню. Но помню странное ощущение от ее имени – я повторял и повторял его, уже лежа в кровати, удивляясь звучанию во мне, удивляясь этому удивлению, как будто это и не слово, а часть меня. Я лежал и все думал, думал – не я думал, а проносились передо мной мысли. Я их видел в темноте, как видят сны. Почему-то мне казалось, что я сопротивлялся любви – она приближалась ко мне туманным облаком, а я изворачивался и отклонялся в сторону. И думал при этом, как надо писать: как будто Байкал вычерпываешь кружкой, как будто на траве остается твоя кровь, но чтобы не было при этом места для таких метафор, метафоры – совсем не то, неточны связи образа и слова. Я всегда в то время думал, как поймать свою мысль живой и трепетной, не убитой словами… И вдруг кто-то говорил внутри меня: «Конечно, все исчезает». Долгая тишина превращала меня в камень, но тот же голос произносил спасительные, оживляющие меня слова: «Но так же все и появляется». И я чувствовал, что эти слова – о речке, на берегу которой мы сидели, о ладони, удивившей меня своей нежностью, об имени – Таня, о том, как оно будет всегда звучать во мне. Эти слова - о продолжении того, что исчезает. О том, что появляется. О том, как надо писать.

Странно и парадоксально это звучит, но лишь новое может быть узнанным. Потому что Бог - не что, а как, и прикасается только новизной чувств. Он и прикоснулся ко мне там, на берегу речки.

Конечно, я часто вспоминаю тот вечер. Конечно, пытаюсь восстановить сказанные и услышанные слова, шорох травы, пока мы шли, запахи речки, пока мы сидели. Не получается! Получается только то, что получилось, только то, что написал сейчас. И я думаю: а может, и невозможно повторение прикосновения Бога, повторение творения, повторение любви. Это может только продолжиться. Оно и продолжается. Да и что такое наши воспоминания? Некая расшифровка чувств и мыслей. В пору их первого возникновения они неясны и непонятны, смутны и неочертаемы, но содержится в них обязательное обещание

будущих повторений и объяснений для себя, для них же, этих чувств и мыслей, для их прояснения. Однажды я написал, непроизвольно, как всегда, когда не только сам хозяин своих слов: все начинается с первого повторения. Не с первого ли повторения моего удивления от этой нежности рук, от радости продолжения моей жизни она и началась по-настоящему? Таня одним своим появлением осветила жизнь таким смыслом, которому предстояло повторяться, расширяться, яснеть в этом озарении, что я понял: этого я ждал всю жизнь, и так будет всегда.

Дмитрий Копелиович

Субботний гость

Полуфантастический рассказ

К двухсотлетию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину?

Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека, гл. 2.

…совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце.

Там же, гл. 3.

«- Ох, это не то, не то,- в тоске восклицала Соня,- и разве можно так… нет, это не так, не так!

- Сама видишь, что не так!.. А я ведь искренно рассказал, правду!

- Да какая ж это правда! О Господи!

- Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную.

- Это человек-то вошь!

- Да ведь и я знаю, что не вошь,- ответил он, странно смотря на нее. – А впрочем, я вру, Соня,- прибавил он,- давно уже вру… Это все не то; ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины!.. Я давно ни с кем не говорил, Соня… Голова у меня теперь очень болит».

Годин сидел на диване и читал вслух, а к нему прижалась, слушая, его семнадцатилетняя дочь. Своими большими, серьезными и печальными глазами она внимательно смотрела на него. Он ощутил внезапный спазм жалости: такая хрупкая, беззащитная, жаждущая понимания и сочувствия! Его дочь, его кровь, его «звездочка», как он ее называл. Мучительно хотелось охранить ее от тягот и бед…

По субботам Годин читал дочери «Преступление и наказание», это были их совместные «достоевские чтения». Она сама попросила почитать ей роман после того, что столько слышала о нем от отца. Он читал ей и удивлялся: ребенок, выросший вдали от России, в лоне иной культуры, пытается понять одного из самых сложных русских

писателей, слушая его в оригинале. И все время думал: не слишком ли давит на психику, не слишком ли «грузит» ее этот полубольной мир, созданный воображением гения? Иногда он спрашивал: «Ты понимаешь, тебе интересно, ты хочешь продолжать?» Дочь кивала. Но он чувствовал, что главное она пока держит в себе, не раскрывается перед ним…

И вдруг сейчас вылез, наконец, как бабочка из куколки, долго созревавший вопрос:

- Папа, я понимаю, что это большой писатель, но все-таки почему ты именно его так любишь? Что тебе в нем так близко? Есть же и другие писатели, наверное, не хуже.

Что он мог ответить? Для этого надо было рассказать дочери всю свою жизнь. А к этому он еще не был готов. Отделаться же общими, банальными фразами типа «Достоевский – гений», «Достоевский проник в глубину человеческой души», «Достоевский предвосхитил Фрейда» негоже было.

- Знаешь что, Звездочка? Я тебе потом отвечу, не сейчас. Мне подумать надо. Это все не так просто…

Дом наполнился щебетом влетевших девочек – подружек дочери. Они весело переговаривались, делились последними новостями, пританцовывая от нетерпения и от бьющей через край жизни. На их фоне его задумчивая дочка выглядела намного более взрослой, с затаенной печалью в душе. И опять спазм жалости сдавил горло…

Годин вышел в другую комнату, чтобы не мешать. Прилег на кровать: хотелось отдохнуть от бесконечной, засасывающей, как болото, суеты – постоянной беготни, высушивающих рабочих забот, мыслей о заработке. Он думал посвятить эти редкие минуты, выпадающие только в субботу, мыслям о дочери, об ее трудном, мучительно трудном взрослении, о том, как можно ей помочь, облегчить ее ношу. Глаза сами собой закрылись, и тело налилось тяжестью…

В дверь комнаты постучали. Он вздрогнул и открыл глаза. В доме было тихо. По всей видимости, он задремал, а девочки в это время убежали.

«Может, показалось?» - подумалось ему. Гостей он не ждал. Стук, однако, повторился. Кто бы это мог быть? Жена ушла на урок, все дети разошлись по своим делам, он дома один. Как же человек вошел в дом? Наверное, дети забыли запереть входную дверь. Хотя воров в их маленьком городке обычно не опасались (да и какой вор станет

стучать?!), все же смутная тревога заползла в душу. «Видимо, сосед зашел попросить чего-нибудь»,- успокоил он себя и громко проговорил:

- Войдите.

Дверь медленно растворилась. На пороге комнаты стоял, вроде бы, незнакомый человек. Выглядел он как типичный представитель ультраортодоксальной – «харедимной» - общины: черная пиджачная пара, черная шляпа на голове, черные же, начищенные до блеска туфли. Под пиджаком проглядывал ворот белой рубашки. Длинная окладистая борода. В правой руке незнакомец почему-то держал старую, засаленную тетрадку зеленого цвета, из тех, что использовались на уроках в советской школе. Но в первую очередь Година поразил и приковал к себе взгляд вошедшего: пронзительный, проникающий внутрь, обладающий каким-то гипнотическим воздействием. Годину вдруг показалось, что когда-то он видел этого человека, но не мог вспомнить, когда и где.

Гость стоял в дверях и молча смотрел на хозяина дома. Годину стало совсем не по себе от этого «рентгеновского» взгляда, и он отвел глаза. Он хотел поздороваться, но почему-то не мог раскрыть рот.

Неизвестный вдруг чинно поклонился.

- Разрешите войти? – произнес он чуть хрипло на русском языке.

- Извольте, сделайте милость… - выдавил из себя Годин. – Вы наш новый сосед?

- Отнюдь, - ответствовал незнакомец, - я не сосед. Впрочем, в известном смысле я и в самом деле ваш сосед, или, так сказать, ближний. Вы и сами убедитесь. Вы же меня хорошо знаете…

Гость опять вперил в Година свой пронзительный взгляд.

«Уж не помешанный ли?» - с опаской подумал Годин. Вслух же сказал: - Помилуйте, откуда же я вас могу знать? Я вас в первый раз вижу.

- Да нет же, - невозмутимо и даже как-то дружелюбно проговорил пришелец. - Вы меня часто видели. Не живьем, однако, а все больше на портретах. Приглядитесь-ка.

Годин почувствовал, что у него пересохло в горле, а колени стали предательски подрагивать.

«Видать, и в самом деле помешанный. О каких портретах он толкует? Но что-то знакомое в нем и впрямь есть… Но что?» - Годин напряг память. Но, как иногда бывает: что-то

вертелось в мозгу, вот-вот ухватишь, а в последнее мгновение проблеск исчезает, и вспомнить не удается.

Гость меж тем прошел в комнату, сел на стул и снял с головы черную шляпу. Под шляпой не было ожидаемой кипы, зато открылся огромный – «сократовский» - лоб, за которым светилась залысина. Этот лоб в сочетании с бородой и пронзительно смотрящими глазами… Снова смутное воспоминание промелькнуло в мозгу и пропало.

Незнакомец положил шляпу на ноги, продолжая держать в руке зеленую тетрадку.

- Ужели не узнаете? – он укоризненно покачал головой. – Я был уверен, что узнаете.

И вдруг он произнес без всякого перехода:

- Я тебе должен сделать одно признание. Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних.

Годин вздрогнул, как от удара электрическим током, и схватился за кровать. Мысли мешались. Внезапно перед глазами явственно встал виденный тысячи раз портрет. «Галлюцинация!» - в ужасе подумал он.

- Узнали, наконец, - улыбнулся гость. – Не волнуйтесь, это не галлюцинация,- ворвался он в мысли Година. – Я и в самом деле я.

- Этого не может быть, - пробормотал Годин себе под нос, чувствуя, что вот-вот хлопнется в обморок.

- Хотите нашатыря? Я предвидел вашу реакцию и припас, - гость услужливо полез в карман и, достав маленькую бутылочку, протянул ее Годину. – Нюхните – легче станет.

Годин привстал с кровати. Держась за стул, он взял бутылочку из рук гостя, открыл ее и опасливо понюхал. В нос бросился резкий запах спирта. Годин упал на стул напротив гостя. Слов не было.

- Ну-с, - гость, приподняв шляпу с колен, закинул ногу на ногу, - не беспокойтесь вы так. Вы же меня не раз ждали. Как-то ведь представляли себе. Одежду, правда, пришлось сменить, чтобы не смущать у вас здесь людей на улице. Надо сказать, жарковато у вас в Израиле. Я, пожалуй, стаканчик воды бы выпил.

На столе стояли бутылка с водой и стопка бумажных стаканов. Дрожащими руками Годин наполнил стакан и молча подал гостю. Гость залпом осушил стакан.

«Розыгрыш, кто-то из приятелей подослал!» - лихорадочно искал решения Годин.

- Да нет же, не розыгрыш, - снова ответил гость на его мысли, - и я не обманщик и не фигляр. Я и в самом деле тот, кого вы ждали. Попробуйте приподняться над обыденностью и поверить мне. Вы же, если не ошибаюсь, человек верующий?

Годин, наконец, выдавил из себя:

- Трудно, знаете, так вот сразу…

- Я понимаю, - мягко сказал гость,- но вы все же попытайтесь. Видите ли, иногда, в редчайших, конечно, случаях, происходит некое смещение, я бы сказал, соединение разных времен, и тогда оказывается возможной такая встреча, как наша с вами. Но при непременном условии: этого надо очень сильно захотеть и быть готовым в это поверить. А вы ведь хотели, я знаю…

- Откуда вы знаете? – вслух спросил Годин, а про себя подумал: «Вроде я не пил. Нет, это определенно какой-то розыгрыш…»

И тут же пришел ответ:

- Ну, хорошо, пусть будет по-вашему. Пусть розыгрыш. Не буду с этим спорить. В дальнейшем сами убедитесь. А откуда знаю, что вы мечтали о нашей встрече еще с малолетства? Знаю, поверьте. Из надежных источников. Но давайте перейдем к более существенному. Я вам должен сделать одно признание: я никак не могу понять, как вы – человек, настолько привязанный к русской культуре вообще и к моим сочинениям в частности, - решились променять все это на совсем другую культуру, «переродиться», так сказать? Я, собственно, из-за этого-то вопроса вас и решился побеспокоить.

Годин обеими руками вцепился в стул и проглотил слюну. Перед глазами всплыла сцена: он сидит в самолете, на котором ему суждено пересечь Рубикон: из одной жизни в другую, из России в Израиль. С того дня прошло больше тридцати лет, но он помнил его почти по минутам. Тогда, сидя в самолете, он прощался с прошлым, не зная, что его ждет в будущем. В настоящем же ощущалась какая-то пустота, и заполнить ее тогда было нечем.

- Вы ведь,- снова начал гость,- писали о моих книгах, не так ли? Несколько статей, если не ошибаюсь?

Годин провел руками по глазам и тихо произнес:

- Шесть, если считать школьное сочинение…

- И знаете, что я вам скажу? – ухватился гость за эти слова. – Школьное ваше сочинение, пожалуй, есть лучшее, что вы обо мне написали. Не в смысле глубины мысли,

конечно (уж простите за каламбур!). Более поздние ваши работы содержат в себе более зрелые, интересные рассуждения. Поверите ли: я и сам, читая их, удивлялся иной раз. Ведь мне и в голову не приходило то, что вы у меня вычитывали. Интерес пробуждает. Ну, там, Раскольников и пушкинский Германн, например. Даже польстило, знаете ли. Ну, а насчет «подпольного человека», - дескать, он скрытый Белинский, - это вы, по-моему, лишку хватили. Воображение занесло. Впрочем, вы и сами замечаете, что все это очень предположительно. А вот школьное ваше сочинение невинной, искренней верой дышит, как будто вы не о воскресении Раскольникова пишете, а о своем собственном. Сила чувства сквозь слова прорывается. Как это у вас там сказано? – гость открыл зеленую тетрадку, немного полистал ее, удовлетворенно хмыкнул и к изумлению Година прочел вслух: «Именно после убийства так много открылось Раскольникову. Он понял всю лживость и бесчеловечность своей теории и отбросил ее. Он полюбил. Любовь убила в нем злобу и воскресила все добрые, благородные начала его натуры, возродила в нем душу живую. Она вернула ему веру в будущее и в самого себя. В этом смысле он действительно приобрел новую жизнь, которой так добивался». Вот эта искренность-то и подкупает. Вы как будто тоже приобрели тогда новую жизнь?

- Пожалуй, что так, Ф. М., - произнес Годин и поразился, что он и в самом деле вступил в разговор с Ним, поверил в Его присутствие, и ощущение галлюцинации исчезло. – Я тогда с опаской начинал читать ваш роман. Пятнадцать лет мне было. Все вокруг говорили: такой сложный писатель, что ты в нем поймешь? А я, как начал читать, так в какую-то чарующую глубину погрузился. Еще это академическое издание – видели его, наверное? Смешно сказать, но типографский аромат, исходящий от книги, тоже как-то гипнотически на меня действовал. Я читал и погружался все больше, чувствовал на себе власть текста. Читал в основном по вечерам, перед сном, так что засыпал с мыслями о романе. А когда дочитал – меня всего трясло от возбуждения. Я еще не понимал, что со мной произошло, но ощущал, что нашел что-то очень-очень важное. Ни с одним писателем такого у меня не было. Я лежал на кровати, дрожал и чувствовал, что должен как-то выплеснуть душу. Вот тогда и написал свое сочинение. Много позже я понял, что ваш роман заполнил мне пустоту

советского лицемерного, агрессивно-атеистического пространства, ответил на «томление духа». Впрочем, вы же с советским бытием не знакомы…

- Напрямую, конечно, не знаком, - гость слегка улыбнулся уголками губ, - но определенное представление имею. Случалось и мне кое-что похожее описывать, и даже некоторые черты характерные предсказать удалось.

- Вы, конечно, «Бесов» имеете в виду, но погодите немного, - Годин почувствовал, что его понесло. – До «Бесов» я «Идиота» прочитал. Через полгода после того сочинения. Ваш князь Мышкин меня покорил. Признаться, я боялся разочарования после того озарения, которое пережил, прочитав «Преступление и наказание». Дважды такого не случается. Но князь Мышкин с его «высшим синтезом жизни» уверил меня, что я нашел то, что искал. Я сказал себе тогда: «Это мой писатель». Писать о романе я не стал, но испытывал почти болезненное наслаждение от сознания того, что моя душа соединяется с вашей. Тогда я впервые стал с вами разговаривать, в своем воображении, конечно.

Гость сверкнул глазами.

- Если так, то почему же оставили меня потом? Не нужен стал?

- А вы никак ревнуете, Ф. М.? Требуете абсолютной верности, как библейский Бог? Вы не торопитесь осуждать, дослушайте сначала мою историю. Так вот: потом были «Бесы»…

Мне уже кое-что было известно о романе. О нем всегда много говорили. Наш бард пел: «Все, все, все Достоевский предсказал». В первую очередь, в голову приходили «Бесы», ибо ведь в наше время эти ваши бесы стали реальностью, более того – властью. Но что я вам рассказываю – сами, наверное, знаете. Я лучше о своем отношении к роману расскажу. Мое притяжение к нему началось с эпиграфа. Такие привычные строчки Пушкина вдруг заиграли новым смыслом, и дорожные бесы – шуточный, вроде бы, образ – вдруг превратились во что-то страшное и зловещее.

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Гость вдруг подхватил и немного надтреснутым голосом почти запел:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…

- Сказать вам откровенно, милостивый государь мой, моя мысль о будущем романе началась с этого стихотворения. Для меня Пушкин и есть пророк. Я всегда так думал и как-то раз об этом сказал публично. Мои бесы родились из пушкинских. Так что здесь вы, пожалуй, меня верно поняли.

Годин дрожал от еле сдерживаемого волнения.

- Это не просто понимание. Мне тогда казалось, я так чувствовал, что моя душа соединяется с душой Пушкина и вашей. Я ощущал вас обоих рядом с собой. Но знаете, кто оказался для меня едва ли не самым важным в романе? Шатов.

Гость внимательно, с легкой иронией посмотрел на него.

- Отчего же именно Шатов? Оттого, что жертва?

- Вот здесь вы как раз не угадали, Ф. М. Не из-за этого. А из-за одной его фразы, брошенной во время разговора со Ставрогиным, из-за крика души: «Я буду веровать в Бога!» Для меня это было вехой. Шатов выразил то, чем я сам мучился. Именно тогда я постепенно начал понимать, что в жизни мне не хватает именно веры. То был мой последний школьный год. Я все время искал точку опоры для будущей жизни. И я чувствовал, знал каким-то внутренним знанием, что найду ее в ваших книгах. Поэтому, когда открыл «Братьев Карамазовых», то не сомневался уже, что ответ – там.

- Ну и как же, нашли? – гость снова улыбнулся уголками губ.

- Да, нашел, - Годин чувствовал, как волнение все больше охватывает его, - нашел. Я сказал себе: Иван прав в своем бунте, но бунт этот ведет в бездну отчаяния. Бог не есть только боль страха смерти, как проповедовал Кириллов. Бог – это надежда. Бог – это ответственность. Бог – это призыв. И я хотел внять призыву. Меня занимала тогда одна мысль: могу ли я вовлечь себя в веру просто потому,

что убежден в ее необходимости? Не будет ли это той самой «натащенной на себя епитимьей», о которой говорил Иван? А даже если и будет, не лучше ли так, чем оставаться без веры, без якоря, без точки опоры? У меня не было никаких учителей или наставников, кроме вас. И я решился. Я начал с того, что выучил наизусть короткую молитву старца Зосимы: «Господи, помилуй всех днесь пред тобою представших». Я повторял ее каждый вечер, стараясь пробудить в себе живое чувство.

- Ну и как, помогло? - на этот раз взгляд гостя был совершенно серьезен. – Я потому спрашиваю, что и сам так пытался, да не получилось. То есть отчасти, конечно, получилось, но не до конца. Мешало что-то. Не мог я с моим Зосимой самоотождествиться. Впрочем, как и Толстой со своим Платоном.

- Что же вам-то помешало, Ф. М.? – вопросом на вопрос ответил Годин. – Вы же не так далеки были от веры, как мы – дети советской эпохи, выросшие в «пузыре» агрессивного атеизма.

- Эх, не скажите. Нам-то тоже атеизм был хорошо знаком. С другой, правда, стороны. Мы же в молодости прогрессистами и ниспровергателями основ были. Сам я, когда на каторге к вере пришел, молился словами из Евангелия: «Господи, верую, помоги моему неверию!» А корнем неверия у меня был как раз бунт Ивана, который зрел во мне еще до того, что роман сочинился. Моральное чувство, знаете, возмущалось, не принимало этот жестокий мир, билет хотелось вернуть.

- Меня, Ф. М., ваш Иван как раз притягивал к себе, манил. Я тайну его хотел узнать. Не в том только, конечно, смысле, он ли убил. Я раздумывал о том, как ваш мир устроен, что в нем меня так захватывает. И Иван представлялся мне ключом к пониманию. Я тогда книгу Бахтина прочитал. Вы с ней знакомы?

Гость усмехнулся:

- Это про полифонизм и диалог, про «бульварный роман» и про героя-идеолога? Знаю-знаю. Приходилось беседовать с Михал Михалычем.

Годин оторопело взглянул на гостя:

- В каком смысле «беседовать»?

- В самом прямом. С вами ведь беседую. С этим вы же смирились… Так вот и с ним приходилось. После того, как он книгу эту написал. Я ему сказал тогда: «Глубоко копаете, милостивый государь. Откровенно говоря, я бы на вашем

месте всего бы публике открывать не стал. Должны же оставаться у художника хоть какие-то тайны нераскрытые». А он мне: «Мое дело понять и рассказать, что я понял. Иначе, какой из меня, к черту, ученый?» Впрочем, у ученых и философов всегда с художниками нелады были. Еще со времен Платона. Бахтин – правда, случай особый. Он к тексту с почтением и трепетом относился.

- Ну, коли так, - Годин почувствовал в себе прилив какой-то дерзости,- что вы скажете о моей работе про Ивана? Я ее под влиянием Бахтина и написал.

- Это про способы воплощения духовной эволюции Ивана? Вполне приличная работа для начинающего литератора. Мне в ней ваше «отчасти» понравилось. Вы правы: я всегда был против последней точки, «последнего слова», по выражению Бахтина. У меня и впрямь все «отчасти», не до конца. Люблю эдак огорошить, подловить читателя. Как вы это в своей работе назвали? Закон чего-то там.

- «Закон неожиданного эффекта», - краснея, подсказал Годин.

- Вот-вот. Бахтин, конечно, серьезнейшее исследование написал, у него культурная база колоссальная (мне порой самому завидно немного становилось, когда читал), а у вас наивно-молодо, но в точку. Мне нравятся такие молодые озарения.

Годин почувствовал, что по его телу разливается мягкое, приятно расслабляющее тепло, как при легком опьянении. Он испытывал наслаждение от этого чувства. Оно поглотило его целиком, без остатка. Мир вокруг исчез, остались только они вдвоем с гостем.

- В конце вы, правда, сбиваетесь немного на проповедь. – Гость снова открыл зеленую тетрадку, вытащил вложенный в нее листок и прочел: «Но может ли такое случиться, чтобы душа человека в противовес мировой гармонии стала сгустком злобы, испепеляющей все и вся? И Достоевский утверждает (здесь гость хмыкнул): это неестественно, это немыслимо для человека, потому что он не может противостоять всему миру, потому что он человек… Человек, пусть не сразу, пусть по прошествии многих лет, но придет к горькому пониманию того, что жизнь прожита зря и что зло есть все-таки ложь. Сие последнее буди, буди!» Да, начали с Ивана, а кончили Зосимой. Каково? Каков молодой запал?

- Не язвите, Ф. М., - бросился в бой Годин, - это же кровью сердца писано, символом веры стало. Да и сами вы разве иначе роман свой кончили? Разве Алеша в речи у камня, прощаясь с детьми, не похожие слова говорил?

Гость сверкнул глазами и медленно проговорил:

- Но я-то не Алеша. По крайней мере, отчасти… Я-то не могу так сусальничать, как он. Жизнь у меня другая была. В остроге ведь довелось побывать.

Годин побледнел:

- Да знаете ли вы, к чему я готовился тогда, когда про Ивана писал? Тоже к острогу. Другому, правда. Надо мной весь тот год висел дамоклов меч. В армию меня призывали, забирали прямо из института. Я понял тогда: без веры мне не выдержать. А веру я мог почерпнуть только из вашего романа. Других источников у меня на тот момент не было. Но вера, я понимал, будет с надломом, с осознанием «возвращенного» Иванова билета. Иначе поверить у меня не получалось. Перепечатал главу «Бунт» и взял ее с собой, как своего рода Священное Писание, как охранную грамоту, как Давидово оружие против Голиафа.

- Вы мне так и не ответили на мой вопрос: помогло это вам? Уверовали? – в голосе гостя послышались какие-то проникновенные нотки.

Годин помолчал секунду.

- Я очень старался. Я заучил главу наизусть, оттого что перечитывал ее в армии при каждом удобном случае. Но мне было важно видеть перед собой напечатанный текст: когда я смотрел на него, я чувствовал, что сохраняю связь с тем миром, который остался за забором. Один из сержантов нашел у меня текст и отнял.

- Почему? Вам запрещали читать?

- Не то, чтоб официально запрещали, но хотели превратить нас в скотов. Потому и старались лишить возможности читать. Тот сержант ненавидел читающих людей, а стало быть, и меня. Когда он отнял текст, я почувствовал, как что-то оборвалось внутри. И я тайком, в постели, молился и просил Бога, чтобы Он вернул мне текст. Так я не молился еще ни разу. И – удивительное дело – молитва моя была словно услышана: на следующий день сержант со смехом вернул мне главу и потребовал рассказать, что там написано, «тиснуть роман», как говорят урки. Я попытался рассказать, но что этот питекантроп мог понять в вашем романе? Под конец он полностью уверился

в том, что я «тронутый», и прозвал меня Карамазовым. С тех пор это прозвище приклеилось ко мне.

- То есть вы, так сказать, превратились в героя моего романа? – усмехнулся гость. – Любопытный путь: начали как читатель, потом стали критиком и, наконец, ворвались в роман и сделались его частью. Успех!

- Вы опять язвите, Ф. М., а меж тем это совсем не шутки. Те два года в армии были моим «Мертвым домом». Если что и поддерживало меня в первое время, то это диалог Ивана с Алешей – через него я пробивался к Богу. Впрочем, лукавлю немного: было и кое-что другое. Стихи русских поэтов, присланные из дома.

- Пушкин, конечно? – осведомился гость, пряча улыбку в бороде.

- По большей части, поэты серебряного века. Ахматова, Мандельштам, Цветаева. Читали, может быть?

Гость нахмурился:

- Не читал. Но что за поэт русский с такой фамилией странной? Мандельштам…

Годин горько усмехнулся:

- Вы не очень-то терпимы, Ф. М. Фамилия вас задевает? А ведь речь идет о великом поэте, да еще и мученический венец принявшем, каковой и Пушкину не довелось принять.

Гость был явно уязвлен.

- На Пушкина замахиваетесь, милостивый государь? Не след вам. Можете ли вы понять русскую национальную душу, если вы…

- Если я сам не русский, а еврей – хотели вы сказать? – у Година дрогнул голос. – А между тем, Мандельштам, чья фамилия вас так покоробила, будучи евреем по рождению, оставил в русской поэзии след, который останется на века. А век, в котором он жил, был куда более жестоким, чем век Пушкина, и Мандельштам осмелился восславить свободу, за что был отправлен на каторгу куда пострашнее декабристской или вашей, и умер там от голода и истощения! Вы вот послушайте:

И если подлинно поется
И полной грудью – наконец
Все исчезает: остается
Пространство, звезды и певец!

Впрочем, ваше отношение меня не удивляет. Как раз, вернувшись из армии, я имел «удовольствие» прочитать ваш «Еврейский вопрос».

Гость смотрел исподлобья:

- И каково же ваше впечатление от этой статьи? Чувствую, что не убедил я вас.

- Не убедили – это не то слово, Ф. М. Я был подавлен. И раньше я замечал в ваших романах некоторое предубеждение по отношению к народу, к которому я принадлежу: карикатурно, а порой и с нескрываемым презрением вы нас описываете. Пожарный в «Преступлении и наказании», Лямшин в «Бесах», Исай Фомич в «Записках из Мертвого дома». А после прочтения статьи мне все ясно стало. Ясно и очень горько. Я остро почувствовал, что за внешней корректностью и, вроде бы, объективностью скрывается глубокая внутренняя неприязнь. Для меня это был сокрушительный удар. Ведь я верил вам безгранично, вы были каналом, связывавшим меня с Богом. А теперь…

- Что теперь? – вскинулся гость. – Ведь я же ясно объявил, что не ненавижу жида, а если что и подвергаю критике, то это идею жидовскую, «жидовское царство». Или, как и мои корреспонденты, на слово «жид» обиделись?

- Э, оставьте, Ф. М., все это словесное жонглирование. Ну, скажите на милость, какая еще идея «жидовского царства»? Неужели вы, столь умный и глубокий человек, всерьез верите, что все евреи спят и видят, как бы миром завладеть и установить свое «царство»? Дайте-ка вспомнить, что вы пишете о «жидовской» идее: «Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабство обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами – все равно, - верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай…» Какого паука изобразили?! Можете ли источник цитаты указать?

Гость пожал плечами:

- Я и не претендовал на то, что это точная цитата. Но дух идеи она, на мой взгляд, передает верно.

- На ваш взгляд… - в горле у Година стоял комок. – Да это просто салат какой-то из библейских цитат и вашего (и не только вашего) воображения. В библейских книгах можно найти резкие слова по поводу разных народов – это верно. Но захват власти над всем миром как высшая, тайная

цель… На протяжении долгих столетий еврейский народ мечтал об одном: вернуться на свою маленькую землю и получить право на ней жить! Что же до шокирующих высказываний о народах мира, то разве в Новом Завете мало не менее агрессивных выражений по отношению к евреям? В Евангелии от Иоанна, например? И разве христианская церковь не объявила, что спасется только поверивший в воскресение Иисуса, а остальные осуждены навечно? Я уж не говорю о том, что происходило на протяжении истории: кто кого эксплуатировал и преследовал? Крестовые походы, изгнания, хмельниччина? А про Холокост вы слышали? Шесть миллионов безвинно убитых, включая детей, женщин, стариков? Хотя, впрочем, это уже после вас было. И все же: как насчет слезинки хотя бы одного невинно замученного ребенка и мировой гармонии?

Гость был бледен.

- Я слышал про Холокост. Но не в России это произошло, а в Германии. Русский народ такого бы не совершил.

- Вы в этом уверены, Ф. М.? Но пусть только как предположение: случись подобное в России, вы бы что сделали? Знаете, в Германии властитель умов, глава философов Мартин Хайдеггер отступился от своего учителя-еврея и присоединился к его гонителям. Интересно, как бы вы поступили в подобной ситуации?

Гость побледнел еще больше. По его большому лбу скатывались капли пота. Он не отвечал.

- Молчите? А я вот верю, хочу верить, что не присоединились бы вы к силам зла. Не могло бы такого быть. Иначе все оказалось бы напрасным. Книги ваши, бунт Ивана, вера в Бога.

Гость посмотрел Годину прямо в глаза. Взгляд его был тяжел и тосклив.

- Я тоже бы хотел в это верить. Не могу представить себя в роли палача. Но вы же мне все-таки не простили. И не простите, несмотря на эти мои слова.

Годин вспомнил, как тридцать с лишним лет назад он читал «Еврейский вопрос», читал и не верил, что такое мог написать его Достоевский. Читал и испытывал совершенно реальную, грызущую боль.

- Не в прощении дело, Ф. М. Кто я такой, чтобы вам прощать или не прощать? Просто после чтения вашей статьи я уже не мог вернуться к тому, что было. Как Адам, вкусивший от древа познания. Наивно-восторженное, почти

молитвенное отношение кануло, ушло в прошлое. Я по-прежнему любил ваши книги, по-прежнему читал их запоем, по-прежнему писал о них, но это уже была «поверка алгеброй гармонии». Хотя я и не раз вдохновлялся, исследуя ваши тексты, но то легкое «дуновение вдохновения», которое воспел поэт, куда-то исчезло. Всегда мне мешало что-то.

Но знаете, что удивительно? В этом вашем «Еврейском вопросе» сказано, что евреям грешно забывать своего сорокавекового Бога и отступаться от Него. И я, читая эти слова, подумал, что в них есть определенная правда. Я уже давно чувствовал, что, отказываясь от традиций своего народа, я поступаю не совсем хорошо, что надо все-таки с ними познакомиться. Еще в армии я принял решение учить еврейский язык, а теперь, после вашей статьи, как ни парадоксально, получил новый толчок. Вот и получается, что в известном смысле вы подтолкнули меня к еврейской религии, оттолкнув от себя.

Гость покачал головой:

- Я вас никуда не подталкивал. Не заблуждайтесь на мой счет. Ведь сколько евреев прочли мой «Еврейский вопрос» и продолжали после этого заниматься русской литературой и моими сочинениями, в частности. Нет, это, наверное, естественный ход развития вашей натуры. Но меня вот что занимает: в какой мере это, так сказать, новое, этот сорокавековой Бог еврейского народа вытеснил из вашей души прежнее, русское, «достоевское»?

Годин задумался.

- Видите ли, Ф. М., это не так-то легко объяснить. В том году у меня было отчетливое ощущение, что Россия выталкивает меня и таких, как я, что мы там не нужны. Это была одна из причин моего отъезда. Приехав сюда, в Израиль, я поступил в университет на отделение славистики. Некоторые курсы были на русском, а некоторые на иврите. Как раз курс о Достоевском был на иврите. Лектор спросил каждого из нас, кто что читал из ваших книг. Когда он услышал, что я прочел все романы и некоторые рассказы, сказал: «Ну вот, теперь прочтете все остальное». И я читал. Читал и писал. Но все время меня не покидало такое чувство, что все это не совсем естественно, не от души, своего рода эстетство. И ваш насмешливый взгляд откуда-то сверху мне чудился: мол, что ты плетешь, что выдумываешь, нет этого в моих книгах.

Гость и в самом деле глядел насмешливо.

- Вы несколько уклоняетесь от ответа на мой вопрос…

- Погодите, не торопите, Ф. М., на все отвечу. Чувствовал я, что вдали от России писать о русском хоть и возможно, но это уже не столько духовный поиск, сколько работа со скальпелем. Я искал то, что захватит мою душу, снова приведет к Богу. Искал долго, лет десять. Разное пробовал. А пришел в результате к изучению Библии в оригинале. Выучил древние языки и занялся филологией на другом материале. Но прошлое никогда не забывал, оно продолжало жить во мне.

- И что же: жили на два мира, как на два дома?

- Напрасно вы так, Ф. М. Вы же столько про страдание писали, про то, что принять его надо. Вот я и принял, по-своему. В одну сторону тянуло прошлое, язык родной, вы и ваш мир; в другую – еврейское самосознание, пробуждающаяся еврейская душа, вера еврейская. Чувствовал себя расколотым, да и до сих пор чувствую. Отчасти, по крайней мере…

- А есть ли между двумя этими мирами связь какая-нибудь, или они у вас независимо друг от друга существуют? Эдак ведь недолго и с ума сойти, если все время раздваиваться.

- Связь? Да ведь если эти два мира одновременно во мне живут, стало быть, есть между ними связь. Если угодно, вы и есть залог этой связи. Вы же меня к вере привели, первые-то молитвы из ваших книг почерпнуты, так что, как бы я ни менялся, сквозь образ еврейского Бога, высвечивает тот начальный Лик, к которому я в армии обращался. Через вас возникло во мне желание прикоснуться к библейскому тексту, понять его, прочувствовать. Получается, что тот огонь, который зажегся в школьные годы после прочтения «Преступления и наказания», продолжает гореть, пусть внешне он и изменился. Я очень рад, что наконец-то смог вам это сказать.

Гость поднялся со стула и надел шляпу.

- Ну что ж, в приятной беседе время провели, но пора мне и восвояси возвращаться. Что же до ваших слов, они меня, конечно, тронули, хотя, думаю, что вы мою роль несколько преувеличили, задним числом многое вообразили. Может, я и подвел вас к чему-то, что вы искали, но путь вы себе сами избрали, а правильно, нет ли – время покажет.

Годин метнулся к гостю.

- Подождите, не уходите, Ф. М. Я ведь главного-то не сказал. Мне же дочери ответить надо. Я ей ваше «Преступление и наказание» читаю.

- Дочери? Мой роман? Лестно звучит. И что же спросила она?

- Почему из всех русских писателей именно вас я так люблю? Что именно в вас мне так близко?

- И что же: теперь сможете объяснить?

Гость смотрел Годину прямо в глаза, прожигая своим взглядом. На этот раз ни тени насмешки не было в его лице.

Годин помялся.

- А можно ли объяснить любовь? Особенно юношескую. Живешь-живешь, и вдруг – как взрыв. Открываются в душе какие-то шлюзы, голос, доселе молчавший, начинает говорить, и ты весь меняешься, становишься другим человеком, начинаешь понимать и чувствовать вещи, которые до сих пор были от тебя скрыты. Как будто кто-то зовет тебя, ведет за собой. Как в Песни Песней написано: «Влеки меня, мы побежим за тобою – царь ввел меня в чертоги свои…» И даже потом, спустя годы, чувство это остается в памяти, а с ним и благодарность за дарованную радость – радость любви, творчества, веры. Согласитесь, это немало…

Гость не ответил. Годин поднял глаза. Гостя не было, он ушел, исчез, растворился в воздухе, пока Годин говорил. Совсем как герой Песни Песней, которому героиня отперла дверь, а он пропал и уже не отозвался…

В дверь снова постучали.

- Да, да,- слабым голосом сказал Годин. – Кто там?

Дверь открылась и вошла дочка.

- Папа, я тебя разбудила, извини, пожалуйста.

Он сел на кровати.

- Да я, вроде, и не спал. Как странно…

- Что странно? – большие глаза дочери смотрели внимательно.

- Да тут у меня в гостях был… - он помялся, - один человек.

- Да что ты, папа, как же он к тебе вошел? Никто в дом не заходил, я бы услышала.

- А ты разве с подружками не уходила?

- Да нет, мы все время в салоне сидели и болтали. А теперь они ушли, так что, если хочешь, мы можем продолжить читать.

Он протер глаза и тряхнул головой.
- Да, конечно, Звездочка. И все-таки очень странно…
- Да кто у тебя, по-твоему, был? В окно он, что ли, пролез?
- Да нет, не в окно, а обыкновенно, в дверь вошел. А кто это был? Как тебе сказать? Мне показалось, что это был… - он проглотил слюну, - он…
- Кто он? – глаза дочери округлились.
- Кто? Да он – Достоевский…
Изумленные глаза дочери, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит.
- Кто-кто? Ты здоров, папа? Он ведь… давно умер…
В голове пронеслось знакомое: «Протестую! Достоевский бессмертен!»
- Может, я и впрямь задремал. Просто это было так живо, как на самом деле… Но знаешь, я думаю, что теперь смогу ответить на твой вопрос. Мы побеседовали с ним, и мне как-то все прояснилось.
Дочь смотрела с нескрываемой тревогой.
- Вы побеседовали? Папа, давай я тебе стакан воды налью.
И дочь метнулась к столу. Годин бросил взгляд на стоявший стакан.
- Подожди, Звездочка. Видишь, стакан отдельно стоит? Это не я, это он пил, честное слово!
Глаза дочери наполнились слезами:
- Папа, да что с тобой?! Ты бредишь? Не ты, а он… Опомнись, тебе, наверное, приснилось.
Он потер себе виски. Голова немного гудела. Как же это возможно? Все было так явственно, неподдельно.
- Извини меня, Звездочка. Может быть, ты права, и мне он приснился. Так вот: твой вопрос…
- Какой вопрос, папа? Я не помню.
Его охватило неприятное чувство иллюзорности всего происходящего.
- Неужели и это приснилось? Мы читали с тобой роман?
- Читали, конечно, - поспешила подтвердить дочь, видя его растерянность.
Он глубоко вздохнул.
- Хоть это. И ты спросила меня, почему из всех русских писателей я больше всего люблю Достоевского? Спросила?
- Спросила, - смущенно сказала дочь. – Только почему ты так волнуешься? Разве это так важно?

- Для меня важно. Потому-то он и приходил. Ну, извини, извини, пусть во сне приходил – это как раз неважно. Так вот… Попросту говоря, без него ничего бы не было.

- Чего бы не было? – в ее голосе снова зазвучала тревога.

- Всего. Я бы не стал тем, кто я есть. Не стал бы верующим человеком. Не выдержал бы в советской армии, и, вероятно, случилось бы там со мной что-то нехорошее. Наверное, не приехал бы в Израиль, а оказался в Америке. Не встретил бы маму. А значит, и вы все бы у нас не родились. Представляешь, Звездочка, тебя бы не было…

- Ты шутишь, папа? При чем тут он? Ты меня просто разыгрываешь.

- Я не шучу. Он… Как бы тебе сказать, он был для меня вроде проводника. Он меня вел по жизни, не давал сбиться с пути, поддерживал в трудные минуты, с ним сверял я свои решения. Иногда, правда, он причинял мне сильную боль. Но все равно я ему благодарен.

- А я все равно не понимаю. Это же только писатель, а ты его превращаешь… - дочь подумала секунду, - в своего рава.

Годин улыбнулся. Перед глазами встал образ гостя в харедимной одежде. Дочка перенесла его слова в мир знакомых ей понятий.

- Ты знаешь, пожалуй, в твоих словах есть правда. Для меня он и в самом деле не только писатель, а гораздо больше. Он связывал меня с Богом. А почему именно он? Я и сам толком не знаю. Но я всегда чувствовал, что не просто читаю его книги, а погружаюсь в его мир и становлюсь частью этого мира. Живу в нем. Как бывает во сне.

- Поэтому он тебе и приснился?

- Если приснился. Ты вот мне не веришь, а смотри,- он с торжеством посмотрел на нее, - здесь, на стуле, где он только что сидел, тетрадка осталась. Он ее забыл.

На стуле лежала та самая зеленая тетрадка, из которой гость прочел отрывок из годинского школьного сочинения. Дочь взяла тетрадку и с недоумением повертела ее в руках.

- Тут написано: тетрадь для творческих работ по литературе ученика девятого класса Година Александра. Это что, твоя школьная тетрадь? Неужели ты ее сохранил и привез в Израиль?

Годин выхватил тетрадь у нее из рук. Это действительно была его школьная тетрадь с сочинениями. Он вспомнил, что собирался вытащить ее, чтобы показать дочери. Но

гость доставал из тетрадки листочек с отрывком из его работы об Иване. Он перелистал тетрадку. Листочка не было.

- Значит, не он… Не может быть! Я же точно помню: он принес тетрадь с собой.

Губы у дочери дрогнули – вот-вот заплачет.

- Папа, успокойся, перестань. Может, я сбегаю в парк и позову маму?

Он перевел дыхание.

- Нет, Звездочка, не надо, уже все в порядке. Я спокоен. Прости меня, пожалуйста. Просто нервы немного взвинчены. Неделя была слишком тяжелая. Мы вот дочитаем роман, и я прочту тебе свое школьное сочинение. Тогда ты все поймешь.

- У тебя сохранилось школьное сочинение? – изумилась дочь.

- Да, представь себе. В этой самой тетради. Оно мне дорого, это сочинение, потому я его и не выбросил. Знаешь, один из героев Достоевского (в другом романе) говорит: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства». Вот это и есть мое воспоминание.

- Ты что, все его романы наизусть помнишь? – снова изумилась дочь.

- Нет, конечно, - он улыбнулся, - но какие-то главные для меня вещи помню. Ладно, садись.

Она села рядом с ним и опять прижалась к нему, смотря на него своими большими внимательными глазами. Годин открыл роман и, на всякий случай, снова взглянул на стул. На мгновение показалось, что гость сидит там и смотрит своим пронзительным взглядом. Годин сморгнул. Гость исчез, осталась лежать лишь брошенная тетрадка. Годин вздохнул и продолжил читать:

«Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах…»

Александр Альтшулер

Записки детского психиатра

(Фрагменты книги «Чувства ребёнка – это не балалайка!»)

После окончания педиатрического факультета медицинского института я двинулся дальше в выборе узкой специализации в пределах классической медицины. Выбранную мной область медицины заузили давно; примерно полтора века тому назад она уже оформилась как специальность. А есть области, которых не было в те времена, когда я учился в мединституте. Пластическая медицина, например, тогда не существовала. А сейчас внутри её заузились специалисты по пискам, специалисты по сиськам, или те, которые исправляют горбинку носа. Я же преобразовался в детского психиатра и психотерапевта, и занимаюсь детской душой. Представляете, узкий специалист по детской душе. То есть детская душа в узком смысле. У меня такая формулировка в голове не укладывается. Детская душа - она как открытая книга: нет начала и нет конца. Дети с душевными проблемами, - звучит невесело.

Почти 15 лет проработав в Стране Советов, я уже в течение почти двадцати пяти лет работаю детским психиатром в Израиле. Все эти годы я совмещал свою работу в государственной поликлинике с работой в больничных кассах, и до последнего времени консультировал в специальном интернате для проблемных подростков.

В интернате я должен был ознакомиться с каждым подростком. Узнав, что я психиатр, эти подростки мне устраивали проверку на прочность, заявляя, что слышат голоса или общаются с потусторонними созданиями. Психи они или не психи, но моя специальность им казалась угрожающей и вычурной. Многие из подростков были направлены в интернат принудительно. До поступления в интернат они зачастую уже пострадали от пагубного, с их точки зрения, воздействия различных авторитетов: школы, социальных служб и общественных организаций. А тут ещё предлагают встретиться с психиатром. Вроде как

полицейский в медицине, лезет им в душу без спроса. А сам-то, посмотрите, ненормальный. Он же психиатр. Однако иногда, оказывая мне особое доверие, они заявляли, что «все психиатры - психи», а я, как ни странно, выгляжу вполне нормальным. Меня такой ответ должен был радовать, но я всё же добавлял вслух: "Ощущение победы надо мной вам очень важно. Поэтому, когда вы выйдете из моего кабинета, справедливо будет сказать, что я сумасшедший и не запудрю вам мозги". Такая вот прозаическая у меня специальность. Не случайно вокруг неё столько анекдотов.

Я вынужден поделиться некоторыми из них. Здоровая самокритика - двигатель прогресса.

Мужчина приходит к врачу-психиатру и заявляет, что он Наполеон. Психиатр во всём с ним соглашается, и довольный пациент покидает кабинет. Психиатр при этом полушепотом заявляет: «Вот псих, он думает, что это он Наполеон. А ведь на самом деле Наполеон - это Я».

В другой ситуации беседуют два психиатра. Один рассказывает другому, что его новый пациент сообщил ему, что чувствует себя курицей. Второй психиатр спрашивает: «Ты, конечно, предложил ему госпитализацию?» «Нет, - отвечает первый психиатр, - я очень нуждаюсь в яйцах».

А вот ещё. «Один психиатр рассказывает другому: "У меня такой пациент интересный. Он считает себя автомобилем". "Ну, как ты его лечишь?" "Нет. Я его никак не лечу. Я на нём домой езжу"».

В следующей истории один психиатр делится с коллегой интересным случаем: «"У меня есть пациент с раздвоением личности". "Ну и что в этом интересного?" "Дело в том, что мне удалось уговорить каждую личность платить мне деньги за лечение"».

Психотерапия занимает особое место в укреплении душевного здоровья детей и подростков. Я уважаю своих маленьких и взрослеющих пациентов, а также их родителей. Родитель, чувствующий бессилие при воспитании ребёнка, вряд ли способен быть счастливым. Прямо или косвенно он передаёт свою неудовлетворённость ребёнку.

Успешность моей помощи, несомненно, и мне приносит удовлетворение. Более сорока лет я расширяю свои знания и методы лечения. Настало время поделиться накопившимся опытом. С годами у большинства специалистов происходит эмоциональное истирание, и

работа может превратиться в скучную рутину. Угасает желание творить и удивляться богатству внутреннего мира каждого нового пациента. То, что помогает мне как специалисту не терять интерес к работе и не стираться эмоционально - использование в лечении юмора.

При правильном применении юмор служит мощным средством в преодолении проблем, вызвавших душевный дисбаланс. Я не артист юмористического жанра, поэтому предлагаемые истории моих пациентов подчас могут быть очень грустными. Но даже в самых печальных случаях юмор, используемый в подходящей форме, может помочь пациенту преодолеть его невыносимые обстоятельства. Юмор поглощает болезненную реальность. Словно оказывает наркотическое действие. На первой встрече юмор может растопить лёд отчуждённости, позволяет пациенту себя чувствовать нужным и замеченным. В смехе рождается интимность общения, совместное чувствование происходящего. Юмор, исходящий из сердца психотерапевта, обладает необычайной лечебной силой, уменьшает значимость болезненных переживаний. Юмор позволяет пациенту воспринимать психотерапевта как равного, а не как профессора, смотрящего снисходительно с высоты башни высокомерия. Внутри каждого из нас находится здоровый ребёнок, которого мы освобождаем во время отпуска или в моменты расслабления и удовольствия. Один из основных источников освобождения ребёнка внутри нас - это смех.

Не все понимают юмор. Я, как специалист, должен разобраться, кому это подходит. Специалисты склонны тоже ошибаться, но опыт, накопленный годами, помогает.

Кто украл воздух?

Я приведу пример, где приходилось лавировать на грани. Подросток лет 14 панически боится летать на самолётах. Его родители развелись, и мать с сыном перебралась в Израиль. Отец же остался в стране исхода. Подросток с трудом ладил с мамой и обвинял её, в том, что отделила его от отца. Отец там, в другой стране. Хотя бы во время летних каникул с ним встретиться. Мать была не против, но страх летать казался непреодолимой преградой. До летних каникул осталось всего два месяца. Кто поможет справиться с этим проклятым страхом? В надежде

подросток появился у психиатра. Может, таблетки какие даст? Но началась странная беседа. Подросток объясняет, что чего-то боится и стесняется это объяснить. Я тут же вступил в роль: "Бояться можно и нужно. Я не знаю ни одного человека, который ничего не боится. Страх нас защищает. Расскажи, от чего страх защищает тебя". "Страх меня не защищает, - выпалил подросток. - Он не даёт мне встретиться с папой. Я боюсь лететь на самолёте" "Вот эта страшная огромная железка с крыльями не даёт тебе встретиться с отцом? Чем же это бездушное чудовище тебя напугало? Своим неудержимым рокотом или тем, что оно пожирает людей? Зашёл внутрь - и оно тебя проглотило. Дверь захлопнулась, и чудовище с тобой полетело в тартарары".

Подросток несколько опешил от такого нападения психиатра, но не растерялся. Он привык дома спорить с матерью и даже унижать её. А тут-то за что? Какое право доктор имеет говорить такую чушь? Подросток тут же кинулся защищаться и возвращать ненормального доктора к реальности: "Я страдаю астмой. Последнее время приступы редкие, но всё же, когда захожу в самолёт, мне кажется, что мне не будет, чем дышать. В самолёте много пассажиров, и когда дверь закрывается, мне кажется, что не хватит воздуха. Кроме того, на высоте меньше кислорода. Альпинисты, поднимаясь на высокие вершины, берут с собой кислород". Подросток думал, что я кинусь защищаться, убеждать его, что в самолёте всегда достаточно кислорода, что под креслами находятся дополнительные баллоны с кислородом. Что, кроме того, пассажиры в самолёте отдыхают по сравнению с альпинистами, поднимающимися на Джомолунгму, преодолевающими тяжесть своего тела и сопротивление ураганных ветров. Но подросток не угадал. Я ударил с тыла: "Ты абсолютно прав. Когда задраивают двери самолёта, там создаётся абсолютный вакуум. И все пассажиры начинают дышать твоим воздухом. Они просто у тебя его крадут. В детстве я читал книгу "Продавец воздуха". Там злодеи высосали весь воздух на земле, а затем начали продавать людям шарики с кислородом. Вот такие злодеи залезли в твой самолёт и поглощают твой воздух". Подросток с возмущением парировал: "Вы что, смеётесь надо мной?" "Вовсе нет. Это страх смеётся над тобой. Он заставляет тебя думать, что все пассажиры против тебя и хотят тебя уничтожить, ведь ты крадёшь их

кислород. Страх гонит тебя дальше. Вот случайно самолёт пробьёт атмосферу и вырвется в космос. А там кислорода нет совсем. Там ты можешь рассчитывать только на инопланетян. У тебя случайно нет знакомого инопланетянина? Он может прокатить тебя на самолёте и без воздуха. Или превратит в бесчувственную деревяшку, и кислорода тратить не надо. Лети себе чурбаном. Зато остальные пассажиры надышатся. Что, у тебя нет знакомого инопланетянина? Значит, баста. Лучше тебе не лететь к отцу. Ты, наверное, его никогда не увидишь. Я советую тебе взять баллон с кислородом, сесть возле больницы и ждать, пока страх не нападёт на тебя. Ты поклонись ему и признайся, что он прав, и тебе не надо встречаться с отцом". Подросток продолжал злиться, яростно спорить, и постепенно вовлёкся в нестандартную беседу. Он со мной сцепился, как с мамой дома.

Протест нередко отражает неуверенность подростка. Он же должен мне доказать, что я не прав. Это именно то, что мне надо. Я его в этом поддержу, а заодно он и страх победит.

До полёта к отцу мы встречались несколько раз, и каждый раз я усиливал свои нападки на страх, и делал это всё в более абсурдной форме и с постоянной фокусировкой на страхе: "Ты что же, уважаешь только себя? А как же все остальные пассажиры самолёта? Они что, не люди? У них дома остались дети. Ты посмотри вокруг. И в самолёте есть дети. А ты говоришь только о себе да о себе. Эгоист. Лишь бы самому спастись. Кислорода, понимаешь, ему мало. Ты готов и их баллоны с кислородом забрать". Подросток рефлекторно ответил, что баллоны выскакивают только тогда, когда самолёт начинает падать. Я вновь напал: "Там не баллоны, а спасательные пояса. И хватит об этом говорить. Ты уже реши для себя, чего ты боишься - упасть или задохнуться. Свободное падение — это хорошо и прекрасно, но вот когда дышать нечем - это выглядит интереснее. Словно рыбу вытащили из воды. Она рот открывает, глотает воздух, а дышать нечем. Ну, представил? Попробуй потренироваться, как это будет выглядеть, когда пассажиры украдут твой кислород". Подросток постепенно начал тоже использовать абсурдные фантазии против меня. Вроде того, если буду его сильно доставать, он и мне перекроет кислород. "Вот смешно: психиатр, как рыба, что-то хочет сказать, открывает рот, а слов нет".

В результате шести-семи встреч со взаимными перепалками подросток заверил меня, что он преодолеет страх и встретится с отцом. Так и произошло. В конечном результате, полёт к отцу завершился успехом. Подросток с доказательствами победы вернулся ко мне.

Мы неоднократно встречались и после полёта. У юноши, кроме страха летать, было немало других навязчивых идей и страхов. В данном случае хорошо срабатывала эскалация в форме несколько вычурного и циничного юмора. Страхи постепенно преодолевались. С новой позиции его проблемы выглядели менее значимыми и менее пугающими. Также несколько уладились конфликты с матерью, с помощью которых подросток продолжал самоутверждаться.

Гадкие насекомые

Мне неоднократно приходилось использовать метод эскалации, и кажется, я в этом преуспел. Недавно ко мне пришла девочка лет 12 с мамой. Родители в разводе. Мама выглядит серьёзной женщиной. Она работает администратором в какой-то немаленькой фирме. Её дочка выглядит инфантильной, и её поведение не соответствует возрасту. В 12 лет многие девочки выглядят уже подростками, сформировавшимися физически и по-женски привлекательными. Передо мной же предстала физически хорошо развитая девочка-подросток, но с поведением, подходящим для 8-9 летнего ребёнка. Её детская жеманность и зависимость от матери бросались в глаза.

Девочка театрально отказалась рассказать мне о её проблемах и с детской гримасой на лице предложила это сделать матери. "Вот видите, доктор, - с досадой бросает мать, - так всегда. Очень несамостоятельная. В душ отказывается сама заходить. А в течение дня много раз моет руки, постоянно торчит у зеркала и расчёсывает волосы". Я с улыбкой обратился к девочке и, участливо заметил: "У тебя прекрасные пышные волосы. Не случайно ты их постоянно рассматриваешь и расчёсываешь". Мои слова не ободрили девочку, а наоборот - вызвали у неё реакцию детской истерики. Её реакция была настолько очевидной, что сразу стало понятно: её проблема связана с волосами. Но, несмотря на это, девочка насупилась и отказалась рассказывать о том, что ей так мешает.

Очевидно, «секрет» был настолько важным, что её язык зудел от желания раскрыть его. Но девочка всё же воздерживалась от разговора о её проблеме. Оказывается, ей было стыдно об этом говорить. Кроме того, она заявила, что у неё есть женщина-психолог, а меня она знает недостаточно, чтобы рассказать о важном секрете. Но и с психологом почему-то о своём секрете девочка не говорила.

Я, естественно, поинтересовался: зачем она ходит к психологу?

С психологом, по словам девочки, она беседует о различных событиях, происходящих между встречами. Мать явно знала о тайне дочери и причине её реакции, но без согласия ребёнка не решалась об этом рассказать. После недлительных переговоров девочка с детским кокетством всё же решилась раскрыть свою ужасную тайну и рассказать о своём страхе. В моём представлении, благодаря такому поведению девочка, вероятно, получала недостающее внимание от эмоционально холодной мамы. В данный момент это было не столь важно, главное - дать ей высказаться.

Всё в той же манере с детской гримасой на лице девочка сообщила: "Я боюсь, что у меня в волосах есть насекомые. Я не могу их назвать". Девочка скорчила ещё более жалостную гримасу. Мать, словно получив согласие, не выдержала и объяснила, что год назад в школе был урок по гигиене у девочек, и там рассказали, как следить за волосами, чтобы в них не завелись вши. На мамины слова девочка отреагировала громкими рыданиями: "Зачем ты их назвала? Я же их боюсь".

Как мне реагировать на подобную истерику? Может, посострадать, вроде того: "Я тебя понимаю. Это ужасно. Действительно, не надо упоминать их". Но, по моему опыту, это обычно только усиливает истерику, а её необходимо было как-то нейтрализовать. Профессиональная интуиция помогает в таких случаях. Я, естественно, включил эту самую интуицию в поиске выхода из сложившейся ситуации: "Ты выглядишь, как царевна Несмеяна, да ещё и Слёзыяна. У тебя, конечно, замечательные слёзки, но твои рыдания не позволяют понять, по какой причине эти мелкие безобразные насекомые вызывают страх у такой большой девочки?" Девочка продолжила с рыданиями: "Их нельзя называть. Вдруг кто-нибудь услышит их имя, и я опозорюсь". "Но ты же этих маленьких чудовищ каждый

день ищешь в волосах? Ну, хоть раз что-нибудь нашла?" "Не дай Бог!» - закричала девочка. "Но ты так старательно ищешь, как будто хочешь их найти. А вдруг найдёшь, тогда к ним нужно обратиться по имени и сказать «вши, пошли вон». Кроме того, напугай их, что принесёшь специальный спрей, шампунь или лосьон, которые их уничтожат". Девочка посмотрела с удивлением, и одновременно гримаса отвращения пробежала по её лицу. Мамаша также с растерянностью и удивлением посмотрела на доктора. "Вы что, надо мной смеётесь?" - выпалила девочка, состроив гримасу обиды. "Это я-то смеюсь над тобой? Это они, противные вошки, - я умышленно снова их назвал. - Они такие маленькие, что их трудно разглядеть. Но они смогли тебя запугать. Уже целый год эти невидимые твари властвуют над тобой, заставляют прочёсывать волосы. Как будто ты ищешь мины, ими оставленные. А ты знаешь, где их надо искать? Я всё же доктор и знаю, где их искать. Может, будем искать вместе? А если найдём, то вместе с ними расправимся". Девочка с возмущением ответила: "Но у меня их нет". Я среагировал с деланным удивлением: "Ты меня совсем запутала. Знаешь, что у тебя их нет, но усердно ищешь. А сама даже не знаешь, где их искать. Что же ты себе навоображала? Слово «вши» даже сказать нельзя, а то они появятся и тебя опозорят перед сверстниками. Они что, умеют говорить? Оказывается, на самом деле их нет. А может, они всё-таки были?" Девочка с отрицанием и возмущением замахала руками. "А я тебе скажу, что знаю многих детей, у которых вши заводились. Это были обычные дети, которые следили за личной гигиеной. Они не были виноваты, что у них завелись вошки. Эти маленькие твари могут прыгать с волос одного человека к другому. Почти с каждым ребёнком это случается в школе. С современными средствами, которые прописывал им детский доктор, раз-два и баста. Исчезли навсегда. А ты их боишься. С большим почётом относишься к ним, не называешь их примитивное вшивое имя. Они что, божественные создания, имя которых произносить нельзя? Я уже десять раз при тебе назвал вшей вшами - и ничего не произошло. Ты даже плакать перестала и от меня не сбежала. Может, они от тебя уже перепрыгнули ко мне?" Я театрально начал искать их в своих волосах. "Но ты видишь, я их не боюсь. В тебе, я уверен, сил намного больше, чем в этих ничтожных созданиях. За короткое время нашей встречи ты смогла им

противостоять и от меня не сбежала. Да, вши противные и вызывают отвращение, но на нашей встрече ты смогла это преодолеть. Я советую перестать им поклоняться, и рассказать о них своей женщине-психологу. И не забудь ей рассказать, о чём мы с тобой говорили сегодня. Преодолев страх сегодня, ты окончательно с ним расправишься с помощью твоего психолога".

К концу встречи девочка относительно успокоилась; и чувствовалось её частичное принятие авторитета врача. Произошло изменение её взгляда на страх, снизилась его пугающая значимость.

Встреча была консультативно-диагностической, и передо мной не ставилась задача начать с ней психотерапию. У девочки уже была психолог, которая недавно начала с ней встречаться. У психолога имеется возможность со мной пообщаться и использовать моё мнение в процессе психотерапии. В результате данной встречи у меня возникло много вопросов и предположений, которые бы я несомненно проверил, если бы проводил психотерапию. Девочка инфантильная и зависимая. Из-за своей детскости ей непросто на равных общаться со сверстниками, поэтому она нуждается в эмоциональной компенсации. Самым близким источником для этого является её мать. Девочка от неё зависима и нуждается в её эмоциональной поддержке. Однако мать эмоционально холодная женщина и, вероятно, не выполняет требования души своего ребёнка. Вот девочка и зацепилась за такой вычурный «вшивый» страх. Страх, который в негативной и необычной форме привлекает внимание матери. Теперь страх девочки - их общий секрет, создающий своеобразную интимность межу ними. Поэтому она не делилась им с психологом и не хотела его раскрывать на нашей встрече.

У девочки имеется неосознанная эмоциональная потребность в этом страхе. Но он начал мать раздражать и уже недостаточно выполняет свою функцию привлечения внимания. В результате страх обрастает дополнительными страхами, чтобы усилить эмоциональную связь с матерью. Естественно, за одну встречу такой страх удалить нельзя.

В лечении требуется несколько направлений. Консультирование матери необходимо для прояснения её влияния на формирование страхов и оздоровления отношений с дочерью. Оздоровление на уровне эмоционального принятия и освобождения от авторитарной зависимости. Девочка также нуждается в индивидуальной

психотерапии, где тёплое участие психотерапевта непременно укрепит психику ребёнка и позволит постепенно приобрести уверенность в себе; и ей будет легче общаться со сверстниками. При успешном лечении, естественно, отпадёт необходимость в страхах. Метод, который я использовал на нашей встрече, был больше диагностическим и подчас провокационным. В процессе психотерапии девочка, несомненно, нуждается в эмпатии со стороны психотерапевта.

Многие родители не предполагают, что, среди прочих причин, и они сами также могут быть источником страхов ребёнка. Но родители могут стать и главными помощниками в исцелении ребёнка от страхов. За всю мою врачебную карьеру через меня прошло огромное количество детей со страхами. Многие встречи были однократными, а многие - с продолжением. Какие-то из детей не нуждались в психологической помощи, но большинству из них психологическая помощь совсем бы не помешала.

Не только врач или психолог могут решить проблему помощи ребёнку. Система психологической помощи в большинстве стран несовершенна. Лечение надо бы начинать сегодня, а ребёнок год должен ждать, когда придёт его очередь. Система - она бесчувственна, и ею чаше всего управляют люди, которые не знают проблемы изнутри. Финансы определяют количество специалистов для оказания психологической помощи детям и взрослым. Специалистов не хватает. Психология не считается приоритетной областью для финансовых вложений. Богатым – особые условия, а остальным по остаточному принципу... Бронза с бриллиантами соревноваться не может, но жить-то всё равно надо. Я с системой не борюсь, а стараюсь помочь тем, кому смогу помочь.

Родители иногда приходят ко мне на приём с жёстким видением проблемы. Они пытаются навязать врачу или психологу путь её преодоления. Такие встречи нередко исчерпываются лишь однократным посещением. Но именно дети таких родителей, как правило, очень нуждаются в психологической помощи. Я стараюсь убедить родителей, что важно их совместное участие в лечении ребёнка.

На первую встречу чаще приходят мамаши. Так и в этот раз: девочка лет десяти пришла с мамой. Мама милая и участливая на вид. Мамаша тут же выкладывает: "Мы так долго ждали к вам очереди. У нас такой странный случай.

Моя дочка боится акулы". "Ну, и что тут странного? - парировал я. - Все боятся акул. Создано немало фильмов-страшилок про этих хищных рыб". “Нет, доктор, - продолжила мамаша, - она боится мыться в ванной. Ей кажется, что из дырки слива может выскочить акула". Я шучу: "Резиновая, конечно. Сожмётся и протиснется в маленькую дырочку". "Доктор, вы смеётесь, а я говорю правду".

Пока мамаша говорит правду, девочка молчит, и вся напряглась. Несмотря на это, я продолжаю острить: "А что, и её огромные челюсти пролезут в эту маленькую дырочку?” Девочку словно парализовало. Она потупила взгляд и уставилась в пол. Я тут же среагировал: "Милая, ты снова напугана? Вон, смотри. Акула выскакивает из моего стола". Я вытащил из набора игрушек золотую рыбку, маленькую и симпатичную. По случаю нашлась, а если бы не нашлась, пришлось бы использовать швабру, ведь она действительно похожа на акулу. Я угрожающе беру эту маленькую рыбку и женским голосом заявляю: "Ты не смотри, что я такая маленькая. Я себя под дырочку в ванной подогнала. А сейчас я превращусь в акулищу и начну тебя кушать. Ты ведь такая хорошенькая и сладенькая". Вместо страха девочка начала смеяться. Прелюдия к знакомству прошла удачно. Настоящая акула нейтрализована. А отражением кого она является?

В кресле в шоке сидит мамаша и не понимает, что происходит. А вы как думаете? Может, и вы шокированы? По-моему, детскому психиатру или психологу можно быть немножко сумасшедшим. Главное - найти подход к детям, чтобы они меня понимали. Я себя с другими не обобщаю. Каждый выбирает подходы в соответствии с его характером и темпераментом. Я могу быть серьёзным, но юмор - моя неотъемлемая часть.

По-моему, юмор - как прививка для ослабленного организма. Юмор взрослый и юмор детский. Они сильно различаются. Часто взрослые используют не к месту метафоры и абстрактные выражения, которые понимаются ребёнком конкретно. Восторженная бабуля заявляет своему трёхлетнему внуку: "У тебя светлая голова". Внучок бежит к зеркалу, чтобы это проверить. А вдруг голова светится, как лампочка? В другом примере родители восторгаются своим десятилетним "гением" и заявляют, что у него светлая голова. Родители не всегда чувствуют, что их восторженность может развивать в ребёнке чувство

превосходства и высокомерия. Это можно им дать понять посредством юмора: "Родители говорят, что у тебя голова светлая. Мне кажется, у тебя голова даже светится, а также светятся уши, зубы и дырочки в носу. У нас тут иногда выключают свет. Ты не согласишься осветить здесь комнату?" Так абстрактное я превращаю в конкретное и смешное. Данный умненький мальчишка среагировал смехом. Он ладил со сверстниками и не пытался над ними возвышаться. Но и родителям смысл их заявления и реакция их ребёнка стала понятной.

Я говорю об использовании юмора для лечения детских страхов. А когда ребёнок вырастает, то страхи становятся взрослыми. Так и юмор. Для детей подходит детский, для подростков - подростковый, для взрослых - взрослый. Ну, а если чувство юмора нарушено, как например, у аутистов? У таких детей полно страхов. Но их страхи не воображаемые, а другие; и использование юмора для лечения таких страхов вряд ли подходит.

Аутизм - крайняя степень нарушения адаптации

В случаях аутизма проблемы гибкости, пластичности и приспособляемости личности крайне отдалены от нормы. Может, вы слышали: их называют "люди дождя". Данная категория пациентов не подходит для использования юмора при их лечении. Но именно поэтому отвлечение к этой теме поможет мне выявить контраст: в каких случаях юмор можно использовать для лечения различных эмоциональных нарушений, а в каких нет.

Сегодня много говорят об аутистах. в том числе, о детях. Проблема у них не связана с неправильным воспитанием и холодной душевно матерью, как считали раньше. У таких людей присутствует несколько врождённых нарушений: они как будто изолированы от внешнего мира, сами в себе и не нуждаются в человеческом общении. Со второго месяца от рождения обычный младенец ищет материнского взгляда и нуждается в нём, как в важнейшем источнике межличностного общения. Аутисты же не фиксируют взгляд на лице матери в грудничковом возрасте, или на другом человеке в дальнейшей жизни. Они демонически замкнуты в себе; психика лишена гибкости, они ограничены (в разной степени) в приобретении правил. Правила автоматизируются очень медленно, в малом количестве, и

остаются внутри их психической конструкции и вне необходимости контакта с внешним миром. У таких людей нарушена способность идентифицироваться (сопоставлять себя с другим), а также ощущать себя как самостоятельную личность. Незначительные приобретённые ими правила используются только в жёстких рамках стереотипного поведения и без учета происходящего в окружающей их реальности. Некоторые ритуалы их поведения вычурные, странные, и повторяются по какому-то необычному сценарию.

Некоторые люди называют их роботами. Они действительно подчас напоминают роботов. В тяжёлых случаях речь не развивается или очень обеднена. Однако часть аутистов обладает нормальным интеллектом, даже незаурядными способностями и у них хорошо развита речь. Любопытство и воображение у аутистов отсутствуют или недостаточно развиты. Они не понимают интимности, душевности, не знают, что значит заботиться о ближнем.

Я помню одну курьёзную ситуацию, когда я с супругой и с двумя парами наших друзей улетал на Новый Год развеяться за границей. Мы сняли микроавтобус, который должен был нас довести до поезда, идущего в аэропорт. Водитель сказал, что много с нас не возьмёт, так как берёт попутчиков. В то время, когда нам надо было добраться до поезда, он забирает умственно отсталого ребёнка-аутиста и доставляет его в школу, которая находится рядом с железнодорожной станцией. Если это нас устраивает, то водитель согласен нас взять в автобус.

У каждого из нас в душе уже играла музыка. Наконец-то на несколько дней мы сможем отключиться от рабочей рутины. Раскрепощённые, мы без колебаний согласились на предложение водителя. Наша славная компания рассредоточилась по пустым местам в автобусе, и водитель поехал забирать ребёнка-аутиста.

Когда мы подъехали к нужному адресу, на дорожку, ведущую от дома к автобусу, вышел подросток лет 15. Его врождённая дефективность явно бросались в глаза. Мать крепко держала подростка за руку, и он, потупив взгляд, шел к автобусу, явно повторяя свой привычный маршрут. Подросток уже стал подниматься на подножку автобуса, как вдруг различил внутри автобуса незнакомые веселящиеся объекты. Объекты не вписывались в его ежедневный ограниченный репертуар. Реакция подростка была моментальной и неожиданной. Он кинулся к дому прочь от

автобуса. Но мать не расслаблялась и удержала сына. Подросток продолжал биться в её руках. Среди нас был один очень галантный мужчина, всегда подающий даме руку и готовый прийти на помощь ближнему. Он тут же соскочил со своего места, с готовностью помочь матери подростка с ним справиться. Однако это только усилило биение подростка. Он вёл себя, как рыба, попавшая в сети. Наш галантный мужчина в недоумении и смущении ретировался и вернулся на своё место. Кроме меня, мало кто понимал, что происходит. Я попытался объяснить, что это обычная для аутиста реакция на непривычную для него ситуацию. Надо просто замереть на несколько минут и дать ему возможность нас не замечать.

Так и произошло. Мать с подростком справилась. Он успокоился, зашел в автобус и, не замечая никого, направился прямо на заднее сиденье. Там бесшабашно в уголочке разместилась одна из наших дам. Подросток сел на сиденье вплотную к ней. Вроде как она не существует. Он тут же успокоился и задремал, склонив голову ей на плечо. Женщина в недоумении напряглась, но не сдвинулась с места. Несколько секунд назад подросток в тревоге бился в руках матери, а сейчас, как ни в чём не бывало, дремлет на плече незнакомой женщины. Водитель пояснил, что подросток всегда сидит на этом месте и моментально успокаивается, когда туда садится. Действительно, в дальнейшем поездка прошла без сучка и без задоринки.

Задоринка - замечательная абстракция, символически отражающая затруднения или препятствия на пути к цели. Ну, вы и сами это знаете. А вот у аутистов символизация и абстрактное мышление не развиты либо сильно ограничены. Множество абстрактных выражений, метафоры, пословицы аутистам непонятны.

Во время одной из встреч я с воодушевлением говорю подростку-аутисту с хорошим интеллектом, что наша беседа идёт как по маслу. Он с удивлением начинает оглядываться в поиске масла и не понимает, как по нему беседа может идти.

Я уже не говорю о выражениях: «Вот такая картина маслом» или «масло масляное», «если не подмажешь, не поедешь». Такие выражения и метафоры непонятны аутистам. Они мыслят очень конкретно.

Некоторые аутисты проявляют гениальные способности в определённых областях знаний (география, астрономия,

музыка, архитектура и даже животноводство). Но в остальном они - не приспособленные к жизни инвалиды. Некоторых из них называют гениальными идиотами (savant – французское общепринятое выражение). В кинематографе немало художественных фильмов об аутистах. Те, кто видели фильм «Человек дождя» с Дастином Хоффманом в главной роли, могут оценить художественное воплощение одного из них. Фильм довольно печальный, но многие моменты вызывают улыбку. Прототипом главного героя послужил американский аутист Ким Пик. Он обладал необычайными общими познаниями, отличной зрительной памятью, и особенно запоминал исторические события. Он за 10 секунд прочитывал в книге два листа, отдельно правым и левым глазом, и запоминал с первого раза. Ким Пик постоянно удерживал в памяти примерно 12 тысяч книг - от слова до слова. Несмотря на это, он был умственно отсталым и нуждался в постоянной помощи отца.

Дастин Хоффман - лауреат премии «Оскар» за фильм "Человек дождя". Он выразился о Пике: «Может быть, я звезда, но ты - небеса».

Действительно, некоторые особенности гениальных аутистов делают их необычайно привлекательными для окружающих. Некоторые аутисты могут запомнить книгу от точки до точки, или запомнить местность во всех подробностях и воспроизвести во всех деталях. Энциклопедические знания запечатлеваются у них в голове, как фото, как программка, которую заложили в компьютер. Аутист неоднократно и точно может воспроизвести содержание книги, но не понимает, для чего это нужно, и где он это может использовать. Оставь такого человека одного в незнакомом ему месте - он впадает в панику. Он не знает, как применить то, что он сфотографировал мозгом. Он не может выбрать из информации, сфотографированной его мозгом, рациональные сведения, которые необходимы для приспособления к действительности.

Однажды я спросил у подростка-аутиста: «Что такое сердце?» Он дал определение точно, как прочитал в энциклопедии: «Сердце — это насос, находящийся в середине груди между лёгкими, который предназначен для нагнетания крови в сосудистую систему всего тела». При этом он показал себе на грудь спереди. Тогда я спросил: «А если посмотреть сзади, со спины. Где находится сердце?»

Подросток ответил сразу, что сзади сердца нет. И вновь показал на грудь спереди. Я не успокаивался и спросил, почему иногда говорят о человеке, что он бессердечный? «А что ты думаешь об этом выражении?» Подросток выглядел ошарашенным, не смог ответить, начал злиться и потребовал прекратить встречу.

Другая девочка лет 12 - в этом возрасте мной впервые была диагностирована, как страдающая от аутизма. Мать была шокирована диагнозом и потребовала дополнительного мнения другого психиатра. На встрече мой коллега в её присутствии подтвердил диагноз и сообщил родителям, что дети с такими проблемами являются инвалидами, и им положены от государства все привилегии, связанные с этим страданием.

Большинство родителей детей-аутистов, когда им сообщают о диагнозе «аутизм», не соглашаются и даже возмущаются, что их ребёнку поставили неправильный диагноз. Требуется время, чтобы снизить стресс родителей и действительно помочь им справиться с шоком. Так было и в данном случае. Через неделю мама вернулась с девочкой и с возмущением заявила, что дочка не аутистка, так как очень расстроилась, когда её назвали инвалидом. Весь день девочка утверждала, что она не инвалид. В данной ситуации я предложил поговорить с девочкой в присутствии матери. Я просто спросил: «Кто такой инвалид?». Она ответила моментально, что инвалиды ездят на инвалидных креслах, поэтому она не инвалид. Мать пояснила, что в последнем месяце по телевизору постоянно показывают инвалидов, которые на инвалидных креслах приезжают в парламент с требованиями улучшить их существование. Я спросил у девочки: а что она думает о слепых людях? Они, по её мнению, являются инвалидами или нет? Девочка моментально ответила, что слепые - не инвалиды, так как не ездят в инвалидных колясках. Так мне удалось объяснить матери, что тревога и возмущение её дочери связаны с тем, что та находится в узких рамках своего стереотипного представления и не может смириться с другой реальностью, реальностью настоящей и разнообразной. Это и оказывается одним из признаков её аутизма.

Девочка продолжила у меня наблюдаться. Спустя несколько лет, когда мать уже не сомневалась, что её дочь аутистка, вдруг прибежала напуганная. Она рассказала, что её 16-летняя дочь пыталась вступить в сексуальный

контакт с 14-летним братом. Перед этим девушка-аутистка случайно в интернете увидела сексуальную сцену. Что-то её очень привлекло в том, что увидела, и она моментально попыталась испробовать увиденное на практике.

Я вспоминаю одну сцену из фильма «Человек дождя», когда главный герой-аутист выигрывает для брата в казино большую сумму денег. У него была гениальная способность каким-то образом просчитывать карты. Брат и его подруга радуются неожиданной удаче, а человек дождя не проявляет никаких эмоций. Более того, когда он с подругой брата поднимается в лифте в номер, она просит человека дождя закрыть глаза и целует его в губы. Человек дождя стоит, как истукан. Тогда подруга спрашивает, а что он чувствует? Аутист сразу отвечает: «Мокро». Робот. Нет эмоций. Не понимает, что такое радость, не понимает, что такое горе. Метафоры и юмор ему непонятны, как непонятны чувства другого человека. Мораль и этикет не приобретены. Любое отклонение от привычной рутины вызывает, тревогу, панику. Так, человек дождя боится лететь на самолёте, боится и бьётся в панике, когда его брат включает кран горячей воды в ванной.

Режиссер фильма добавил от себя логики и примитивными словами аутиста дал понять, почему он боится горячей воды. Когда его младшему брату было два года, человек дождя почти обжёг его горячей водой. Родители на него накричали и отдали в лечебный интернат, где человек дождя и находился всю оставшуюся жизнь. С тех пор он реагирует паникой, когда включают кран горячей воды.

В кино всё выстраивается под руководством режиссера. А в жизни даже самые близкие часто не могут понять причину тревоги и паники аутиста. Лечение таких детей заключается в развитии и расширении у них социальных навыков. Аутистам лучше находиться в специальных школах, с обученными в этой области педагогами. Аутисты не понимают юмора, и он нередко их раздражает. Поэтому я не пытаюсь использовать юмор при их лечении. Но родители детей-аутистов нуждаются в поддержке и эмоциональном сопровождении в течении всей жизни.

Следует учесть незначительную группу детей, которые не являются аутистами, но проявляют выраженную неуклюжесть в общении. Их эмоциональное развитие относится к более раннему возрасту, они психологически не гибкие, и упрямцы, мыслящие конкретно. Не понимают

шуток и с трудом взаимодействуют со сверстниками; и часто оказываются жертвами детского бойкота. Частенько такие дети раздражают родителей своей непонятливостью и упрямством. Родители обращаются к психиатру или психологу за помощью. Психологическая помощь в таких случаях направлена больше на родителей. От родителей требуется прежде всего терпимость. Ребёнок ничего не делает специально. Нужно найти к нему подходы и постепенно улучшить его умения общаться со сверстниками. Что называется: социальный тренинг.

Для примера: одна из моих подопечных по имени Дана жаловалась, что одноклассницы устроили ей бойкот. Причиной бойкота была её жалоба классной руководительнице на девочек, которые слушают недозволенные песни. Девочка училась в религиозной школе, где строго следили, чтобы ученицы не слушали светские песни. Но и там, в религиозных школах для подростков, в этом возрасте запретный плод приятен. Некоторые девочки собирались группами в укромных уголках школы и втихаря слушали эти самые запретные песенки.

Дана на приёме рыдала: «Как они не понимают, что я права? Ведь учительница просила не слушать такие песни. Она же объяснила, что это грех». Трудно мне было объяснить девочке, что жизнь становится интересней, когда ты немножко съезжаешь с правил и выскакиваешь из рутины, когда ты открыт для неожиданностей и некоторого риска. Как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Те же, кто жестко следуют правилам, больше страдают от проблем общения. Иногда надо пользоваться нашим «внутренним ребёнком» для расслабления и удовлетворения эмоциональных потребностей.

Леди с собачкой

Детские психиатры в Израиле в дефиците. Поэтому у каждого из них имеется дополнительная работа в больничных кассах и в разных специальных учреждениях. Я также не избежал этой участи, поэтому после окончания основной работы в государственной поликлинике, по вечерам, работал в одной из больничных касс Израиля. В каждом месте есть свои особенности. В больничной кассе от меня ждут прежде всего работы психиатра. Давай

таблеточки - и побольше. Этому, с нарушениями поведения, пропиши успокаивающие таблетки, а другому - средства от тревоги или депрессии. На психотерапию нуждающихся в этом я направляю к психологу, социальному работнику или другому специалисту, получившему разрешение заниматься психологическими методами лечения. Многолетнее использование мной психотерапии во многих случаях даже за несколько коротких встреч позволяет помочь пациенту психологически преодолеть его проблему.

На одну из встреч приходит женщина лет 45 с дочкой, которая выглядит лет на 16. Почти сформировавшаяся леди. Две дамы очень яркие, ухоженные, с пышными чёрными до смоли волосами. У девушки густые, объёмные волосы спадают на плечи. Во взгляде обеих дам угадываются признаки интеллекта, а поведение на приёме отражает их хорошие светские манеры. Обе дамы носят очки с качественными роговыми оправами, очень соответствующие их внешности. Я тоже ношу очки, и этот факт мне часто помогает начать беседу. Конечно, не в тех случаях, когда пациент явно страдает, и юмор неуместен.

В данном случае интуиция подсказывала, что да, таки можно отойти от стандартов. Вот примерно так: «Я вижу необычное единство в комнате. Все очкарики. Ну что ж, вы хорошо видите меня, а я вас. Значит, глаза настроены. Теперь я настраиваю свой слух и готов воспринимать всё, что вы хотите мне сообщить. Кто хочет начать? Молодая леди или её мама?» Девушка несколько смущена, лёгкий румянец появляется на её щеках. Она предлагает маме рассказать историю проблемы. Мама явно выявляет готовность помочь и объясняет, что её дочь стесняется. Я не спешу обозначить свою власть. Мне важна «химия» с девушкой-подростком. С непринуждённостью в голосе я обращаю внимание на приятный румянец девушки и объявляю: "Стесняться не стыдно. Ты очень приятно стесняешься, и можешь продолжать стесняться. Я тоже стесняюсь. Ведь мы встречаемся в первый раз. Я думаю, что я приятный человек, и мы постепенно найдём общий язык. Может, ты думала, что встретишь в моём лице монстра. Так иногда думают о психиатрах. Так вот - я один из них". При этих словах легкая улыбка разлилась на моём лице.

Вступление в данном случае неплохо сработало, и девушка расслабилась, в глазах засверкали искорки

любопытства. В этот момент я дал отмашку маме начать рассказывать о причине их визита ко мне. При этом добавил, что молодая леди может в любой момент продолжить или добавить от себя всё, что посчитает нужным.

Мама с возмущением стала рассказывать: "На мою дочь напала собака. С тех пор дочка боится выходить на улицу и страдает от нарушения сна". Юная леди тут же начала вмешиваться в рассказ матери. Я незаметно перевёл беседу на девушку, так что мама уже выступала в роли театрального суфлёра.

Девушка оказалась отличным рассказчиком. Она с эмоциональным возбуждением начала выпаливать свою историю, как будто за ней кто-то гонится, и она может не успеть сообщить важные сведения: «Я, как обычно, с нашей маленькой собакой породы пинчер, вышла на прогулку. Собака сама выбирает привычный маршрут. Мы проходили возле соседнего дома, и вдруг из подворотни с лаем выбежала большая чёрная собака. Она прямиком кинулась на моего пинчера. Я рефлекторно отдёрнула поводок и моментально взяла свою собачку на руки, подняла вверх и прижала к груди. Но чёрный кобель не отставал и набросился на меня, пытаясь достать до моей собаки. Он царапал и кусал мне руки». Девушка эмоционально вытянула руки, показывая следы от прежних глубоких царапин. «Я не знала, что делать, и продолжала защищать свою собачку. Борьба продолжалась минут пять и показалась мне вечностью. Я начала кричать. Хорошо, что в это время проходил какой-то мужчина. Он тут же отогнал чёрную собаку. Собака с лаем скрылась в ближнем подъезде дома, где я проходила со своей маленькой собачкой».

В этот момент с нетерпением и с возмущением ворвалась в беседу мама: "Ужасные хозяева собак. Выпускают их без присмотра на улицу. Как будто закона не существует. Они остаются безнаказанными. А моя дочь теперь боится выйти на улицу, пугается любого звука, напоминающего лай собаки. У неё нарушился сон".

В душе я понимал возмущённую реакцию мамы. Но мне был важен эмоциональный контакт с девушкой. Я предложил ей побеседовать наедине, без мамы. Но девушка объявила, что они с мамой в хороших отношениях, и ей от мамы скрывать нечего. Итак, беседа с девушкой

продолжилась в присутствии мамы, и как оказалось, это не помешало.

Кстати, о собаках. В том поселении, где я живу, собак также выпускают без присмотра. Они не только мешают свободно гулять по поселению, но и улицы нередко заминированы их фекалиями. Я помню немало случаев, когда большие собаки подбегали ко мне во время прогулки, с любопытством начинали обнюхивать и путались у меня в ногах. То ли они меня воспринимают как потенциального сексуального партнёра, то ли просто хотят со мной поиграть. А некоторые мелкие, гавкая, преследуют и пытаются укусить за пятки.

Я неоднократно слышал от добропорядочных хозяев, отпустивших собак: «Не бойтесь, она добрая, она не кусается». Однажды, возмущаясь, я не сдержался и в такой же манере обратился к хозяйке собаки: «Я тоже добрый, можно я вас обнюхаю и поиграю с вашей юбочкой». Дама ошалевшим взглядом посмотрела на меня. Видимо, опознала во мне психиатра. Она тут же прицепила к ошейнику собаки поводок, который держала в руке, и быстро ретировалась…

Пока я примерял на себя то, что произошло с девушкой, её глаза наполнились слезами обиды. Она эмоционально начала выпаливать: "На следующий день я видела эту собаку в окне соседнего дома. Это точно та собака, и я не могла спутать". Мама с возмущением продолжила повествование: «Мы с мужем пошли выяснять отношения с хозяевами собаки. Они нас приняли в штыки, возмущаясь, что мы ворвались без спроса в их частную жизнь. Они даже не пытались отрицать, что отпускали чёрную собаку, которую друзья им дали на временное содержание, пока уезжали в отпуск. К тому же добавили, что их друзья, то есть хозяева собаки, живут в кибуце и свободно отпускают её гулять по кибуцу для отправления нужд. Так они рекомендовали поступать и здесь, в городе. Но я возмутилась, что собака напала на нашу дочь и поранила её. В тот же момент временная хозяйка чёрной собаки начала орать. Вроде: пусть ваша дочь не сочиняет, что эта собака напала на неё. Собака добрая и не бросается на людей. Не о чём тут разговаривать, и тема закрыта. Мы попытались выяснить, привита ли собака, что вызвало настоящий гнев хозяйки. Хозяйка бросила в лицо обвинения: “Ещё не доказано, что эта собака напала на вашу дочь, и нечего тут искать виновных”. С этого момента

временная хозяйка собаки перешла на отборный сленг, который включал массу ругательств».

Возмущение переполняло маму девушки во время нашей встречи из-за чувства несправедливости, которое она ощущала вместе с дочерью. Так проявлялось их бессилие перед необузданной наглостью. Тем не менее, мама девушки заявила содержательнице чёрной собаки: "Мы обратимся в полицию. У нас имеются свидетели произошедшего, которые и показали вашу квартиру". Родители, не удовлетворённые и с чувством ущемлённой гордости, покинули квартиру временных хозяев собаки.

"Мы действительно обратились в полицию, надеясь восстановить справедливость. Но это если и произойдёт, то неизвестно когда. А наша дочка сейчас реально страдает и нуждается в срочной психологической помощи".

Рассказ матери только усилил обиду девушки, а слёзы, наполнившие её глаза, как кристаллики, играли в свете лампы. Так хочется посострадать в такую минуту, успокоить её нужными словами. Ведь моя задача ей помочь. В то же время я знаю, что идентификация с чувствами девушки только усилит её ощущение обиды. Моя же задача гораздо более сложная. Сочувствие - важная составляющая в посттравматической ситуации, но при этом также моя задача - разбить её чувство несчастности, несправедливости, сломать фиксацию на травме. Вместо простого сострадания нужно вселить чувство уверенности и способности преодолеть травматические переживания. При травме может быть физическое повреждение тела и мозга, которое влияет на поведение и ощущения человека после травмы. В случае этой девушки физические повреждения были минимальными и полностью обратимыми. Никаких физических повреждений мозга не было вообще. Что же приводит к страху и фиксации на нём?

Наука быстро продвигается. Сейчас уже знают определённые места в мозге, которые вовлечены в посттравматический процесс. А чем это нам может помочь в процессе лечения? Если сказать правду, то немногим. Представьте, что я объясню девушке и её маме, что у молодой леди возник очаг возбуждения в районе амигдали. Ну и что? Что с этим можно делать? Кушать с маслом? Или пойти в магазин и купить новую, неповреждённую амигдалю? Мне же надо как-то ей помочь. Я перед собой вижу глаза, полные слёз, - слёз, которые не портят

внешность девушки, а наоборот, украшают её. Ну что ж, попробуем это использовать.

С мягкой улыбкой на лице обращаюсь к юной леди и подмечаю: "У тебя прекрасные слёзки-хрусталики. Они прозрачны, как родниковая вода. Я предлагаю тебе на несколько секунд придержать слёзки, пока я сбегаю за кувшином для сбора чарующего нектара". Представляете смех сквозь слёзы. Девушка звонко рассмеялась, изящно растирая слезы по разрумяненным щёчкам. Секундочка удовольствия, маленькая победа над обидой и отчаянием.

Я стараюсь усилить эффект победы, используя положительные свойства характера девушки и продолжаю: «Как же это произошло, что какая-то чёрная собака напала на леди с такими прекрасными слёзками? Какая-то чёрная собака напугала её, не даёт ей выйти на улицу, пугает страшилками по ночам. Надо срочно расправиться с этой ужасной собакой». Девушка уже расслабилась, и мама её так же улыбается. И это замечательно. Нередко любящие родители, оберегая своего ребёнка со всей силой, неумышленно превращают его в беспомощную жертву, нуждающуюся в защите. Ребёнок как бы возвращается в более детский возраст, становится более зависимым от окружающих.

Словно в подтверждение моих слов, мама девушки рассказывает: "Моя дочка отказывается одна выходить на улицу. По утрам один из родителей провожает её в школу, она перестала ходить в магазины без сопровождения. А ведь до травмы дочка была обычным подростком, не проявляла особых страхов ни в младшем возрасте, ни в последующие годы. Она всегда среди лучших учеников в школе и в центре внимания друзей, достаточно инициативная и уверенная в себе девочка. Мы не знаем, что делать. Уже два месяца после травмы, а её душевное состояние не улучшается. Пришлось обратиться к вам. Мы слышали о вас хорошие отзывы». В ответ я продолжил с юмором: «Вы правы. У меня есть хорошие знакомства в магазинах, где продают уверенность в себе. Останется только её купить, вставить в душу, и всё будет в порядке. Страхи всех чёрных собак улетучатся сами собой».

Моя шутка пришлась девушке по вкусу. Слёзы в её глазах уже подсохли, и вместо них вспыхнули искорки любопытства. Что это доктор сочиняет? Я же продолжил расспрашивать девушку о атаковавшей её чёрной собаке и о происшествии во всех подробностях. Любая мелкая

деталь может пригодиться. Между делом девушка рассказала, что в школе у неё всё в порядке, и она даже забывает о травме. Кроме того, она иногда работает как бебиситер (смотрит за ребёнком) и тем самым зарабатывает себе небольшие деньги на удовольствия. Я поинтересовался, а была ли она бебиситером в последние два месяца. Юная леди с гордостью сообщила, что она любит возиться с ребёнком и, конечно же, примерно раз в неделю она присматривала за соседским мальчиком. Я с удивлением в голосе заметил, что с ребёнком надо выходить гулять. Девушка уверенно сообщила, что регулярно выходит с ребёнком немного погулять. Я продолжал своими вопросами копать в нужном направлении. Настало время спросить о главном: что она будет делать, если во время прогулки с ребёнком на неё нападёт чёрная собака? Девушка дерзко и с напором в голосе заявила, что разорвёт собаку, что не позволит даже на сантиметр приблизиться к ребёнку. Я почувствовал, что мы пришли к апогею, наступила критическая точка в её фантазии, когда страх подавляется силой духа. На самом деле опасная ситуация была в момент нападения собаки, а в последующем опасность преобразовалась в фантазию страха. В фантазии девушки чёрная невоспитанная собака превратилась в чудовище, которое угрожает ей дома и на улице, и она постоянно об этом думает.

Помните «собаку Баскервилей» Конан Дойля? Вы думаете, что это было на самом деле? Быть может, но скорее просто талантливый автор погружает ваше воображение в ощущение реальности. Вы, как во сне, верите, что это происходит на самом деле. Если читатель или слушатель - ребёнок или чувствительный человек, и если это тёмный вечер, и вы находитесь один в доме, то прочитанное вами действительно превращается в реальность, и вы ждёте, что вот сейчас выскочит эта собака-чудовище из-под кровати, из ванной, из тёмного угла - и растерзает вас на части. В завывании ветра вам может показаться, будто вы слышите её угрожающий вой. Фантазия - и реальность. Чем меньше ребёнок, чем труднее ему различить, где фантазия, а где реальность. С возрастом мы учимся различать, но всё же нередко попадаем в сети фантазии. Фантазии являются неотъемлемой составляющей наших мыслей и действий. Планирование будущих событий в нашей жизни не

обходится без фантазий. Тема фантазии в её разнообразии описана во многих научных и популярных книгах.

В данном случае я привожу пример возникшей посттравматической фантазии. При этом травмирующая реальность приводит к формированию пугающей фантазии, которая повлияла на реальные события и поведение девушки. Травмирующая фантазия начинает фиксироваться в сознании человека, перенёсшего травму, и способна влиять и даже управлять реальностью. Чем больше по времени длится процесс фиксации на травматических обстоятельствах, тем сложнее преодолеть травму при лечении и вернуться к предыдущей, здоровой реальности. Моя задача как психотерапевта - сформировать новую фантазию, фантазию силы духа. При этом пугающая сущность собаки должна значительно уменьшиться. Тогда не собака, а девушка становится хозяином положения. Она легко может победить чёрную собаку. Новой сильной фантазией девушка начинает подавлять пугающие фантазии. В реальности она будет чувствовать себя также способной вернуться к её обычному образу жизни. Такой процесс превращения фантазии пугающей в фантазию силы реально происходил на нашей встрече.

Девушка не заметила такого превращения, поэтому я сознательно обратил её внимание на этот факт: "Сначала ты защитила свою собачку, а теперь показываешь свою истинную смелость и готова броситься защищать младенца. И после этого ты мне хочешь сказать, что боишься чёрной собаки? Во время нашей беседы ты уже дважды её победила". Я продолжаю наращивать свои целебные умения и утверждаю: «Целый час пыталась меня убедить, что ты слабая. При этом ручьями пускала слёзы, злилась на какую-то ничтожную собаку и её бескультурных хозяев, а оказывается - ты готова разорвать чёрное чудовище, защищая младенца». Я с юмором добавляю: «Хоть бы пожалела бедную чёрную собаку. У неё от твоих слов уже черная шерсть от страха, наверное, дыбом встала». Девушка весело рассмеялась и продолжила развивать победные фантазии: «Да уж пусть только попадётся мне на дороге, тогда увидим, кто кого».

В это время в коридоре поликлиники или в соседнем кабинете заплакал младенец. Я тут же использовал эту ситуацию: «Ну что, похвасталась и хватит. Слышишь, ребёнок плачет. На него, наверняка, напала чёрная собака.

Ты должна его защитить». Девушка сделала движение в сторону двери с тем, чтобы доказать свою готовность защитить младенца. В это время младенец замолчал. Я со смехом остановил девушку и снова с юмором добавил: "Ты должна поубавить прыть. Так ты можешь зашибить собаку. А она всё же живая». Юмор хорошо вписался в процесс нашей встречи. Мама девочки, присутствующая на встрече, сидела несколько ошеломлённая, но явно довольная происходящим.

В конечном итоге юмор полился со всех сторон. Наша встреча для мамы и её дочки оказалась неожиданной и необычной. Мы вдоволь нашутились, насмеялись, и разошлись с чувством взаимного удовлетворения. Напоследок я сообщил, что юная леди очень милая и сильная духом девушка. Она уже готова к преодолению, и возможно, уже не нуждается ни в какой помощи. Но если всё же захочет поюморить насчёт чёрной собаки, то можно встретиться ещё.

Через несколько недель я случайно встретил маму девочки в магазине. Она с гордостью сообщила, что у дочки всё в порядке, и наша встреча ей очень помогла. В данном случае очень короткое психологическое вмешательство принесло хорошие результаты.

Ханох Дашевский

Рог Мессии
(отрывок из романа)

Депортированный перед войной из Литвы зажиточный предприниматель Юда Айзексон в результате рокового стечения обстоятельств зимой 1942 г. оказывается на одном из заброшенных полустанков Оренбургской железной дороги. Заболевшего Юду спасает путевая обходчица Дарья. Несмотря на то, что Айзексон является солдатом находящейся на территории СССР польской армии генерала Андерса, на фронт он не спешит и планирует остаться в тылу. Случайная встреча с женой бывшего компаньона и приятеля Ривой производит переворот в душе Юды и меняет его мировоззрение.

Доставшаяся Юде Айзексону комната была, вероятно, одной из худших в одноэтажном, длинном, принадлежащем хлебозаводу бараке. Половину потолка занимало огромное причудливое пятно, образовавшееся из-за протекавшей долгое время крыши. Крышу залатали, но пятно осталось, давая возможность Юде созерцать его, словно картину художника-модерниста, прежде чем перевести взгляд на ободранные грязные стены. Его желание осуществилось: он находился в Илецке, угроза попасть на фронт миновала, но никакой радости это не принесло. Совсем наоборот.

Как и обещала Дарья, её свёкор встретил Юду на станции. Не дав раскрыть ему рта и оставив ждать в станционном зале, старик забрал документы и пропал. Станция была узловой, и в переполненном помещении Юда отчаялся найти место не только на скамье, но и на полу, хотя на мокрый и грязный пол он всё равно бы не сел. Так он и стоял, смутно догадываясь, что остаться в городе не удастся, и придётся ехать дальше, в неведомый Янги-Юль, куда занесла нелёгкая польскую армию Андерса. Прошёл час, Юда изнемогал, но должна была пройти ещё целая вечность, пока Дарьин свёкор появился снова, неожиданно выскочив из какой-то боковой двери.

– Ну, мил-человек, вот тебе документ со всеми печатями и поезжай-ка ты с Богом своею дорогой. Знаю, что ты на Дашку пялился, да не по тебе кобылка. А ты хорош: решил, значит, воспользоваться…

– Зачем вы так? Она не маленькая. Дайте ей самой выбирать.

– Выбирать? Кого выбирать? Такого, как ты, приблудного? Гляди, ежели что!.. У меня сын в НКВД. Держи свою бумагу, а про Дарью забудь. Не смотри, что вдова. Месяц как похоронку получила, ещё слёз не выплакала. Сирота она, и я ей за отца. В обиду не дам! – повысив голос, заявил свёкор, хотя вокруг были люди. – Заруби на длинном своём носу, что ты ей не пара!

Последние слова старик мог бы и не произносить. Подъезжая к Илецку на дрезине, Юда пришёл к такому же выводу. Теперь его стремление остаться в городе проистекало только из нежелания попасть с поляками на фронт. Айзексон рассчитывал, что свёкор Дарьи, занимавший важную должность на станции, подскажет, что надо делать. Да и сын его мог бы помочь. Но поведение старого железнодорожника не позволяло даже думать об этом.

В армии Андерса, куда Юда вынужден был вернуться, царили антисоветские настроения. Сам Владислав Андерс был боевым генералом и польским патриотом, но ни он, ни его офицеры не хотели сражаться на стороне коммунистов. Даже с захватившими Польшу нацистами. Прозондировав почву, Юда убедился, что его предположения верны. Одним евреем больше, одним меньше – полякам было всё равно, но лучше, если меньше. Они не прочь были демобилизовать Юду, но что скажет советская сторона? Юда хорошо помнил, что попал в польскую армию по специальной амнистии, и не хотел снова оказаться в лагере.

Помогли врачи. После перенесённых болезней Юда мало подходил для военной службы. Его комиссовали, и он уже собирал вещи, когда к нему подошёл Менахем Бегин. Этот нервный молодой человек из Брест-Литовска, руководитель польского «Бейтара», пользовался непререкаемым авторитетом среди евреев армии Андерса. Бегин был в том же лагере, что и Юда – на Печоре. Там они и познакомились. Менахем не стал заходить с тыла. Сухо поздоровавшись, он словно наотмашь ударил Юду.

– Убегаешь, Юдл?

– С какой стати я должен воевать за поляков? – перешёл в контратаку Юда. – Польская армия нужна была, чтобы вырваться из лагеря. Теперь я свободен. Меня комиссовали.

– За поляков воевать? – переспросил Бегин. – Может, и не должен. А за евреев?

– Я в эти разговоры о массовых убийствах не верю. Такого просто не может быть. Я немцев знаю, вёл с ними дела. В тридцать шестом году…

– Значит, ты – последний, кто остаётся при своём мнении, – перебил Юду Бегин. - А мы тут уже оплакали наших близких. В Вильно убивают, в Ковно. Большая часть Рижского гетто уничтожена; в городках и местечках Латвии евреев больше нет. То же самое на всех литовских и польских землях.

– С чего ты взял, Менахем? Откуда знаешь?

– Польское правительство в Лондоне располагает сведениями. Мне об этом в штабе Андерса сообщили. И вот ещё что – это уже не секрет: польская армия из России уходит. И знаешь куда? А вот это уже секрет, но тебе сообщу: в Палестину.

– В Палестину? Поляки? Зачем?

– Под крыло к англичанам. Так что нам с поляками по пути. И ты не глупи. Иди к генералу, скажи, что с врачами не согласен, хочешь на фронт. Андерс такие эффекты любит. А не поможет – постараемся что-нибудь придумать. Мы тебя тут не оставим.

Юда растерялся. Он не знал, что ответить Бегину. Палестина? При чём здесь он? Менахем – сионист, вот пусть и отправляется туда со своей компанией. А ему, Юде Айзексону, что там делать? Хотя… Такой человек, как он, и в Палестине не пропадёт. А потом переберётся куда-нибудь. В Америку, например. Кончится же когда-нибудь эта война.

Внезапно Юде показалось, что он совершает чудовищную ошибку. Палестины испугался? А занесённая снегом Россия лучше? А советские лагеря? Или он не пробовал лагерную баланду? Не подвернись вовремя польская армия, не было бы его сейчас в живых. И где гарантия, что он не окажется снова на Печоре? Или в другом таком же месте, как будто специально созданном для того, чтобы там выживало как можно меньше? Выходит, всё правильно, и надо уходить с поляками. А дети, Дина? Убивают евреев, но те, у кого есть деньги, разве не могут купить себе жизнь? Раньше, при погромах, такое бывало, а он, несмотря на советскую власть, сохранил кое-какие средства. Дина об этом знает. Нет,

нельзя уходить с Андерсом, когда есть надежда, что Дина и мальчики живы. Оставаться надо, и будь, что будет.

Окончательно решив, что поступает правильно, и пообещав Бегину, чтобы тот отвязался, обратиться к генералу, Юда весь оставшийся день потратил на то, чтобы побыстрее получить документы и убраться из лагеря Андерса. Назавтра он уже был в поезде, направлявшемся через Оренбург (вернее, Чкалов, хотя многие употребляли старое название) в Куйбышев. Но и в вагоне раздумья не оставляли Юду. Он вновь и вновь повторял, что остаётся в России из-за семьи, и даже себе не хотел признаваться, что виной всему немного раскосые глаза и чёрная коса Дарьи. Не помогали никакие доводы. Юда словно забыл о принятом после расставания с Дарьей решении, о нелёгком разговоре с её свёкром и о том, что совсем недавно думал о Дине. То, что он еврей, только усугубляло и без того непростую ситуацию, но Айзексоном овладело наваждение, и разум тут был бессилен. Поэтому, когда поезд, то бесконечно стоявший на станциях, то неожиданно застревавший посреди голой степи, дотащился до Илецка, Юда знал, что ему нужна Дарья, и только она, а всё остальное – прикрытие.

Состав, в котором ехал Айзексон, на Дарьином полустанке не останавливался. Сойдя с поезда и рискуя попасть под маневрирующие паровозы, Юда перешёл казавшиеся бесконечными разветвлённые пути и стал разыскивать дрезину. Возле одной, стоявшей у ворот депо, крутились люди, и, направившись туда, Юда услышал повелительный окрик:

– А ну-ка стой!

Айзексон обернулся. На него смотрел пожилой железнодорожник в чёрной шинели, в котором Юда безошибочно узнал Дарьиного свёкра.

– Ты что тут делаешь?

Юда растерялся. У него не был заготовлен ответ.

– К Дарье собрался? Тебе что, неясно сказали: держись от неё подальше! А я-то думал, ты понятливый. Неужто сам не видишь? Не молод и роду-племени неподходящего. А главное…

– Поеду к ней, и пусть она решает, – перебил старика Юда. Он словно забыл о том, что свёкор Дарьи и его энкаведешник-сын легко могут загнать человека туда, откуда ему уже точно не выбраться.

– А что ей решать? Её здесь нету. В Челябинске она. В госпитале с мужем, – прищурился старик.

– С мужем? – опешил Юда. – Но он же…

– С ним, с кем же ещё, – подтвердил свёкор. – Жив оказался наш Федя. Раненый тяжело, да ничего! Дарья кого угодно подымет, даже безногого. Понял теперь? Вот и езжай отсюда по-хорошему. Россия большая…

Кое-как пережив потрясение и крах лелеемых в долгой дороге надежд, Айзексон двинулся устраивать свои дела. Из Илецка он решил не уезжать. Надоело мотаться, пора уже было пристать к какому-то берегу. Как демобилизованному по болезни, ему помогли с работой, и Юда попал на хлебозавод, бухгалтером в финансовый отдел. С его опытом он быстро разобрался, что к чему; на заводе им были довольны, но сам Айзексон чувствовал себя отвратительно. Теперь он думал о том, что зря не согласился с Бегиным и упустил свой шанс. Оправдываясь перед своей совестью, он пытался убедить себя, что только мысль о семье удержала его в России, но перед глазами стояла Дарья, и оказалось, что перед собой лукавить непросто. В конце концов Юда пришёл к выводу, что Бог всё-таки есть. Ещё не зная, живы, или нет его близкие, он устремился к другой женщине, хотя прекрасно понимал, что этот степной цветок не для него. Вот и получил по носу! И не только по носу, а по всей исхудавшей, заросшей физиономии!

Стояла середина марта, но снег валил такой, что трудно было передвигаться, и только тулуп – подарок Дарьи - спасал от мороза. Зато на работе было тепло, и, отогреваясь, Юда не сразу расслышал голос начальника – пожилого экономиста Георгия Павловича:

– Юдель! Вас в отдел кадров вызывают!

В отдел кадров так просто не вызывали, и Юда забеспокоился. Он оказался прав. Какой-то тип, явно не кадровик, а из другого известного ведомства, долго изводил Юду расспросами об армии Андерса, интересовался биографией, вертел в руках заключение медкомиссии и закончил, как он выразился, "содержательную беседу" следующими словами:

– Ну, ладно! Идите пока.

Удручённый тем, что его положение шатко, и в любую минуту можно ждать ареста, Юда вышел в коридор. Уборщица, безучастно мывшая пол, подняла голову от ведра, и Айзексон обомлел. В молодой женщине,

застывшей с тряпкой в руке и смотревшей на него расширившимися от изумления глазами, он узнал Риву, жену Арончика Кауфмана, близкого знакомого, можно сказать - друга, с которым Юда вёл когда-то в Каунасе дела. Рива даже работала некоторое время у Айзексона. Потом ревнивый Арончик что-то заподозрил, и Рива ушла, хотя у неё ничего не было с Юдой. Кроме взаимной симпатии.

Такое могло привидеться только во сне, но это был не сон. И то, что Юда и Рива бросились в объятия друг друга, было так же естественно, как мартовский снег на улицах Илецка.

Разговаривать они не могли. Проходившие по коридору смотрели на них. Юда бросил только одну фразу:

– О моих что-нибудь знаешь?

Лицо Ривы изменилось, губы дрогнули, и это был ответ, которого боялся Юда.

– Я заканчиваю в семь, – почти неслышно сказала Рива. - Подожду тебя у проходной.

Юда плохо помнил, как прошёл день. Свои обязанности он выполнял автоматически, и больше всего ему хотелось, чтобы вечер не наступал никогда. Но он всё равно наступил, этот вечер.

Рива жила недалеко, с восьмилетним сыном снимала угол у солдатки Анфисы. Лишь это узнал у неё Айзексон, провожая домой. Рива молчала. Уложив ребёнка, она долго плакала и только потом начала говорить.

Немцы вошли в Каунас 24-го июня, но уже за день до этого власть в бывшей столице Литвы перешла к вооружённым национал-патриотам, входившим в организацию под названием "Фронт литовских активистов", и сразу же начались убийства евреев. В ночь на 24-е Арончик и Рива с ребёнком предприняли попытку бежать, но далеко уйти не удалось. За городом их поймали активисты. Арончика убили на глазах у Ривы, её и сына погнали обратно. Почему не убили сразу – выяснилось потом.

Активисты носили белые повязки. Командовал ими Альгирдас Жемайтис. Это был старый знакомый, хорошо знавший Арончика и Риву, бывавший у них дома и даже выполнявший для Арончика какую-то работу. Увидев его, Рива сразу почувствовала беду, а её несчастный муж так ничего и не понял. Он думал, что знакомство поможет, но

Альгирдас, посмеиваясь, убил Арончика, не дав тому сказать ни слова. Той же ночью Рива оказалась в Вильямполе. Там уже бушевал погром.

– Нас с Рафиком швырнули на землю, – со слезами говорила Рива, – прямо напротив вашего дома. Я сразу его узнала, ведь мы к вам приходили. Сначала из окна выбросили вашу тёщу вместе с коляской. Затем вывели Дину и мальчиков. Увидев мёртвую мать, ваша жена вцепилась в Альгирдаса. Тот отшвырнул её, кажется, ударил в живот… Ох, Юда, ну почему именно я вам об этом рассказываю?! За что мне такое наказание?! Простите меня! Простите!

– За что прощать? – глухо произнёс Юда. – Кто ещё об этом расскажет?

– Потом нас погнали в город. Загнали в гараж. Там…там погибла ваша семья…

– Ты видела? Как это было?

– Я не могу больше говорить! Не могу! – у Ривы началась истерика. Зашевелился Рафик. Показалась полуодетая, испуганная Анфиса.

– Что случилось? Ты чего голосишь? Всех тут у меня перебудишь…

Она схватила одиноко стоявший на керосинке чайник.

– Травки тебе заварю. Есть у меня немного, от свекрови осталось. Помогает…

Через полчаса, немного успокоившись, Рива заговорила опять:

– Отделили мужчин, там оказались и ваши сыновья. Молодой литовец из отряда Альгирдаса вооружился ломом. Мужчин подводили по одному, и этот крепкий парень наносил каждому только один удар. Большая толпа литовцев: мужчины, женщины и дети. - стояла за невысоким забором. После каждого удара многие из них аплодировали. В толпе были немецкие солдаты. Я находилась недалеко от забора и видела, что даже они с удивлением смотрят на аплодирующих литовцев.

Кое-кто поднимал детей, чтобы те могли получше разглядеть происходящее. Была и другая забава: заливали в людей воду из шлангов, пока человека не разрывало на части. Когда подвели ваших мальчиков… – Рива остановилась, ей нужно было справиться со спазмом. – Когда их подвели, на середину двора выскочила страшная, седая, сумасшедшая старуха. Юда, – Рива снова остановилась и, уронив голову на стол, несколько минут

оставалась в таком положении, – Юда, это была ваша Дина…

Риве всё труднее становилось говорить. Она замолкала, иногда надолго, уставившись невидящим взглядом в какую-то только ей известную точку. Но даже из этих, не всегда связных, прерывающихся слов Юда узнал, как всё происходило.

Макса и Арика убили на глазах у Дины. Когда всё кончилось, и десятки евреев с проломленными черепами лежали кучей у ног юного палача, показался улыбающийся Альгирдас.

– Национальная революция, господа литовцы, – обратился он к столпившимся за оградой зрителям. – Жидовской власти – конец! Слишком долго мы их терпели. Наши добрые князья, Гедиминас и Витаутас, приютили их на литовской земле, дали им привилегии, но разве жиды умеют быть благодарными? Они мастера козни строить и нож держать за пазухой. Когда Советы пришли, они их цветами встретили, русские танки целовали. Теперь эти танки горят у Немана. Сами можете убедиться. Пусть же этот подлый народ ответит за свои преступления! Стасис! – окликнул Альгирдас палача, не выпускавшего из рук лома. – Давай!

Бросив лом и не вытирая окровавленных рук, Стасис отлучился. Через несколько минут он вернулся с аккордеоном. Взгромоздившись на убитых евреев, Стасис заиграл "О, Литва, отчизна наша, ты страна героев…" Обнажив головы, толпа за забором подхватила литовский гимн. И Стасис, в одиночку убивший четыре дюжины безоружных евреев и нажимавший багровыми пальцами на клавиши аккордеона, тоже чувствовал себя героем. Но после того как мелодия стихла, все услышали тонкий пронзительный вой. Седая сумасшедшая, разгребая кровавую грязь, ползком подбиралась к куче трупов, где лежали её сыновья. Альгирдас вытащил револьвер.

– Будем милосердны, друзья, – сказал он, разряжая обойму в голову Дины.

Лишь тогда Риве стало ясно, почему она и другие женщины и дети ещё живы. Альгирдас хотел, чтобы все они видели, как убивают их братьев, мужей и отцов. Такое развлечение придумал себе и своему отряду командир литовских партизан Альгирдас Жемайтис.

Рива знала, что скоро наступит её очередь. Она была красива и понимала, что ожидает её перед смертью.

Больше всего Рива боялась, что Рафика оторвут от неё, и прямо на глазах убьют. Но борцы за свободу то ли устали, то ли решили отложить следующий этап на завтра, и оставили женщин и детей во дворе гаража. Была середина ночи, когда появился какой-то литовец с винтовкой и, что-то сказав сидевшему в воротах белоповязочнику, подошёл к Риве.

– Вставай! – и так как Рива медлила, рывком поднял её на ноги. – Бери своего змеёныша и двигай вперёд! Шевелись!

В человеке с винтовкой Рива узнала Антанаса Рашиса. Они вместе учились в литовской гимназии. Антанасу нравилась Рива, он даже защищал её от одноклассников-антисемитов. Но теперь, при виде Антанаса она решила, что за ней и Рафиком пришла смерть. Подтверждение Рива получила, когда охранник у ворот окликнул Рашиса:

– Эй, друг! А ты куда их ведёшь?

Антанас сделал непристойный жест. Охранник расхохотался.

Рива смирилась с тем, что для неё и Рафика всё кончено, да и что она могла сделать? За гаражом в переулке стоял грузовик. Два мёртвых красноармейца лежали рядом. По уверенным движениям Рашиса Рива поняла, что об этой машине он знал раньше. Но зачем куда-то ехать? Изнасиловать и убить можно прямо здесь, у забора.

Дальше всё происходило быстро, как в немом кино, которое Рива смотрела давным-давно, ещё девочкой. Посадив её и Рафика в кабину, Антанас перескочил через забор и скрылся в гараже. Через пару минут он появился с канистрой в руке. Забросив канистру в кузов, Рашис нажал на газ. За городом он сорвал повязку, но не выбросил, а велел Риве на всякий случай спрятать. Из его короткого рассказа Рива узнала, что коммунистом Антанас стал ещё до прихода русских. В 40-м его направили в Биржай секретарём уездного комитета комсомола. В Каунасе оказался случайно – перед самой войной приехал на партконференцию. Уйти с Красной Армией не успел и, прикинувшись национал-патриотом, примкнул к Альгирдасу. На счастье, в отряде его не опознали. Машину приметил ещё днём, а Риву…

– Я видел, как убили твоего мужа. Сразу решил, что без тебя не уйду.

Им посчастливилось беспрепятственно выехать из города и, опережая немцев, проскочить по пустынным улицам Шауляя, где уже не было советской власти. К концу следующего дня они добрались до Риги. Антанас не бросил Риву и здесь: сумел посадить в идущий на восток эшелон. Ещё не до конца осознав, что ей с ребёнком удалось выскользнуть из цепких лап неминуемой смерти, Рива не могла понять другого: зачем Рашису понадобилось её спасать? Только потому, что они вместе учились, и она ему нравилась? Ответ дал сам Антанас. На перроне, сжимая Риву в объятиях, он зашептал ей в ухо:

– Из-за тебя не женился, Рива. Понимаю, что сейчас тебе не до меня, но ты дождись. Я тебя обязательно разыщу.

После того, что видели её глаза, Рива не могла смотреть на литовцев. Жить с литовцем, даже с таким, как Рашис, лежать с ним в одной постели? После того, как литовец убил её мужа, а другие – сотни евреев? И даже то, что Рашис не такой, что он спас её и ребёнка, а сейчас идёт на фронт сражаться против гитлеровцев, не может ничего изменить. В его жилах течёт та же кровь. Рива промолчала, и Антанас, по-видимому, принял её молчание за согласие. Он улыбнулся.

– Теперь мне будет легче.

Только Риве легче не стало. Ко всем её мукам прибавилась новая. Рива была благодарна Антанасу, готова была сделать для него всё, что в её силах, кроме одного: ответить на его любовь. И даже если сможет себя заставить и станет жить с ним из чувства благодарности, ничего хорошего из этого не выйдет. Оставалось только надеяться, что жизнь сама наведёт порядок, расставит всё по своим местам. Пусть сначала война закончится. И всё же Рива вспоминала Рашиса, а почему – не хотела и боялась думать.

Была уже середина ночи, но Юда не мог подняться из-за стола. Он страшился возвращения в свою комнату, опасался оставаться один. Словно понимая, а скорее всего ощущая женским сердцем его состояние, сердобольная Анфиса вытащила старый матрац, принесла потёртое солдатское одеяло. Но даже будь у него королевская постель, он всё равно не мог бы уснуть. И лёжа с открытыми глазами, Юда знал, что впереди у него ещё много бессонных ночей. Вновь и вновь он вспоминал, как

важничал, чувствуя себя хозяином жизни, как издевательски хохотал, когда Давид, его шурин, прислал сертификат – разрешение на въезд в Палестину. Как кичился перед Диной, несмотря на просьбы подумать об отъезде, не обращая внимания на её заплаканные глаза. Как радовался, когда случившееся с тёщей несчастье сняло с повестки дня этот вопрос. А когда начал прозревать – было уже поздно. И вот наказание: дети и Дина погибли страшной смертью, а ему с этим жить; до конца своих дней оставаться с этой чудовищной виной, которую не искупить. Осознав это, Юда понял, что всё кончено, что никто его больше не ждёт, и ему самому нечего ждать от жизни. И тогда он завыл. Подняла голову забывшаяся неспокойным сном Рива, прибежала разбуженная в очередной раз Анфиса, проснулся и широко раскрыл глаза Рафик, а Юда, ни на кого не обращая внимания и не стесняясь, выл пронзительным и скорбным воем, как выла его жена за минуту до того, как пули Альгирдаса Жемайтиса разнесли её голову.

Абстрактная картина на потолке, созданная подтёками воды и грязи, которую привык разглядывать по утрам Юда Айзексон, перешла по наследству к новому обитателю его комнаты, а сам Юда переехал к Риве. Его мучила бессонница, а если удавалось забыться, начинались кошмары: Альгирдас Жемайтис, смеясь, совал ему в руку револьвер, показывал на Дину и приговаривал:

– Убей эту старую ведьму!

Хотя Дина во сне была молодой и красивой. Юда сознавал, что до безумия недалеко. Но главным было то, что его состояние понимала и чувствовала Рива. И сказала, как о чём-то само собой разумеющемся:

– Переезжайте к нам, Юда. Нельзя вам быть одному.

Так они стали жить вместе, как будто заранее обо всём договорились, и теперь им оставалось только осуществить задуманное. Может быть, потому что они давно нравились друг другу, хотя Юда был старше. Рива не хотела изменять своему Арончику, тому тоже было не по душе внимание, которое деловой партнёр оказывал его жене, и дружеские отношения свернулись. Но Рива продолжала занимать мысли Юды, ради неё он готов был поступиться обыкновением иметь на стороне дело только с литовками или польками. Потом пришли Советы, и Юда потерял Риву

из виду. Но не забыл. Он никогда не забывал красивых женщин и страдал, если знакомство не перерастало в нечто большее. Так, как совсем ещё недавно страдал из-за Дарьи.

Но если раньше Юда легко сошёлся бы с Ривой и так же легко расстался бы с ней, переключившись на другой объект страсти, то теперь он постоянно ощущал в сердце невыносимую тяжесть раскаяния. До войны ему хотелось быть властелином, перед которым преклоняется жена, трепещут сыновья, и наверно, поэтому недостаточно любил Дину, мало уделял внимания детям; ссылался на дела, а сам ни в одной поездке не пропускал юбку, да и в Каунасе находил развлечения. Теперь же Юде хотелось верить, что у него вновь появилась семья, и он благодарил Бога за этот подарок, отдавая Риве и Рафику всю щедрость своей изрядно настрадавшейся души.

На этом можно было успокоиться, но Юда употребил все силы на то, чтобы не просто выживать, а нормально жить в голодном и холодном тыловом Илецке. Старался, как никогда в жизни. Добившись увольнения из финотдела, он сумел попасть в экспедиторы и, хотя работа была тяжёлой, быстро оброс нужными связями, демонстрируя такую хватку и ловкость, каких не знал за собой прежде, хотя и тогда был не промах. Приходилось рисковать, и, по законам военного времени, это могло очень плохо закончиться для Юды. Рива со страхом смотрела на продукты, которые он приносил, догадываясь, какой ценой они достаются. Перепадало и Анфисе, но та лишь благодарила, вслух желая новому квартиранту всяческого здоровья и благ, и не сильно задумываясь над тем, где он достаёт еду, которую она даже в мирное время нечасто видела у себя на столе. В её представлении еврей тем и отличался, что мог пролезать в игольное ушко и добыть из-под земли сокровища.

Юда и сам понимал, что ходит по краю. Он и так был под подозрением, не раз хотел всё бросить, но представив себе голодных Рафика и Риву, продолжал свою деятельность. И была ещё одна проблема, из-за которой Юда не знал покоя. Проблема требовала решения, а у него не хватало смелости её решить.

Альгирдас Жемайтис, убийца Дины, возникал в его снах не случайно. Альгирдаса Юда знал хорошо. Этот литовец прекрасно ладил с евреями, мог переброситься словечком на идиш, а младший брат его, Ка́зис, сразу же после

прихода русских вступил в комсомол. Да и сам Альгирдас был у новой власти на хорошем счету. Если бы не рассказ Ривы, Юда не поверил бы, что Альгирдас стал убийцей. Но он им стал, и просыпаясь после очередного кошмарного сна, сжимая кулаки, Юда воображал, как возвращается в Каунас, конечно же, с винтовкой, находит Жемайтиса и мстит. Только для того, чтобы возвратиться в Литву с винтовкой, надо было попасть на фронт, а чтобы добраться до Альгирдаса и убить его, надо было научиться стрелять, а значит – пойти на войну. Но Юда боялся войны и лишь в мечтах становился мстителем. Он сознавал своё ничтожество, ненавидел себя, но ничего не мог с собой поделать. И что только нашла в нём Рива?

А Рива нашла в Юде то, в чём крайне нуждалась: опору. Она видела его недостатки, знала, что он не герой, и не обольщалась, но ей так не хватало мужского плеча. Сойдясь с земляком и старым знакомым, Рива стремилась найти защиту от возможных посягательств Антанаса Рашиса, если тому удастся её разыскать. О том, что Антанас может объявиться, Рива думала с содроганием и одновременно с каким-то новым, непонятным ей чувством. Ничего подобного она не испытывала ни с покойным мужем, ни сейчас, живя с Юдой. Рива поймала себя на том, что не только перестала со страхом ждать появления Рашиса, а напротив – думает, как всё это произойдёт. Если бы Юда предложил брак, пусть даже советский, в загсе, Рива согласилась бы с радостью. Это помогло бы ей справиться с душевным разладом. Но Юда не предлагал.

Айзексон знал, что жив и относительно свободен до тех пор, пока в продовольственной схеме, где он был задействован, не случится сбой. А в том, что это может раньше или позже произойти, он почти не сомневался. Поэтому, получив вызов в милицию, Айзексон был готов к самому худшему. Как раз накануне с Ривой случилась истерика. Она требовала, чтобы Юда прекратил свои дела.

– Но это же ради тебя и ребёнка. Кроме вас, у меня никого нет.

– Умоляю тебя – перестань! Не нужна мне твоя колбаса! Как-нибудь проживём. У меня теперь другая работа.

Рива больше не мыла полы. Её перевели учётчицей в цех.

– Конечно, – спокойно, но уже начиная раздражаться, сказал Юда. – Твоя работа накормит. Между прочим, я сам ничего не делаю. Всё через людей.

– Если их возьмут, ты будешь там же, где они. Прекрати, пока не поздно.

Юда знал, что Рива права, много раз давал себе зарок не подставлять больше голову – и всякий раз находил отговорку. И дождался. Интересно, почему его вызывают, когда нет никакой проблемы придти за ним ночью? Или это у них приём такой - запутать человека?

Юда ожидал, что либо его заставят рассказать о своих знакомствах и объяснить, откуда он берёт сыр и масло, в то время как у других челюсти сводит от голода, либо сначала арестуют, а потом уже будут пытать. У входа он предъявил повестку, и дежурный, едва взглянув, показал вглубь коридора:

– Третья дверь налево.

Не зная, к чему готовиться, но на всякий случай готовясь к плохому, Юда переступил порог. Сидевший за столом молодой военный, чин которого Айзексон не смог определить, кивнул в ответ на приветствие и сказал по-литовски:

– Присаживайтесь.

Юда осторожно сел на стул. Меньше всего он ожидал услышать в этом заведении литовскую речь.

– Старший лейтенант Антанас Рашис, – представился военный. – Уполномоченный по набору в Литовскую дивизию.

Эти слова ещё больше сбили с толку Юду. Он даже забыл о том, как мечтал отомстить Альгирдасу Жемайтису. Какая дивизия, какой фронт? При чём тут он? Почему его вызвали: неужели этот уполномоченный с каждым будущим солдатом отдельно беседует? Как его зовут? Антанас Рашис? Не тот ли это Рашис, который спас Риву? Спас! Так может быть, он здесь из-за неё? Ведь Рива не скрывала, что этот Антанас признался ей в любви.

Даже догадливый Юда не знал, до какой степени он прав. Рашис действительно приехал в Илецк из-за Ривы, и был он вовсе не уполномоченным по набору, а сотрудником особого отдела формируемой Литовской дивизии. Имя, фамилию и место пребывания Ривы Антанас увидел у себя в отделе, в служебном списке эвакуированных из Литвы. Пользуясь довоенными партийными связями, он сумел получить отпуск для поездки в Илецк, но в Чкалове Рашиса ждал сюрприз. Уточняя в НКВД данные Ривы, он услышал:

– Да, есть. Кауфман Ревекка Евсеевна. Сожительствует с неким Айзексоном Юделем, который у нас на особом учёте, как бывший военнослужащий польской армии.

– Какой польской армии? Довоенной?

– Армии Андерса.

– А сам он откуда?

– Из Каунаса.

Это был серьёзный удар, которого Рашис не ожидал. Сожитель! Но они же объяснились с Ривой! Или нет? Или ему только показалось? Юдель Айзексон? Да, был такой еврейский воротила в Каунасе. Неужели он?

Нужно было ехать в Илецк и разбираться на месте. По дороге у Рашиса созрел план выдать себя за уполномоченного по набору. Правда, мандата, подтверждающего статус, у него не было, зато имелось удостоверение особиста. Используя его, проще всего было бы загнать Айзексона в лагерь. Всего лишь несколько слов в том же Чкаловском НКВД, и находящийся на особом учёте соперник отправляется на лесоповал. Другой на месте Рашиса так бы и поступил, но Антанас боялся появиться перед Ривой в роли злого ангела – виновника ареста этого неизвестно откуда возникшего на его пути Юделя. Та могла обо всём догадаться. Иное дело – армия. Тут не придерёшься. Идёт набор в Литовскую дивизию. Мобилизуют выходцев из Литвы. Вот Айзексон и будет в их числе.

– А мы с вами земляки, – продолжал по-литовски Рашис. – Я ведь тоже из Каунаса.

«Всё обо мне знает, – подумал Юда. – Разве от них куда-нибудь денешься»?

Как бы подтверждая, что ему известно всё, в том числе и то, что Юда не один, Антанас сообщил:

– А с Ревеккой я в гимназии учился. Мы вместе бежали из Каунаса.

Эту историю Юда уже знал и со страхом думал, что же будет дальше.

– Вот что, товарищ Айзексон, – перешёл на официальный тон Рашис, – сейчас особым правительственным постановлением формируется Литовская дивизия. Вы уже служили у Андерса, значит, с армией знакомы. Не вижу препятствий для вашего призыва в 16-ю стрелковую Литовскую дивизию Красной Армии.

И налегая грудью на стол, приблизив лицо к собеседнику, добавил:

– Ведь вы еврей, не так ли? Вот и сможете отомстить за своих близких, за свой народ.

Следовало сразу же показать справку о том, что он комиссован из армии Андерса и поэтому к военной службе непригоден. Что-то мешало Юде залезть в карман, где лежала эта бумага. Но представив себе заснеженное поле, вой снарядов и бегущих в атаку бойцов (нечто подобное он видел недавно в кинохронике), Юда тотчас же вытащил спасительный документ. Поглядев на справку, Рашис понял, что у него остаётся последний, единственный козырь. Неужели всё напрасно? Ему стоило большого труда договориться в милиции, чтобы Айзексона вызвали именно сюда, а не в военкомат, где Рашис не мог выдать себя за уполномоченного. И теперь, из-за того что этот Юдель так хитёр и обзавёлся справкой, всё рухнет? Он встал и, обойдя стол, присел рядом с Юдой.

– Я видел, как убивали вашу семью, – проникновенно заговорил Антанас. – Это было страшное зрелище. Поверьте, я ничего не мог сделать. Меня самого убили бы, и я не спас бы Риву. С такой справкой, как эта, вас, конечно, не призовут, и вы останетесь в тылу, а на фронт, чтобы мстить, пойдут другие. Вы не представляете, сколько евреев-добровольцев записалось в Литовскую дивизию. Её по праву можно назвать литовско-еврейской. Среди этих людей были такие же, как вы, негодные к военной службе, но они добились, чтобы их взяли. Что ж, если вам всё равно – оставайтесь дома. Красная Армия отомстит за ваших родных, но не вы. – И помедлив, добавил, – Если бы с моими сделали такое – я бы умер от стыда, укрываясь за женской юбкой.

Эти слова Рашис мог бы не произносить: Юда и без того чувствовал себя скверно. Разве он не мечтал ночами о возмездии, не представлял себе, как отомстит за Дину и сыновей? А теперь его пристыдили за трусость. И кто стыдит? Литовец! Литовец внушает ему, еврею, что он должен мстить. Какой позор! Какой жуткий фарс, какая нелепость!

Но пристыдив вслед за Рашисом себя, Юда вспомнил о справке, которую всё ещё держал в руках старший лейтенант. Справка! Справку, конечно, жаль! С ней он чувствовал себя уверенно. Но может, и в самом деле – лучше на фронт, чем ждать, пока арестуют и расстреляют. По закону военного времени. В этот раз обошлось: вызвали по другому поводу, а что будет в следующий? И когда это

может случиться? Да хоть завтра. Тогда лучше в армию – в конце концов, ловкому человеку и там можно устроиться. Устроился же он у Андерса.

Те же аргументы Юда привёл вечером Риве. Вначале он молчал о том, что Рашис в Илецке. Зачем вызывали? Потому что по всей стране разыскивают уроженцев Литвы для мобилизации в Литовскую дивизию. Но поскольку Юду призвать не могут – есть медицинский документ – ему предложили вступить добровольцем. Завтра утром он должен быть в военкомате.

Глаза у Ривы покраснели, и она, словно что-то чувствуя, спросила:

– А с кем ты разговаривал?

Интуиция подсказала Юде, что темнить нельзя. Надо говорить правду.

– С твоим знакомым. Антанасом Рашисом.

– Антанас? – какая-то новая, странная интонация, появившаяся в голосе Ривы, смутила Юду. – Он здесь? Зачем? Что ему нужно?

Это был совершенно лишний вопрос, ибо Рива прекрасно знала, что нужно Антанасу. Её тоже удивил собственный изменившийся голос, но она сразу же нашла объяснение: Рашис непременно её разыщет, начнёт домогаться, а Юды не будет, он уходит на фронт. И всё же, почему она так разволновалась? Разве она не поставила преграду, не сказала себе, что после пережитого в Каунасе никогда не сойдётся с литовцем? Даже если он спас ей жизнь. И, несмотря на это, Рива часто вспоминала ту ночь, когда Рашис вывел её и Рафика из гаража и усадил в грузовик. Убеждая себя, что никогда не согласится на союз с бывшим одноклассником, она старалась забыть, как хорошо и спокойно ей было рядом с Антанасом, как взволновало его признание, и как она долго проплакала в эшелоне, после того как они расстались в Риге.

Связь с Юдой должна была избавить Риву от мыслей о Рашисе, но они упрямо возвращались, эти мысли. Да, Юда нравился Риве, но Антанас вызывал в ней совсем другие чувства, волновавшие и пугавшие одновременно, и, узнав о том, что Рашис в Илецке, она поняла, что свидание с ним неизбежно, и что она ждёт и хочет этого свидания, напрасно стараясь убедить себя в обратном. Занятая своими переживаниями, Рива забыла о Юде, и в себя её привёл его негромкий спокойный голос:

– В восемь утра нужно быть в военкомате. Помоги собрать вещи.

– Значит, ты уже всё решил? А как же я?

Даже Риве Юда не мог признаться, что согласился пойти на фронт прежде всего из-за страха расплаты за свою коммерческую деятельность, который пересилил в нём страх быть убитым в бою. Поэтому он ответил, стараясь придать голосу решимость:

– Я должен отомстить за свою семью.

– Ты? – с сомнением переспросила Рива. – Какой из тебя солдат, Юда? Тебя же сразу убьют.

Юда не поверил ушам. Рива слово в слово повторила то, что в своё время ему говорила Дарья.

– Хотя, – продолжала Рива, – если ты действительно этого хочешь, иди. Разве важно, что я думаю? Ведь я тебе не жена.

Юде показалось, что последние слова Рива произнесла с досадой. А ведь он действительно не предлагал ей выйти за него замуж. Почему? Не потому ли, что даже в постели с Ривой он вспоминал её жуткий рассказ? Не в этом ли всё дело? Нет, пока он с Ривой, у него не будет покоя, только напоминание о погибших: постоянный ночной кошмар. Надежда, которой он жил – надежда обрести новую семью рушилась. Если Рива хочет узаконить отношения, а он не может этого сделать, то Литовская дивизия – выход. Одиночества ему не вынести, и раньше или позже в какой-нибудь конуре, именуемой комнатой, найдут его труп.

На следующее утро Айзексон отправился в военкомат. За плечами висел вещевой мешок, а в голове роились невесёлые мысли. Рива плакала, но не стала его удерживать, и это задело Юду. Но, может быть, она права, и виноваты его сомнительные дела? Испытала облегчение? Возможно, но, скорее всего, сама поняла, что их отношения подходят к концу. Что напрасно она ждёт от Юды того, на что он не может решиться.

Погружённый в размышления, Юда случайно задел плечом идущую навстречу женщину и обернулся, чтобы извиниться. Обернулась и женщина, и Юда увидел перед собой немного скуластое со слабой монгольской примесью лицо Дарьи. Но это было не всё. Рядом с Дарьей стоял инвалид. Точнее, не стоял, а сидел на прямоугольной доске, маленькие колёса которой позволяли, помогая руками, передвигаться по тротуару. Инвалидов было много, Юда успел повидать всяких, но такого ещё не видел. У

человека на доске не просто не было ног – не видно было даже обрубков. Это была верхняя часть туловища с лицом, отрешённо и безучастно глядевшим в сторону. Юде стало страшно, он продолжал смотреть на Дарью, не произнося ни слова. Он, который никогда не терялся и умел говорить, был не в состоянии открыть рот. Но Дарью уже ничем нельзя было удивить. Без всякого выражения на лице, словно они расстались вчера, она негромко сказала:

– Здравствуй, Юда.

У Юды перехватило дыхание. Минуты через две, кое-как совладав с собой, он, стараясь улыбнуться, выдавил:

– Здравствуй.

– Вот, – не меняя интонации, продолжала Дарья, – вчера вернулись из Челябинска. Это Федя, мой муж. Живой. Он там в госпитале лежал.

Федя не шелохнулся. Теперь он смотрел в землю. Нужно было что-то ответить, но Юда молчал. Первый раз в жизни он не знал, что сказать. Но Дарья и не ждала ответа.

– Значит, ты здесь? Или, – она посмотрела на заплечный мешок Юды, – уезжаешь? Куда?

– В военкомат иду. На фронт, добровольцем.

- На фронт?! – вскинулась Дарья, и Юда заметил, как изменилось её лицо. – Ты?!

– Моя семья погибла в Каунасе.

Дарья не ответила. Она перевела взгляд на мужа, и Юда понял, что хотела сказать Дарья. Он представил себя на войне, где каждую секунду можно стать таким, как этот Федя. Нет, пусть уж лучше сразу убьют.

Внезапно Дарья приблизилась, и не успел Юда понять, что происходит, как женщина притянула его к себе и обняла. То, что это настоящее страстное объятие, Юде не надо было объяснять. Не произнося ни слова, Дарья повернулась и пошла дальше. Муж, стуча колёсами, двинулся за ней.

Первым порывом Юды было броситься вслед, и он непременно сделал бы это, если б мог сдвинуться с места. Но его ноги словно приросли к земле, и он стоял, оглушённый не только объятием Дарьи, но и внезапным озарением. Поступок, который он намерен совершить – величайшая глупость, и надо немедленно возвращаться домой. Не случайно он встретил Дарью, а рядом с ней – человеческий обрубок. Это знак.

Поправив мешок, Юда двинулся назад. Почему, в самом деле, он не женится на Риве? Боится, что не будет

спокойно спать? Пусть тогда вспомнит Фёдора! А его дела, за которые могут?.. Чёрт с ними! Рива права! Немедленно всё прекратить! А с Ривой – завтра же в загс.

Воспрянув духом, Юда прибавил шаг. Навстречу шёл военный, и Айзексон не обратил на него внимания. Мало ли военных во время войны можно встретить на улице? Соображая как говорить с Ривой, он прошёл мимо, но военный окликнул его:

– Айзексон!

Юда обернулся. На него смотрел Рашис.

– Я иду в военкомат. Мне кажется, нам по пути.

– Вряд ли от меня будет много толку на фронте, товарищ Рашис. В конце концов, я освобождён от военной службы.

Но Рашис был готов к такому повороту. Он уже всё обдумал.

– Да, освобождение у вас есть. Но его надо подтвердить, – сказал Рашис, хотя только вчера говорил, что с такой справкой Юду не призовут.

– Как это подтвердить?

– Вы освобождены медкомиссией польской армии. Этого недостаточно. Вам надо пройти нашу медкомиссию. Здесь, в военкомате Илецка, поскольку вы призываетесь в ряды Красной Армии.

– Но разве я не…

– По возрасту и положению, как советский гражданин, вы подлежите мобилизации. Как уроженец Литвы, направляетесь в Литовскую дивизию. У вас есть возможность добровольно пойти на фронт, но если вы отказываетесь, я оформляю ваш призыв и направляю на медкомиссию. Дальнейшее зависит от её решения. Вам придётся пойти со мной.

В военкомате Рашис усадил Юду на стул перед дверью с табличкой "Медкомиссия", а сам прошёл к военкому. Айзексон этого не видел. Он думал о другом. Конечно, этот литовец здесь из-за Ривы. Ладно, если так хочет, пусть берёт её себе. Утренняя встреча вдохновила Юду. Может, не всё ещё кончено с Дарьей? Но как остаться в Илецке? Договориться с Рашисом? Попытаться убедить его, что он, Юда Айзексон, всё понимает и не будет мешать? Но не совершит ли он по отношению к Риве предательство? Вряд ли… Как изменился её голос, когда она услышала, что этот Антанас здесь! Юда знал женщин и хорошо улавливал интонации. Неужели Рива была с ним лишь потому, что

нуждалась в мужчине на время, пока настоящий герой её романа не даст о себе знать? Глупейшее положение…

Айзексон был уверен, что со справкой из армии Андерса ему нечего опасаться, и медкомиссия в военкомате – чистая формальность. Он не знал, что председатель комиссии уже получил указание, потому что Рашис не терял времени зря. Он заявил военкому, что Литва была оккупирована очень быстро, немногие сумели бежать, поэтому каждый выходец из Литвы – потенциальный кандидат в Литовскую дивизию, и Юделя Айзексона необходимо призвать. Документы Антанаса произвели впечатление на военкома, и он не стал копаться в анкете освобождённого по спецамнистии и комиссованного Юды. Поэтому Айзексон решил, что ослышался, когда ему объявили:

– Годен к строевой. Поздравляем с призывом в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии.

– Но у меня справка об освобождении из польской армии, – пробормотал придавленный услышанным Юда.

– По нашим критериям вы подходите. Служите достойно. Бейте врага.

Выйдя в коридор, ошеломлённый Юда ожидал увидеть Рашиса, но того нигде не было. В тот же день Айзексона с группой призывников отвезли в Чкалов, а двое суток спустя отправили в Балахну, где формировалась Литовская дивизия. В дороге у Юды было время подумать, и он вдруг вспомнил Книгу пророка Йоны, которую на Йом Кипур читали в синагоге. Даже в пучине моря не удалось Йоне уклониться от возложенной на него миссии. На что же рассчитывал он, Юда Айзексон? Мечтал о мести, а сам только искал, как бы увильнуть. Вот и получил. На Дарью засмотрелся, расценил её порыв как намёк, а Дарья не намекала. Она прощалась. Навсегда. Да, её муж – обрубок, но она его никогда не бросит, до самой смерти с ним будет. Рашис любит Риву, потому и постарался отправить соперника на фронт, но и Рива к Рашису неравнодушна. Значит, всё правильно, его место там, куда он сейчас направляется; и если существует какая-то сила, которая распоряжается жизнью и смертью, она не даст ему погибнуть, приведёт в Литву, где он разыщет Альгирдаса Жемайтиса и отомстит.

Яков Шехтер

Король Лимны

Элимелеху приснился страшный сон. Разбойники окружают его обоз, рубят топорами возниц, никого не жалея, его самого хватают, ведут к атаману. Деньги, рычит атаман, давай деньги. У Элимелеха уже все отобрали, но атаман не унимается, грозит пыткой, муками. Элимелех выворачивает карманы, мол, пусто, его сбивают ударом по голове на землю, двое хватают за руки, а третий, уперев колено в грудь, выкалывает глаза, просовывает конский волос и начинает изнутри пилить переносицу. О, Боже!

Элимелех поднялся из постели, омыл руки и долго стоял у окна, прижимая лоб к холодному стеклу. Переносица ныла, а привидевшееся выпукло и четко стояло перед мысленным взором, не желая уходить. Элимелех ушел в свой кабинет, зажег лампу и до рассвета читал псалмы, пытаясь успокоиться.

Для чего Всевышний посылает человеку такой сон, что хочет сказать, на что намекнуть? Это не было простое наваждение, обыкновенный ночной морок, навеянный плохой едой или дурным вечерним настроением. Сон был слишком ярким, запомнился целиком, в самых мельчайших деталях. Стоило прикрыть глаза - и харя атамана, со зверино оскаленным ртом, тут же вставала перед глазами. И переносица ныла, не переставая, словно и в самом деле кто-то пытался пилить ее изнутри. О, Боже!

В Лимне, селе в ста верстах от Львова, Элимелеха называли сокращенно Мелех, то есть, король. Он и в самом деле чувствовал себя королем, единоличным владельцем крупного торгового дела, большого дома на центральной улице, роскошного выезда. Не один барчук из соседних поместий с завистью оглядывал ухоженных, лоснящихся коней, запряженных в покрытую блестящим лаком коляску, на которой Мелех выезжал вместе с женой и двумя дочерьми.

Шли годы, и с годами дела шли все лучше и лучше. Мелех не боялся надвигающейся старости, вернее, он просто не замечал ее приближения. В его жизни ничего не менялось, память была по-прежнему цепкой, зрение острым, ну, разве что ходить стало тяжелее. Он уже не бегал вприпрыжку, как

в давешние годы, а вышагивал степенно и чинно, что, впрочем, и подобает солидному купцу.

Своих дочерей, Гони и Риву, он удачно выдал замуж за хороших парней, детей состоятельных родителей. И приданое положил за ними более чем щедрое. Чуть не все состояние Мелеха ушло на это приданое. А для чего пожилому человеку деньги? Пусть они лягут в фундамент счастья дочерей, их детей, его, Мелеха, внуков.

И хоть от одних и тех же родителей были сестры, а получились совсем разные. Всевышний одарил Гони разумом, а Риву наградил сердцем. И счастливы, поэтому, они были по-разному. Внуки росли, внучки хорошели, не за горами виднелись их свадьбы, а Мелех по-прежнему занимался торговыми делами, и по-прежнему богател. И вот этот сон, посреди спокойного благополучия! К чему, для чего, за что?

Когда окончательно рассвело, Мелех постарался выкинуть из головы дурные мысли. Чему быть, того не миновать. Зачем тревожиться о бедах, которые еще не наступили? Доберемся до реки, подумаем о броде.

С той ночи, с того сна покатилось, полетело вверх тормашками благополучие и покой короля Лимны. Сначала умерла жена. Внезапно, посреди завтрака. Вдруг замерла, с чашкой в руках, словно подавившись, окинула Мелеха удивленным взглядом, и повалилась лицом в салат.

Несколько недель после похорон Мелех ходил сам не свой. Хупу им поставили, когда ему было шестнадцать, а ей чуть меньше. Сорок лет вместе, каждый день, каждую ночь. Он уже и помыслить себя не мог отдельно, без жены. Ее постоянное, неизменное, тесное присутствие казалось таким же естественным и необходимым, как дыхание или небо над головой. И вот, ее не стало…

За что? Чем провинилась перед Всевышним эта женщина, чем так разгневала Судью Праведного, что Он отрезал ее от жизни одним быстрым движением, словно кончик огурца. Кто может дать ответ? И существует ли он вообще?

Привыкнуть к этому, поменять шкуру, походку и способ совместно обдумывать все решения казалось невозможным. Но за первый месяц одиночества Мелех приловчился и спустя два полностью вернулся к жизни. Калечной, убогой, но все-таки жизни.

Беда не приходит одна. Смерть жены открыла дверь, и несчастья, словно зеленые навозные мухи, ворвались в дом короля. Пожары, кражи, подставы, обманы, разбойные

нападения потянулись сплошной вереницей. Не прошло и года, как в одно ненастное утро Мелех понял, что полностью разорен. От былого богатства не осталось ничего: товары, склады, дом, утварь, даже драгоценности покойной жены – все, все унесло потоком бедствий.

За свою долгую деловую жизнь Мелех не раз бывал на грани разорения и два раза даже переступал его черту, но всякий раз возвращался. С его опытом, сметкой и главное связями, это было трудно, но вполне реально. И хотя сейчас дело зашло дальше, чем когда-либо, Мелех не утратил присутствия духа, а только с большей тщательностью принялся озираться по сторонам в поисках спасительной сделки.

И был с ним Бог, пришла возможность, жирная, точно наваристый чолнт. Осталось лишь добыть восемьсот червонцев и закрутить в обратную сторону колесо удачи. Мелех не сомневался, что быстро добудет нужную сумму, и был страшно удивлен, когда бывшие партнеры, старые друзья и хорошие знакомые под разными предлогами отказались ссудить его деньгами. Он никак не мог взять в толк, что происходит, пока один из приятелей, видимо, пожалев состарившегося короля, выложил все, как есть.

– Дряхлый ты конь, кто на тебя поставит? Отбегал ты свое, пора на отдых.

Мелех ничего не понял. Он чувствовал себя точно так же, как десять, двадцать, тридцать лет назад: полным сил и куража. Но приятель не согласился.

– К зеркалу, к зеркалу подойди.

По привычке религиозных евреев Мелех действительно избегал смотреться в зеркало. Не мужское это занятие, себя изучать, оно больше пристало невестам на выданье да молодящимся вдовам. Но на сей раз, он решил последовать совету приятеля. У Мелеха было маленькое круглое зеркальце из полированного металла, которое он использовал для проверки накладывания головного тфиллина.

Из глубины холодной блестящей поверхности на него глянул седой старик.

«Неужели этот морщинистый дед – я?» – с удивлением подумал Мелех. Его представление о себе никак не вязалось с тем, что показало зеркало. Постояв еще несколько минут, он понял, почему никто не дает ему денег. Старик из зеркала мог помереть в любую минуту, протянуть ноги от боли и безысходности, начертанных на его лице.

И тогда он пошел к дочерям. Мелех намеренно не хотел их тревожить, ведь у каждой были большие семьи, и дел невпроворот. Дочери растили его внуков, продолжение Мелеха на этой суетливой земле, и отрывать от них по кусочку он ни за что не хотел. Однако деваться было некуда.

О, лучше бы он воздержался этого шага. Лучше бы до смерти заблуждался, думая, что уж кто-кто, а дети его всегда поддержат. Увы, ни Гони, ни Рива не дали ему ни гроша. Гони выложила весь список расходов и доходов, доказав, что она сама еле сводит концы с концами. А Рива со слезами на глазах объявила любимому папочке, что денег нет. Нет и все.

Да, он понял, да, он согласился поискать другой выход, да, разумеется, деньгами распоряжаются мужья и говорить надо с ними, но, вернувшись в каморку, где теперь жил, и усевшись за пустой, голодный стол, он заплакал, прижимая пальцами саднящую переносицу.

На следующий день группа хасидов отправлялась в Садигуру, к ребе Исроэлю, Ружинеру. Еще год назад Мелех нанимал балагулу с большой телегой, запряженной двумя битюгами, усаживал в нее десяток хасидов, а сам гордо возглавлял процессию, развалившись в своей крытой лаком коляске. Теперь же его взяли из милости, по старой памяти, потому что заплатить за проезд он не мог.

– Значит, никто в тебя уже не верит, – подвел итог Ружинер, выслушав прерываемый горестными вздохами рассказ бывшего короля Лимны. – Ладно, ладно. Я дам тебе письмо для моих хасидов во Львове. Они помогут. И вот еще что, как только вернешься в Лимну, немедленно отыщи богобоязненную, добродетельную вдову и женись. Плохо человеку быть одному.

– Ребе, кому я нужен, старик без гроша за душой?

– А вот это уже не твои расчеты. Ты делай то, что тебе полагается делать, а не решай за Того, Кто устраивает браки.

И было, хасиды в три дня собрали пятьсот червонцев, а габай центральной синагоги Лимны, услышав, что Мелех хочет жениться, тут же предложил достойную женщину. Дальше все как-то само собой сложилось, спустя две недели Мелех был уже женатым человеком. Он перебрался в скромный, но уютный домик жены, она вручила ему свои сбережения, триста червонцев, и пошло, затрещало, двинулось в обратную сторону колесо фортуны.

Не прошло и полгода, как Мелех выкупил свой дом, лошадей, обстановку, драгоценности, и вернулся к прежнему образу жизни, только с другой женой. И если честно, с Крейной ему было и проще, и легче, и спокойнее, чем с предыдущей супругой, да упокоится та в мире.

Узнав, что отец вернулся к прежнему богатству, дочери наперебой стали уговаривать Мелеха развестись с Крейной.

– Посуди сам, – утверждала Гони. – Ты уже не молод, разве не разумнее будет продать дом, свернуть дело и перебраться жить ко мне? Провести спокойную старость под моей неусыпной заботой, не думать ни о чем, кроме ежедневной страницы Талмуда? Далась тебе эта чужая женщина? Дай ей денег и отправь восвояси!

– Папочка, – вторила Рива. – Чем плохо тебе будет у меня, рядом с внуками и внучками, а вскорости с правнуками и правнучками. Под силу ли незнакомой женщине заменить тепло семьи, свет домашнего очага? Она, возможно, и хорошая, но мы-то лучше!

Поначалу Мелех и слышать об этом не хотел.

– Крейна моя жена, то есть часть моего тела, моей души. Разве я могу выбросить ее из своей жизни, точно использованную тряпку?

Мягкая вода точит самый твердый камень, а от постоянного повторения даже глупость начинает казаться мудрым изречением. Нет, пока Мелех вовсе не собирался дать развод Крейне, но в плотине его сопротивления возникла небольшая, однако, с каждым днем растущая щель. Осенью, сразу после завершения праздников, выпала ему дорога по делам в Садигуру.

«Всевышний посылает меня к ребе Исроэлю, – решил Мелех. – По его совету я женился, по его совету и поступлю дальше. Сделаю, как ребе скажет. Конечно, главные вещи в своей жизни человек должен решать сам, но если можно посоветоваться с праведником, зачем упускать такую возможность?»

Дело, по которому он отправился в Садигуру, на первый взгляд, казалось невсамделишным, даже надуманным. При обычном стечении обстоятельств он бы просто написал несколько писем или, в крайнем случае, отрядил доверенного работника. Мелех использовал это дело, как повод для поездки к ребе, боясь признаться себе самому, насколько слова дочерей завладели его мыслями.

– А может, они правы? – думал Мелех. – Семейное тепло, забота близких, у этого нет подмены.

Он вспоминал маленьких, сладких девочек Риву и Гони, как танцевал с ними по субботам, возвращаясь вечером из синагоги. Гимн «Шолом алейхем» - «Здравствуйте, ангелы», - он начинал чинно, как и полагается. Но девочки уже приплясывали возле его ног, обхватывали его коленки и быстро сбивали строгое песнопение на веселую плясовую. Ух, как кружились они посреди комнаты, как бегали друг за другом вокруг стола.

– Свечи, свечи не опрокиньте, – улыбаясь, повторяла ныне покойная жена.

– Но почему? – спрашивал себя Мелех. – Почему эти девочки не захотели мне помочь в тяжелую минуту? Ведь почти все, чем они сейчас владеют, нажито с помощью приданого - денег, полученных от меня! Неужели нельзя было вспомнить, откуда все пришло, и поделиться?

Вместо Гони и Ривы он вспоминал сам. Как ходил гулять с девочками и как они спорили, кому держаться за его правую руку, а кому за левую. И как привозил им подарки, возвращаясь из поездок, и как они ахали от восторга, разворачивая пакеты.

Воспоминания всесильны, они способны до неузнаваемости расцветить серую реальность. И чем больше вспоминал Мелех, тем мягче становилось его сердце.

Пустяшное дело нежданно-негаданно принесло солидный барыш, и к ребе Исроэлю Мелех сумел попасть лишь на третий день своего пребывания в Садигуре.

– Сделай вот что, – сказал Ружинер, выслушав сомнения и страхи Мелеха. – Напиши жене и дочерям три письма. Мол, опять не повезло, полностью разорился, даже заложил одежду. Нет денег на обратный путь, пусть вышлют как можно быстрее. И подождем ответов.

Мелех вышел от ребе слегка обескураженный. Он-то рассчитывал, что цадик заглянет за границу реальности и даст точный ответ, как поступить. Предложенную им проверку Мелех мог вполне придумать сам.

«Мог бы-то мог, – сказал он себе, вернувшись на постоялый двор, – только никогда бы не решился на такой фокус. Однако, если праведник велит, нужно выполнять».

Три письма вечерней почтой ушли во Львов, чтобы оттуда попасть в Лимны, а Мелех отправился в бейс мидраш,

открыл Талмуд и несколько дней провел, наслаждаясь учением.

Боже, как славно было сидеть над открытой книгой. Сказал Рав, возразил Шмуэль, Абайе и Рова, рабби Йоханан и Реш-Локиш. Так радостно и спокойно он провел целую неделю, что даже стал задумываться, не бросить ли ему, в самом деле, свои торговые дела и остаток жизни провести в бейс мидраше. Хватит, поработал! Пора подумать о душе и вечности.

Три ответных письма прибыли в один день. Прежде, чем их открыть, Мелех прочитал всю книгу псалмов, омыл руки и чуть дрожащими пальцами, разрезал конверты.

– Досточтимый и уважаемый отец, – писала Гони. – Как ты помнишь, через два месяца состоится свадьба твоей старшей внучки. Мы выдаем ее замуж за сына большого богача из Ровно и, чтобы не ударить в грязь лицом перед будущими родственниками, были вынуждены войти в большие расходы. Увы, но сейчас я могу послать тебе только маленькую сумму для пропитания. Даст Бог, дела наладятся, тогда сможем вернуться к этому разговору. Со всех точек зрения тебе лучше оставаться в Садигуре, рядом с праведником.

– Любимый папочка! – отвечала Рива. – Я так рыдала над твоим письмом, что бумага размокла от моих слез. Что за жестокая судьба, что за безжалостная фортуна?! С первой же возможностью я вышлю тебе старую одежду моего мужа, ты с ним одного роста, и она тебе, вне всякого сомнения, придется впору. Думая о твоем будущем, я абсолютно убеждена, что тебе ни к чему возвращаться в Лимны к этой чужой женщине, а куда правильнее поселиться в Садигуре возле цадика и посвятить себя учебе.

– Мой дорогой муж, – сообщала Крейна. – Я продала свои серьги и выслала тебе деньги. Их хватит на дорогу и одежду. Возвращайся скорее, с нетерпением жду от тебя добрых вестей.

Все было ясно. Более чем ясно. Тем же вечером Мелех отправился в Лимны, предварительно произведя кое-какую покупку. По дороге он обменялся одеждой с балагулой и подошел к дому Ривы в поношенном полушубке и потрепанной шапке. Начать он решил именно с Ривы, желая поглядеть, какое воздействие окажет на его чувствительную дочь вид обнищавшего отца.

В дом его не пустили. Дверь открыл плечистый малый с недобрым лицом.

– Чего надо? – вместо приветствия спросил он.

– Хозяйку повидать.

– Станет хозяйка со всяким нищебродом беседовать. Иди за угол, там вход на кухню, попроси хорошенько, авось покормят.

– Я не голоден, – ответил Мелех, берясь за дверную руку. – Я отец Ривы, немедленно пропусти меня в дом.

– Отец Ривы! – передразнил его слуга. – А ну, пошел вон, наглый попрошайка!

Он хотел захлопнуть дверь перед носом у Мелеха, но тот крепко держался за ручку, не давая сдвинуть дверь с места. Слуга крякнул и коротко ткнул Мелеха кулаком в нос. От удара тот отшатнулся, упал и скатился по ступенькам крыльца на дорогу. Хорошо еще, что полушубок смягчил падение, и уберег Мелеха от пары сломанных ребер.

Удар пришелся прямо в переносицу, и на белый снег закапала, заструилась горячая кровь Мелеха, бывшего короля Лимны. К Гони он уже не пошел, кое-как утерся и поехал домой. Увидев мужа в перепачканном кровью, потертом полушубке, Крейна бросилась его обнимать.

– Ничего, ничего, – шептала она, гладя мужа по спине. – Все от Всевышнего. И все еще устроится. А если не устроится, проживем как-нибудь. Бог не без милости, еврей не без доли.

Мелех едва удержался от слез. Эта чужая женщина прошла все проверки, а его любимые дочки с треском провалились. Сняв полушубок, он достал из-за пазухи футляр, покрытый синим бархатом, и протянул жене. Та вопросительно подняла брови.

– Бери, это тебе.

Крейна раскрыла футляр. На бархате переливались всеми цветами радуги золотые серьги с бриллиантами.

Через два дня, узнав, что отец вовсе не разорился, а наоборот, еще круче идет в гору, Гони и Рива, как ни в чем не бывало, заявились в гости. Мелех скрепился, сделав вид, будто ничего не случилось, и принялся рассказывать о ребе Исроэле. Обманутые его спокойствием, Гони и Рива, как только Крейна отправилась на кухню принести закуски, тут же взялись за старое.

Мелех не сдержался и поднял голос. И что вы думаете, нимало не стесняясь, дочери ответили ему тем же. Прибежавшая на крики Крейна застыла в дверях, от

изумления прикрыв рот рукой. Расстались нехорошо, плохо расстались и с той поры отношения между Мелехом и дочерьми сильно охладели.

Пролетело полгода. Все было хорошо, успешно и правильно. Он жил с доброй, богобоязненной женщиной, которая искренне о нем заботилась, дела шли прекрасно, бессовестные дочери пытались вымолить прощение. И все-таки…

Он так и не полюбил Крейну. Несмотря на все ее достоинства, несмотря на заботу и преданность. Покойная жена прочно заняла в его сердце место, куда могла проникнуть женщина, и даже мертвой не пускала туда посторонних.

Крейна не сумела возместить Мелеху того, чего он ожидал от дочерей. Вернее, никто на свете не мог дать ему то, что могли бы дать эти две неблагодарные свиньи. И чем дальше уходило время, с тем большей отчетливостью Мелех понимал: к прошлому нет возврата, и его отношения с детьми навсегда останутся такими, как сейчас.

Это был настоящий удар от Всевышнего. Беспощадный, безжалостный удар прямо в сердце. Только кровь от этого удара не затихла, как после кулака слуги Ривы, а сочилась, не переставая, каждый день.

«Что я не так сделал? – без конца размышлял Мелех. – Ведь не может справедливый Господь просто так наслать на человека беду?! Чего я не заметил, упустил, не исправил в воспитании девочек? Меня словно ослепили, и какие-то важные вещи, мимо которых, по своей слепоте я прошел, возвращаются теперь, уже в качестве наказания».

Он никогда не предполагал, что будет так страдать из-за дочерей. В его жизни всегда главным был заработок, семью-то ведь надо кормить, потом долг перед Богом, синагога, учеба, выполнение ритуалов, а уже потом семья. И вот теперь всемогущий Бог безмолвно стоял в стороне, наблюдая, как исходит кровью сердце бывшего короля Лимны.

Сладкие, ласковые девочки из далекого прошлого приходили к нему во снах, спорили, кому какая достанется ручка, и танцевали вместе с ним вокруг субботнего стола.

С каждым днем переносица болела все сильнее и сильнее, а сердце по ночам стучало так громко, что Мелех, боясь разбудить Крейну, тихонько вылезал из кровати, шел на кухню, и, упершись лбом в холодное стекло, стоял до рассвета, уставив в темноту невидящие глаза.

Публикации Архива русско-израильской литературы Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление и примечания Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. в №№ 14-18.

*

Сей жидов — спасай Россию! Окропление розог святой водой!

-

Он показал себя с самой ссаной стороны…

-

Две думы, глядь — обвыпить и обдать.

-

Чехов еще черт-те когда писал о криках публики к Эвтерпе, музе музыки: «Камаринского! Наяривай!..». Вкусы не меняются.

-

«Ваш бог — Макарка», как говаривал пьяный купринский подпрапорщик-жидоед.[1]

*

«Напрочуд» (укр.) — на удивление.

-

Есть рационалисты, плюс есть мистики (хасиды и т. д.), а есть романтики, что говорят — мир материален, но есть место чуду. Напрочуду!!!

[1]А. И. Куприн. «Свадьба».

-
Во всяком разе свою прозу постарайтесь выпустить в свет…» (Чехов, Письма)
-
«Это не воззрение, а монпасье» (Чехов, Письма)
*
Был он «человек крепко запьянцовский», как писал Роман Гуль.
Он же: «Мила та сторона, где пупок резан».[1] А уж где обрезан!..
-
Уж какой у нас тут Северный Аккорд — Акко да Нагария…
А где же путешествие из Петербурга в Москву, а оттуда — в Петушки?!
-
Профессор: — Ну, с главным героем все ясно… А что вы можете сказать о героине?
Студент (оживляясь): — О героине? О, героин — неисчерпаемая тема…
*
Неукротимо: укради у пишущих дотоле
стога и август, стол и поле,
стволы сосновые в смоле,
тенистый хвойный дух и спуск к песку,
на берег, где синева, удои йода —
спертая атмосфера, ворованный воздух…
Злаки, стихий (вырастить оду!..),
узаборные колоски!.. Под сенью сенных дев в цвету!..
Украсть у Иры красоту!
-
Проза прет во весь опор. Сообразно натуре сего романа.
-
«Святая Русь мне становится невтерпеж» (Пушкин, из письма к брату).
-
«Где ж мой поэт? В нем дарование приметно…» (Пушкин, из письма к Вяземскому).
-
«Как будто глаза прополоскались! Это Север дарит серебро…» — писал Степан Писахов.

---

[1] Р. Гуль. «Я унес Россию». Т. 1.

*
И в Откровении Иоанна Богослова (в «Апокалипсисе») 22 главы!!!
Редколлегия в «Мастере и Маргарите»: в МАССОЛИТе было 3111 человек. А дач всего 22! Так что всем в наш журнал не влезть.[1]
-
«Поэту важен токмо звон!» Василий Тредиаковский.
-
Пришел я домой выпивши, но ощущая себя трезвым, стал чистить зубы и пасту намазал на ручку зубной щетки — нет, все-таки выпивши…
-
«Заштемпелёванные» пласты культуры (по А. Белому).

*
«Многообилие смысла, сияние, возникающее от сопоставления слов», как в свое время констатировал Вагинов в «Козпесне».[2]
-
И я умолвлю свое «маленькое печатное словечко», как осколочно выражался Н. А. Лейкин.

*
«Что знаменует собой снег?» — вагиновский вопрос из «Козпесни». «Целое море снующих смыслов».
-
Ступай в бассейн — брасс сей!
-
Ме муарный том «Герасим, говори».
-
А на Руси гуляют в ночи, поют козлино! Разнузданных грузнотелых диктериад бьют по рылу!

*
Филофилипики: желеобразная проза — о, плоть медузы! — оплот постсмердернизма. Ржавые железяки серятины с краснотцой — гангренозное расползание бездарного. Обоз золотаря. Шубы съедены, моль повылезла.

---

[1] М. Юдсон работал помощником главного редактора журнала «22» А. Воронеля с 1999 года вплоть до закрытия журнала в 2016.

[2] К. Вагинов. «Козлиная песнь».

*

Все не просто так! Почему Аполлон Аполлоныч едет в автобусе именно на Елоховскую улицу? Потому что там (дом 16) жила любовница Петра Первого Аннушка (Монс), согласно московским легендам — ведьма и ворожея. И там же, на Разгуляе, на углу — дом колдуна Брюса.

*

«Открытое чудо подразумевает скрытое чудо», — учил Рамбан.[1]

-

Как Довлатов писал про поэта Елагина: «А этот человек вполне пристоен и даже, говорят, алкоголик».

-

Питеркантропы и Москвапитеки.

-

С судьбой, так сказать, Роком, надобно робко бороться. Это как у Заходера: «Батраку сказал кулак: — Ну-кася, выкоси! А батрак ответил так: — На-кося, выкуси!»

*

Стихи — дело вкуса, места и времени, даже у великих.

-

В МСЭ тридцатых годов: «Акафисты (греч.) — песнопения в честь христа, богоматери и святых». С малой буквы!!!

-

Странно, что у Христа напрочь отсутствует такое еврейское качество как ирония. В Евангелиях нигде не сказано о его смехе.

---

[1]Рабби Моше бен Нахман (1194-1270). Возможно, имеется в виду «Комментарий Рамбана к Торе», Книга Шмот (Исход) 13:16.

Марсель Мосери

Утренняя история

Было раннее утро, поэтому улица была совершенно пустынной.

Из окна грязного такси, остановившегося на светофоре перед моей машиной, вдруг раздались проклятия, каких я давно уже не слышала:

- Чтобы Господь Бог наказал тебя! Сукин ты сын! Амалек!

На светофоре загорелся зелёный, однако я не стала сигналить, а решила подождать – происходящее заинтересовало меня, и я была готова пожертвовать ради него парой минут своего времени.

Задняя правая дверь такси осторожно открылась, и из неё показалась палка, с какими ходят старики. Палку держала дрожащая старческая рука, покрытая пятнами возрастной пигментации.

Водительская дверь тоже распахнулась, и из неё вышел высокий рыжий мужчина лет сорока, кричавший:

- Ну и грязный же у тебя рот! А ну выходите мне из машины, вонючки!

Первым вылез пожилой мужчина в сером вязаном жилете, прижимавший к себе небольшую коричневую сумку. Он повернулся и протянул руку жене, ещё более старой женщине с растрепанными волосами, помогая ей выбраться из автомобиля. Та продолжала громко ругаться:

- Да чтоб у тебя в жизни больше не было заработка, чтобы дети твои голодали, а жена тебя ненавидела.

Женщина оперлась на руку мужа и с трудом вылезла из такси.

На лице таксиста читалась некая растерянность: старая женщина, вся в чёрном, изрыгает проклятия – не самое лучшее для него начало недели. Тем не менее, он решил сдержаться и промолчать – лишь бы она убралась из такси.

Старушка, наконец, выбралась из автомобиля, чуть не упав – муж успел подхватить её и заворчал уже на неё по-русски: «Ну что ты всё время создаёшь нам проблемы? Я уже не могу…» Голос его дрожал.

Она извинялась: «Прости, прости, не сердись».

Таксист уехал, не забыв напоследок крикнуть старикам: «Две вонючки!», а зелёный на светофоре сменился уже дважды…

По правде говоря, я не великая праведница, поэтому на несколько секунд задумалась (мне ведь тысячу раз говорили: «Не бери тремпистов – неизвестно, чем с ними всё может кончиться»), – ну, ладно ещё взять старика, с ним я как-нибудь слажу, но она, совсем рехнувшаяся… И тем не менее, память о моих бабушке и деде, которых я представила вот так же брошенными, стоящими на обочине, не позволила мне уехать.

Опустив стекло, я спросила: «Куда вам надо?», обращаясь преимущественно к старику. А ругательная старушка не теряла времени: открыла дверцу автомобиля и забралась внутрь.

- Это такси? Какой у вас номер телефона? Теперь всегда будем вызывать.

Я улыбнулась.

- Ну, садись, наконец, – это она уже мужу. – Ты что думаешь – она целый день будет тебя ждать?

Старик тоже потихоньку забрался в салон, сев позади меня и попросив подвинуть моё сидение немного вперёд – чтобы разместить свою палку.

- Большое спасибо, - пробормотал он, - чтоб вы были здоровы.

- Амен, - подхватила и старушка, - чтобы у вас всегда был хороший заработок.

Ну вот, не только ругаться может, но и приятное сказать.

Когда они захлопнули дверцы, я ещё раз спросила: «Куда вам нужно?»

- В поликлинику на улице Герцля, - ответил мужчина.

- Счетчик включили? - поинтересовалась его жена.

- Да это не такси, - воскликнул муж, - я же тебе сказал!

Было видно, что он раздражён и на нервах – устал от жизни с ней…

- Да всё в порядке, - попыталась я сгладить напряжение. – Госпожа, это не такси, я просто проезжала по этой улице.

- Да наградит вас Господь, - сказала женщина и занялась кнопкой поднимания и опускания стекла на своей дверце.

Теперь и я почувствовала сильнейший резкий запах: неопрятная пожилая женщина была заядлой курильщицей и любительницей алкоголя! А вот её муж выглядел гораздо приличнее, был одет аккуратно и чисто.

- Так почему вы поссорились с тем таксистом? – нарушила я молчание.

- Сукин сын! – опять закипела женщина. – Не хотел нас брать, заявил, что мы мерзкие.

- Действительно? – Я взглянула в зеркало заднего вида на мужчину.

- Бросьте, - ответил он, и я отступилась. Что-то в этом мужчине насторожило меня, несмотря на их беспомощное положение.

- Вы замужем? – обратилась ко мне женщина, и не успела я ответить, как она продолжила: - Можете купить мне фалафель? Не сейчас, а ближе к двум часам, ладно?

В зеркало я увидела, как муж положил ей руку на колено и нажал.

- Не слушайте её, - попросил он.

- Извините, - ответила я женщине. – Мы приедем раньше.

- А что-нибудь из одежды? Можете дать мне? У меня 40-й размер.

- У меня 46-й, вам будет велико.

- Прекрасно! – она наклонилась ко мне со своего сиденья. – Я между 40-м и 46-м, когда дадите что-нибудь?

Я не выдержала и рассмеялась. Мужчина тоже начал смеяться, и ситуация разрядилась.

Однако женщина вдруг заплакала:

- Вы надо мной смеётесь, прямо в лицо, а я больна…

- Я смеялась не над вами, извините, если огорчила вас, - произнесла я.

- Так можно получить что-нибудь из одежды?

- Я посмотрю, что у меня есть, и привезу вам.

- Чтоб вы были здоровы, вы – хорошая женщина. Я родилась в Реховоте, знаете мою маму?

- Нет, не знаю, но она наверняка была красивой.

- Красивой? Да не то слово – красивее, чем Луна! – воскликнула женщина.

- Да разве Луна красивая? – подзадорил её муж, и они начали спорить на непонятном мне языке.

Когда мы подъехали к поликлинике, мужчина поблагодарил меня и медленно, как и садился, выбрался из автомобиля. Однако старушка отказалась выходить.

- Ну же, мы ведь пропустим свою очередь, - стал подгонять её муж.

- Ненавижу эту врачиху, - женщина ухватилась за спинку моего сидения. – Помогите мне, она делает мне больно! Врач плохая! Змея! Фашистка! – кричала женщина.

- Ну всё, прекрати, - рассердился муж. – Я так устал от тебя.

- Врач причиняет ей боль? – удивлённо спросила я его и поняла, как ему трудно с женой.

- Да никакая это не «врачиха», а врач, я всегда здесь с ней спорю.

Он протянул жене палку, женщина ухватилась за неё и выбралась из автомобиля.

И тут – жизнь действительно не пикник и не упускает случая напомнить об этом – точно напротив входа в поликлинику, не отойдя и метра от машины, рядом со средней школой, где как раз зазвучала мелодия, означавшая начинающуюся перемену между уроками, - женщина не заметила ступеньку, споткнулась и упала, прямо на лицо…

- Да что ж это такое?! – воскликнул в отчаянии мужчина, подняв лицо к небу. – Сколько же испытаний Ты мне ещё пошлешь? Хватит уже наконец! Хватит!

Я быстро включила сигналы аварийной остановки и вышла из автомобиля. Наклонившись над женщиной, чтобы поднять её, я ещё более остро ощутила её мерзкий запах и даже испытала приступ тошноты. Всё же обхватила её обеими руками и помогла ей сесть на тротуаре.

Женщина посмотрела на свои ладони:

- Наверно, я порезалась о стекло.

Губы её чуть кровоточили.

- Когда же я наконец умру? – продолжал причитать старик.

Проезжавший мимо автомобиль на секунду остановился, водитель взглянул на нашу странную троицу и поехал себе дальше, не потрудившись даже спросить, нужна ли нам какая-нибудь помощь. Понятно: «Моя хата с краю», да тут ещё опасение подхватить «ковид»…

Я покопалась в перчаточном ящике автомобиля и достала пакетик влажных салфеток, протянула одну женщине:

- Протрите аккуратно лицо. Где у вас болит?

Та грустно улыбнулась:

- Хорошая вы женщина, сколько вам лет? Сорок уже исполнилось?

Я снова рассмеялась: вот же неугомонная.

- Мы пропустим нашу очередь, - вернулся к реальности её муж.

- Вы можете идти? – это поинтересовалась уже я.

- Конечно, я что – старуха? А ты купишь мне фалафель?

- Куплю, куплю, - пообещала я, заперла автомобиль, взяла женщину под руку, и наша троица двинулась ко входу в поликлинику.

- Я волнуюсь, - проговорила старушка, - давно не была у этого врача. Он всегда дает мне что-нибудь вкусное. Как я выгляжу?

- Лучше всех в мире, - ответила я и становилась перед входом в здание, а они двинулись внутрь, похоже, уже забыв, что я была с ними...

Я пошла к автомобилю, понимая, что никогда не привезу ей фалафель, потому что меня и так вгоняет в депрессию наблюдать старость собственных родителей, чтобы быть рядом с кем-то ещё таким же.

Подойдя к автомобилю, я взглянула на то место, где упала несчастная старушка. «Сукин сын, - вырвалось у меня, когда я вспомнила, с чего началось это утро. – Сукин ты сын, поганый таксист, да чтоб у тебя колесо прокололось», - уже в полный голос проговорила я, осознав, что вместо него прожила этот грустный час со стариками.

Глубоко вздохнув, я села в автомобиль и подумала, что весь остальной предстоящий мне сегодня день всё-таки ничто по сравнению с тем, что удалось сделать для них за этот час.

Перевод с иврита Александра Крюкова

Дуду Буси

«Я иду!»

Утверждают, что несколько пугающий возглас «Я иду!» придумал и начал использовать ещё в 80–90-е годы прошлого века Барух-«усач» - разносчик мороженого на тель-авивских пляжах «Фришман» и «Гордон».

Его лицо украшали роскошные усы, по горячему песку он расхаживал в резиновых шлёпанцах, мелькавшие подошвы ног – желтая сухая кожа в трещинах. На голове – широкополая соломенная шляпа, защищавшая от солнца его затылок, но не лицо, которое со временем так потемнело и покрылось пигментными пятнами, что Барух выглядел старше своего возраста минимум лет на десять.

Полоса пляжей перед гостиницами «Дан», «Шератон» и «Ренессанс» - вот зона действий этого человека, несущего на плече, опустившемся от тяжести, деревянный ящик-холодильник с мороженым, и охрипшего от бесконечных анонсов своего товара.

В последние месяцы своей жизни Барух частенько вдруг останавливался, поднимал взор к верхним этажам одной из пятизвёздочных гостиниц и отзывался на приветствие Шрины – некогда его возлюбленной, которая оставила его ради богатого еврея-иностранца, ежегодно приезжавшего в отпуск в Израиль и проводившего с ней ночи в одном из апартаментов «люкс» на верхних этажах.

Шрина была красавицей, начиная с детского сада. О ней слагали стихи, превозносившие её лицо и глаза. О Барухе тоже сочиняли стихи, правда, не столь комплиментарные: он родился с усами. Когда акушерка принесла новорожденного показать матери, та ужаснулась. Она несколько часов отказывалась принимать сына к груди и лишь позднее смирилась.

В садике Барух огорчался до глубины души, когда воспитательница на Пурим разучивала с детьми песенку о масках со словами:

«Борода моя длинна - до колена мне она.

И усы мои длинны – настоящие они!»

И после праздника дети всякий раз насмешливо затягивали эту песенку, когда Барух приходил в садик. Тогда мама, отчаявшись постоянно успокаивать сынка и

уговаривать его - таки идти в садик, начала раз в месяц выщипывать ему усы. Дети перестали насмехаться над Барухом, но обида жила в нём ещё годы – до тех пор, пока у всех его сверстников не стал появляться пушок на верхней губе, который они принялись сбривать.

В армии он кое-что придумал: попросил и получил разрешение носить усы. Тщательно растил и ухаживал за ними и чуть было не затмил самого известного усача в армии – старшину Баная с 80-й базы, огромные усы которого – они закрывали не только его губы, но и половину лица – стали уже торговой маркой.

Демобилизовавшись, Барух несколько лет в летние месяцы торговал сладкими плодами кактусов, а осенью – вареной кукурузой. Свой товар он развозил на трёхколёсном велосипеде. Жил, как и раньше, с родителями - его материальное положение определяло и образ жизни. Было очевидно, что ему пора жениться. Он и мечтал встретить хорошую девушку и остепениться, создать семью. Мама продолжала уговаривать его сбрить усы или, по крайней мере, укоротить их настолько, чтобы открылись губы. Барух упрямился.

- Пойми, это же отталкивает женщин. Я бы не вышла замуж за мужчину с такой растительностью на лице. Как можно целоваться через такие заросли?

- Это – мой фирменный знак, - отвечал Барух. – Все знают меня как Баруха-усатого, и это не изменится.

В возрасте 25 лет он получил лицензию и начал продавать мороженое на берегу. Там и познакомился со Шриной, будучи ослеплён красотой её лица и форм. Он приблизился к ней и предложил бананово-шоколадное.

- А если будешь приветлива ко мне, дам погладить мои усы, - улыбнулся Барух и подкрутил их кончики.

Шрина усмехнулась, однако, когда спустя четверть часа Барух вернулся к работе, у него в кармане была бумажка с номером её телефона, а в сердце – надежда.

Шрина жила с родителями, семью братьями и сёстрами в двухкомнатной квартире в Южном Тель-Авиве. Она с детства мечтала о рыцаре на красном «мустанге», который унесёт её в большой мир, ну, а пока, на две-три недели, решила удовольствоваться мужчиной с усами и трехколёсным велосипедом.

Уже на первом свидании, состоявшемся в ресторанчике Мати-матерщинника в квартале Флорентин, Барух почувствовал, что Шрина презирает его, и ставит себя

гораздо выше него самого и этого места, куда он привел её развлечься. У него заняло немало времени, чтобы уговорить её на второе свидание. На сей раз он пригласил её в приличный мясной ресторан в квартале Кэрем а-тейманим. После ужина Барух предложил Шрине поехать в номера…

Ужин девушке понравился, однако перед входом в дешёвую гостиницу на улице А-Яркон Шрина сказала ему: «И думать забудь: я даже не вхожу в гостиницу ниже четырёх звезд». Она повернулась и собралась уходить, но Барух удержал её и снял номер в четырёхзвёздочной гостинице… Утром Шрина поспешила на работу – она была скромной служащей почтового отделения.

Удовольствие стоило Баруху кучу денег – почти половину месячного заработка, и он понял, что не сможет продолжить ни для неё, ни для себя подобные дорогостоящие развлечения. Однако он продолжал ухаживать за Шриной, тогда она разъяснила ему, что они «не подходят друг другу», а затем вообще откровенно сказала, что ищет кого-нибудь материально обеспеченного, кто вытащит её из бедного квартала. «И, кроме того: твои усы мне совсем не нравятся. Сначала это было смешно, но теперь даже неприятно – они так колют мне лицо!»

И тут, несмотря на всю любовь к своим усам, Барух действовал решительно: сбрил их начисто, и его лицо стало двухцветным!

- Чтоб ты так жил! – воскликнула мать, увидев его новый лик. – Ты теперь похож на зебру – лицо у тебя черно-белое…

Однако после двух недель работы на берегу под ярким солнцем и нижняя часть лица Баруха более или менее тоже потемнела. Только вот Шрину не интересовало, какую жертву он принёс ради неё. Она не появлялась на пляже и не реагировала на сообщения, которые он оставлял ей на автоответчике. Когда наш герой узнал, что вместо него девушка подцепила богатенького ухажёра, его сердце упало.

Барух не сдавался: поискал и нашёл домашний адрес возлюбленной и изо дня в день посылал ей открытки и цветы. Он воспевал её красоту и счастливые минуты пребывания с ней. Барух обещал девушке, что через два-три года его материальное положение улучшится, но ответов на свои послания он не получал…

Вроде бы сочувствовавшие Баруху завсегдатаи ресторанчика Мати-матерщинника пытались по-своему подбодрить его в том мрачном состоянии, в котором он пребывал.

- Да она обычная лахудра, гоняющаяся за деньгами, - заявил один.

- Пока не сколотишь первый миллион долларов – и не суйся к ней… А на твоём мороженом это случится ой не скоро, - изрёк другой, не скрывая усмешки.

Барух не спеша допил пиво, расплатился и издал свой клич: «Я иду!»

- Во-во, вали уже, - расхохотались сидевшие за его столом.

Как-то уже осенью, в наступившей темноте прохладной ночи, Барух подошёл к воде, глубоко вздохнул и вошёл в море, а одна припозднившаяся на берегу влюблённая парочка потом утверждала, что слышала крики: «Я иду, я иду!».

Спустя два дня море вынесло на берег его тело.

Перевод с иврита Александра Крюкова

Елена Аксельрод

А я внутри

Вернисаж

Бело-розовая жимолость -
дождиком умытый вьюн,
под вьюном – скажи на милость -
незасыпанный гальюн.

Дом – верней, изба с терасками.
огород тропинка, пруд,
папа с тюбиками-красками.
на кушетке книжек пуд.

За обложкой желтой живопись
Ренуар на пол-листа.
Светится, как наша жимолость,
трех купальщиц нагота.

Прочь, учебники, задачники,
груды зимней ерунды.
Мы купальщики, мы дачники.
целый месяц до беды.

Где же нынче эта жимолость,
эта лодка на мели
и хозяин тот прижимистый,
деревянные рубли?

Где та розовая, белая?
Натюрморт, пейзаж, портрет,
девочка незагорелая
девяти неполных лет?

***

Я не хотела пережить себя,
и вот - переживаю.
Затасканную память теребя,

имен и дат приваживаю стаю.
Наушники меняю и очки,
смешались лица,
снов и слов клочки.

Порог, скребок,
три скользкие ступени,
взбежать по ним
и двери распахнуть.
Шажок, прыжок,
и к папе на колени.
Все ближе, все светлей…
Еще чуть, чуть.

***

Где укрылся, где прячешься ты на своем вернисаже?
Потерялся в толпе, равнодушно тобой восхищенной.
Кто-то речь говорит, с каждым словом мертвее и глаже.
И фуршет – лучше нет – сладкий торт и огурчик соленый.

Прикрываю – последняя – двери безлюдного зала.
Тень твоя еще там, не спешит удалиться со всеми.
Вот и я ухожу до утра, до другого начала,
когда тихо взойдет в легких красках ожившее время.

***

Вселенский хаос за окном.
Надмирное ничто.
А я внутри, и дом, как дом.
На вешалке пальто
Висит и молнией блестит.
Похоже, рядом гром.

***

Сводки событий грубы -
времени сточные трубы.
Вянут, черствеют речи.
Встречи короче картечи.
За очками прячется старость.
Носогубия не осталось.
Может, не так уж плохо?
Просто другая эпоха,
просто другой Камю

новую пишет «Чуму».
(Рифму я утопила,
словно Герасим Муму).

***

Невидимое помело
уносит строк сцепленье.
Мне изменяет ремесло,
верчусь, как шут на сцене.
Значки, крючки – чудачество,
но вдруг из толщи книг
вспорхнет словечко «давеча»,
и озарит на миг
терпенье многолетнее,
глядишь - и старики,
касание последнее
слабеющей руки.
Свисти немое помело.
Твое лицо светлым-светло.

***

Утренний старик
бродит меж старых книг,
снова читает Толстого
неторопливо, за главкой главку,
и поспевает за овощами в лавку
до половины второго.

Вечерний старик,
провожая последний блик
света дневного,
откладывает Толстого,
смотрит глазами усталыми,
мается сериалами,
ужинает кашей вчерашней,
становится меньше и старше.
Про старика ночного
не пророню ни слова.

***

Мне снятся незнакомые
с отчетливыми лицами,
а твоего лица не рассмотреть.
Чужие лезут в комнаты,

раскидывают сеть.
Кто пялится с издевкою,
кто пятится с веревкою,
те корчат мины строгие,
те пляшут козлорогие.
Бессонный сон все длится.
Видать, в тоске о Боге я
и время с тенью слиться.

***

Зажмурилось сознание.
Глаза тут ни при чем.
Достроила бы здание –
проблемы с кирпичом,
ни одного макета,
ни одного наброска,
и лето не пропето,
и тучи шутят плоско.
Ни краски, ни замазки,
ни запаха, ни звука.
Никто стучится в двери,
никто не слышит стука.

Прости

Ф.

Не сердись, не ворчи, не молчи.
Вот тебе запасные ключи.
Первый ключ от дверей забитых,
ключ второй от речей забытых,
третий ключ от бездомной строки.
- Только где ж от ключей замки?

***

Как трудно ты спишь, как ты места себе не находишь.
Как трудно мне слышать признанья, не слышные днем...
Двухместная крепость. Глаза торопливо отводишь,
боишься увидеть тревогу во взгляде моем.

Скорее на волю, скорее садись за баранку,
приемник включим, про богему споет Азнавур.
Конечно, ты скажешь: куда так спешить спозаранку,
не лучше ли к морю спуститься на перекур?

Крутой серпантин, привередливый, как сновиденье,
нам открывает за каждой своей запятой
безоблачной выси распахнутое свеченье,
безбурного моря горячий зеленый настой.
Чернеет асфальт обновленный, дорога бесстрастна,
твой профиль спокойный, надежно пристегнут ремень.
Высокое солнце сопутствует нам не напрасно -
не отпускает на отдых участливый день.

***

Последнее «прощай-прости»
застыло на губах.
Нет слов. Глаза не отвести.
Последний врач в дверях.

Молчит наш опустевший дом
с утра и дотемна.
Мы промолчали жизнь вдвоем.
Теперь молчу одна.

***

Я записала стихи.
Надо тебе показать.
Оглядываюсь. Зову.
Где ты? Во сне или наяву
замешкался? Долго ли звать?
За дверью твоей
пыльных штор лопухи,
застеленная кровать.

***

Как мы сподобились, как мы сумели?
Будто бы отроду, от колыбели.
больше полвека… Разве так можно? -
Помощь не зря назвалась «неотложной».
В комнате прибранной нету порядка.
Брошена книжка, пестреет закладка.
Видишь, свой век без тебя коротаю.
воздух, тобой недопитый, глотаю.

***

Шагнула тень ко мне из темноты.
Как будто ты? Да нет, опять не ты.
Лишь ветки острые из-за оград

в лицо мне лезут, цапнуть норовят,
и кошки врассыпную из-под ног,
собака обрывает поводок.
Обычный вечер. Все идет на лад.

Чуть слышный оклик, одинокий зов,
знакомая мелодия без слов,
невидимые нотные листы.
Прости меня, что рифмы так просты,
Кто мне диктует их? Когда бы ты…

Кукла

Вздернутое изголовье,
метр остальной кровати.
Это не слово - присловье,
но почему-то некстати
вспомнилось, как вприпрыжку
ноги спускала на пол,
как первую куклу- голышку,
подарили мне мама с папой
однажды на день рожденья.
Живучий был целлулоид,
наверно, немалых денег
моим родителям стоил.
В коробке стопкой одежка,
в другой акварельные краски.
Сперва отломилась ножка,
но целы тельце и глазки.

Куклу я одевала
и, нарядив, рисовала.
Детские эти рисунки.
барышни в платьях бальных
хранятся в потерянной сумке
между стихов опальных.

Сегодня с кровати я слезла
без помощи палок и кукол,
сама подвинула кресло,
сама уставилась в Гугл,
сама из него исчезла.
Должно быть, поставили в угол.

Катя Капович

На краю большого мира

***

Мы с тобой на кухне посидим,
сладко пахнет белый карантин.

Поглядим на пламя на плите,
фонари на дождевой воде.

Или хочешь – можно в дурака?
Или просто так – в руке рука?

Никуда не надо уезжать,
ты дурак, и я дурак опять.

***

Прошу прощения у ласточки
за дымный воздух над землей,
за всё, что было нам до лампочки,
когда мы жили здесь семьей.
Что лес спилили в пыль сосновую,
сгубили землю, дурачьё, –
за это всё нижайше снова я
прошу прощенья у неё.

***

Хрипит эта азбука, горло дерет,
набор ее ветхозаветен.
Эх, век мой, во весь окровавленный рот
повоем с тобою на ветер.

Но песней лица улыбается он,
где плачет дешёвая скрипка,
медали военные, аккордеон, –
и, знаешь, красива улыбка.

Ведь где еще так от щеки до щеки
займется морозом по коже,
чтоб млели подвыпившие мужики
от сисек шальной контролёрши.

Она наклоняется поздней порой
над лицами спящих товарок,
и молнии даже сродни шаровой
ее понтифийский фонарик.

***

На краю большого мира,
над страной
тихо шелестит квартира
тишиной.

И в сиянье мировое
мы плывем,
серый с белою трубою
съемный дом.

Из трубы на крыше льется
серый дым,
над тобой полоска солнца,
словно нимб.

И в глазах твоих зеленых –
острова.
Чижик-пыжик,
закружилась голова.

***

Домашним ангелом ведома,
я посетила городок,
вошла в хрущёвские хоромы,
переступив через порог.
В простой двухкомнатной квартире
стоял знакомый книжный шкаф,
под батареей стыли гири,
синел палас с узором трав.
Вдруг насморком страдая как бы,
на кухне хлюпнул носом кран,
и – капля мутная за каплей
осел бессмысленный туман.
Я, зрелая, под ярким светом
стояла в комнате своей
и видела всю жизнь при этом,
и странно радовалась ей.

***

В амфитеатре осени печальной
гоняет ветер желтую листву,
в пустом дворе немного театрально
ты смотришь вверх в подзорную трубу.
Я тоже черное пальто надену
и тёплые, с шнурками, башмаки,
в заиндевевших листьях по колено
на небо посмотрю из-под руки.
То не листва по ветру проплывает,
а мы с тобой плывём над всей страной
туда, где в золотой листвы пергамент
записаны все жизни до одной.
Возможно, за чертой земного круга
лежит бескрайной вольности земля,
и, как рука твою находит руку,
вот так душа найдет в раю тебя.

Бахыт Кенжеев

Цена меланхолии

Магию числ возжелал я воспеть, обаяние номеров,
вроде тавра, что каждой присвоено в стаде божьих коров

да и кентавров, каждому дерзкому воину, заключенному,
новобрачному (тоже, в сущности, обреченному) –

медальон, паспорт, татуировка, или, как юноши говорят, тату
(для экономии времени, убегающего в пустоту,

чтобы сгущаться в мерзлые звезды,
ложиться жемчугом на атлас
за пределами пересохших губ,
за окраиной линзовидных глаз).

Особенно мнимые числа люблю – вроде и существуют,
а вроде их нет вообще,
как не бывает счастия в жизни,
или картошки в исконном борще,

но им все равно - мерцают, скулят,
заходят в общественный туалет,
борются за свои права, которых как не было, так и нет.

Знаю, когда утомится возиться с топкой
черномазый парубок-кочегар,
Всякие числа сгинут, морские свинки опять превратятся в пар,

а пока что летит, стучит наш паровоз, изрыгая драконий дым
сотрясая окрестности. Славно быть самоуверенным молодым

пассажиром (фляжка, огурчик): не плачь, любимая, обо мне –
мнимом числе на вселенской бухгалтерской простыне.

***

Поиграем-ка в прятки, но не подглядывай, не говори,
что не найдем друг друга, и праха с пылью не путай.
Нехорошо, что со временем детские пустыри
зарастают полынью, а чаще - плакучей цикутой.

Оговорился – не пустыри, проходные дворы,
по которым мы, грешные, парадиз утраченный ищем,
подбирая с помоек святые, можно сказать, дары.
Мусорный ветер над прежним городом, будущим
городищем,

вызывает в прорехах пространства истошный свист
одичавшей эоловой арфы. Зябко и сладко.
Вся цена меланхолии поздней - засохший лавровый лист.
Дореформенный гривенник, нынешняя десятка.

***

Пережив свои желания, разлюбив свои мечты,
перестал искать по пьяни я гений чистой красоты,
позабыл свиданья с музою и во сне, и наяву,
вычислитель молча юзаю, в честной лодочке плыву,

но, душевным кататоником став, имею бледный вид.
Мне бы дёрнуть водки с тоником, да головушка болит
иль с утра откушать кофию, да сердечко не берет -
вот такая философия, огурец ей в алый рот.

Если смерть не отнимала бы право на любовь и речь,
эту горечь типа жалобы, лучше было б приберечь,
сохранить на крайний случай, но где же, спрашивается, он,
за какой лежит излучиной речки грифельных времен?

Впрочем, если долго мучиться, сколько волка ни корми,
что-нибудь еще получится - надрывайся, черт возьми -
бормоча, иронизируя, разгоняя ночь дотла
неразумной песней сирою веницейского стекла.

***

Когда ты мышь домашняя, непросто
тебе живется, разве по ночам
добудешь корочку, сгрызешь, глядишь на звезды –
начало всех начал

среди страстей и радостей обильных,
осознавая: право не беда,
что хлебница пуста, а полный холодильник
закрыт богами, как всегда.

И думаешь: мудрец живет как птица
небесная над вечною водой,
отравленной приманки сторонится,
знай радуется жизни молодой..

А утром – время страха и тревоги,
когда, нахмурив удрученный взор,
огромные неряшливые боги
выходят из подземных нор,

но и они, хоть не страшатся кошки,
суть только бренный ветер и зола,
угрюмо подбирающие крошки
с господского стола.

***

Обыкновенный человек есть незабвенный человек:
бессмертья, правда, не имеет, зато аукаться умеет,
блуждая в дантовском лесу, а выпьет водочки на праздник -
киргиза дворницкого дразнит и немца-перца-колбасу.

Обыкновенный человек есть внутривенный человек,
нехитрый sapiens vulgaris: поет, на прошлое не зарясь,
про первый, про последний снег,
слезой надгробный камень точит,
и от предвечного не хочет ни адских мук, ни райских нег.

Обыкновенный человек есть несомненный человек.
Постой, мы все простыми были – простынки чистые любили,
сквозь сон мурлыкали строку из шлягера семидесятых,
котов тетешкали усатых, царили, лежа на боку.

Обыкновенный индивид – не Иисус, не царь Давид,
ему небес не обещали – пусть преходящими вещами
любуется, и день за днем сопит, единокровный брат мой,
сшивая просмолённой дратвой
подошву с верхом, прах с огнем.

***

красноголовый дятел на корабельной сосне
жизнь не то что растратил но разбазарил вполне
эх дубинушка ухнем грустно что я дебил
пил по московским кухням музыки не любил

страсть чревата расплатой да и воскреснем навряд
толстенький мешковатый сталинский лауреат –
спой мне серьезный ойстрах синим огнем горя
о нефтеносных свойствах шерсти и янтаря –

как под небесное пение октябрьской ночью трамвай
скрежещет от нетерпения - спой мне скорей, давай,
открывай прощальную истину закуривая на ходу
шурша беспризорными листьями – вот дослушаю и пойду

Юрий Лорес

Колыбельная

Спи, мой ангел! Вечер поздний.
Поскорее засыпай.
В небо, в воду кто-то звезды
Начал плавно высыпать,
Словно в две бездонных чаши,
Опрокинутых друг в друга.
Плыть и плыть в ковчеге нашем:
Мы повсюду в центре круга.

Можно вдаль глядеть до боли -
В глубине колодца тьма.
Беспредельность - это воля
Или все-таки тюрьма?
Крепко наш ковчег сколочен,
Не потонет никогда.
Не заглядывай в колодец!
Всюду небо и вода.

Плыть и плыть нам, составляя
Душу с небом, воду с плотью.
Спи, мой ангел! Умоляю:
Не заглядывай в колодец!
В свой черёд бросая семя,
Не ищи у бездны дна.
Там, отсчитывая время,
В воду капает вода.

Реферат по античке

Берег вдали - полоса.
Значит, мне повезло.
Ветер надул паруса,
И я бросил весло.
Нет суматохи земной
В этом синем просторе.
Снова владеешь ты мной,
Средиземное море.

Значит, ещё поживу
Мачтовым скрипом.
Значит, ещё доплыву
От Иаппо до Кипра.
В этом помогут маяк,
Тормозок да аптечка.
Пишет подруга моя
Реферат по античке.

В море уснул Посейдон.
Значит, рули не хочу.
Я проплываю Сидон,
Я по Каширке качу
К береговой полосе
В счастьи и в горе.
Где-то впадает шоссе
В Средиземное море.

Стоит ли нам ворошить
Будни и даты?
Галсы, узлы, виражи -
Не стихи, а цитаты.
Сны о латрунском вине,
Многоточья, кавычки...
Кто я? Прочти обо мне
Реферат по античке.

Берег - вдали полоса.
Мне никогда не везло.
Ветер порвал паруса,
Волны сломали весло.
Штормом сменяется бриз.
Возвращаюсь не споря.
Все человечество из
Средиземного моря.

Гора Кармель

Смотрю с горы Кармель.
Ракитник на горе Кармель.
Я дам тебе огня -
Ты сложишь песню.
Пусть унесут меня

За тридевять земель,
Я снова прорасту
На этом месте.

Я снова прорасту,
Чтоб в самый знойный день
Тебя укрыть своей прохладной тенью.
Я расстилаю тень,
Я жар даю костру.
А в прочем - бесполезное растенье.

Взгляни с горы Кармель.
Взойди же на гору Кармель!
Ты обетован ей:
Жених невесте.
Ты шёл так много дней
За тридевять земель,
Чтоб жить и умирать
На этом месте.

Ячмень и виноград,
Маслина и миндаль
Который век ждут твоего поклона.
Здесь у небесных врат
Взгляни, какая даль!
Здесь видно далеко: до Ашкелона.

Смотрю с горы Кармель.
Ракитник на горе Кармель.
Я дам тебе огня -
Ты сложишь песню.
Мой Эрец Исраэль!
Хоть выкорчуй меня,
Я снова прорасту
На этом месте.

Остановка в пути

«На реку Иордан прилетают зимовать
множество птиц. В том числе журавли
Талдомского района Московской области.»
Из путеводителя по Израилю

Остановка в пути. Переполнен вагон.
Перелетные птицы готовят ночлег.
На пустом полустанке неясный огонь.
Я, пожалуй, сойду - и простынет мой след
в переулках среди покосившихся изб.
Я безмерно устал побеждать в поддавки.
Я спускаюсь к воде, и мерещится: из-
под Талдома птицы летят на ставки.

Из-под Талдома. Значит, летят журавли.
Из-под Талдома. Значит, к реке Иордан.
На неясный огонь держат курс корабли
и спешат поезда по своим городам.
И досадуют на остановки в пути.
В расписании нет. Угадать не берусь.
Чтоб названье узнать, я пытаюсь сойти
то ли в Новый Израиль, то ли в Древнюю Русь.

А вокруг темнота, нищета и покой.
Или души людей превращаются в птиц?
Безымянный ставок был когда-то рекой,
а теперь - перекрытый запрудой Стикс.
Остывает мой след, остаюсь не у дел.
И мерцает огонь, и стекло дребезжит.
Разве это вина, если я захотел
научиться у птиц на две родины жить?

Крым

«Сосны - гордые стражи
Там, над Балтикой пенной,
Ваши? Врете, не ваши!
Это сосны Шопена!»
А. Галич. «Кадиш»

Все дороги ведут в Рим:
и плохие, и хорошие.
И не надо врать, что это ваш Крым.
Это Крым Волошина.

Шхуна с волнами спорит
Черного и Азовского.
Это не ваше море!
Это моря Айвазовского.

Если читать карту,
а не глазеть на витрину,
это не ваша Ялта.
Это Зурбаган Грина.

Ночью или в грозу
не принимая плоского,
это не ваш Гурзуф -
Пастернака и Заболоцкого!

Чести у нечисти нет.
Совесть - всегда помеха.
Над Крымом небесный свет.
Только не ваш, а Чехова!

Харя глотает дым,
лузгает нагло семечки.
Да не нужен вам этот Крым!
Крым сонетов Мицкевича.

Александр Романовский

Воронеж без порток

***

Тебя будить опять влетает шмель.
Над самым ухом он стучит и жучит:
«Окно, стекло, свобода, жизнь, апрель!»
Он как часы. Он самый неминучий.
Уже дней десять эта канитель.
«Бросай постель!»

И вот встаёшь, хоть лености сейчас
Предела нет. Лишь нежность превышает
Любой предел. На каждый выкрутас
Шмеля твоя ладошка отвечает
Движеньем к форточке. «Ну всё, атас!
Летим сейчас!»

Он не ужалит. Если наготы
Коснётся шмель, то разве перепонкой.
И, кстати, знает — можешь только ты
Возиться с насекомым, как с котёнком.
«Ты одобряешь, дева красоты,
Мои финты?!

И, в целом, ежеутренний разбой,
С твоим платком непримиримый бой,
Моё сверло, чей звук не будет прерван?!»
А впрочем, ведь когда-нибудь герой,
Что сдуру спать повадился с тобой,
Проснётся первым.

***

Артисты в подвале мою репетируют пьесу.
Подвал за высоким бугром, за морями-лесами.
У них в первом акте на сцене танцует принцесса
С распущенными волосами.
Но вскоре на лошадь садится, пускается в путь.
Погода отвратная — холод и снежная муть,
И ветер такой, что румянец не сходит со щёк.
- Куда она скачет?
- К тебе. А к кому же ещё?
Но вот уже сцена другая и время другое.

Какого-то лешего слева и справа солдаты.
Гляди, разминают мечи и хвосты перед боем,
Все веселы, злы и поддаты!
Скачи через них, дорогая, по слякоти мчи!
(На шее звенят от далёкой темницы ключи.)
Вот первые пули орешками - щёлк да пощёлк!
- Куда ты, красотка?
- К нему, а к кому же ещё?

Базарная площадь. От мяса и зелени — пар,
И голубь тяжёлый взлетает с измятой газеты.
Прочти и получишь селёдочно-сахарный дар.
(Пожалуйста, только не это!)
Здесь трудно слепому пройти, но зажмурься скорей
И клячу веди не спеша мимо мёртвых зверей.
Здесь до смерти помнят проценты, и долг не прощён.
- Куда, побирушка, плетёшься?
- К кому же ещё?

Итак, антиподы мою репетируют пьесу.
У них перед этим игрался Шекспир или Чехов.
А я, между прочим, совсем не причастен к процессу -
Сижу, никуда не приехав.
Пока от актёрских радений трясётся подвал,
Я пиво купил, я случайную даму позвал.
Ведь есть берега, куда автору въезд воспрещён.
- Куда ты, удача?!
- К тебе, а к кому же ещё?

***

Мрачный поэт учинил произвол -
Белые брюки себе приобрёл.
Анна увидит - помашет рукой:
"Ишь, приоделся — смотрите какой!"

В рюмочной тихо покупку обмыл,
И по дороге, качаясь, поплыл.
Анна увидит и скажет: "Ого!
Так бы и съела сегодня его!"

Взял папиросы в киоске поэт,
Сделал затяжку на третий куплет...
Анна подумает: "Вот обормот!
Взять бы его поскорей в оборот!"

***

Ну и сдалось вам всё это кино -
Все эти мюсли и все эти песни!
Если по-честному, всё, хоть ты тресни,
Перековеркано, подменено.

Вот вы считаете так или сяк -
Дескать, вот это вот, а не иное...
Тут реактивное, тут заводное,
Тут гужевое сойдёт за пятак

Или на лыжах махнём через лужу!
Не говори мне, что было бы хуже,
Если бы мы не поверили в лажу,
Если бы мы рассуждали поуже.

Слазил под кофточку к ней я тогда...
Всё остальное — белиберда!

***

Вот иногда наставишь объектив,
Замрёшь и, глядь, собачка выбегает,
У бабушки ломается каблук,
Проносится газета, и стекло
Бутылочное на ответный щёлк
Настроилось. А их тут целый полк!

Потом, бывает, принесёшь домой,
Проявишь, глядь, а нету ни собачки,
Ни бабушки, ни бликов никаких,
Да и газеты. Но зато в углу
Случайно пара склещилась... Ну, здрасьте!
А мне в ответ - завесьте и закрасьте!

Бывает, что Воронеж без порток
Является. Да просто неудобно
Его печатать. Популярный сон -
Толпа на площади, а ты приехал в ванне,
И вождь уже указывает путь.
Извольте закреплять всю эту муть!

О существо, зажатое в углу,
Сюда ты не случайно угодила.
Кто этот тип? Уж так ли он хорош?

Как он посмел? Здесь я определяю
Баланс цветов и выдержку. А ты
Теперь моя, о дева красоты!

Она в ответ: «Какая же я дева?
Я блик бутылочный, газетный я клочок,
Собачка, пробежавшая по сцене,
Я бабка, наконец! Я, извиняюсь, пена!
Я то, пардон, откуда всё взялось!
И ты тут с объективом не елозь,
А лучше приземлись на два колена».

***

Год начался каким-то приступом,
Какой-то славой беспричинной.
Но весь его напор неистовый
Не стоил выделки овчинной.

И драматург, вполне трагический,
Взъерошив утлую причёску,
К тому же, в тоге символической,
Метался в поисках подмостков.

Зима в тот раз была бесснежная -
В такой следов не оставляют.
И упиралась в стену прежнюю
Его мечта передвижная.

Но как-то, со среды на пятницу,
Прошли войска под белым знаменем.
И трудно стало не пораниться
О лёд на парапете каменном.

Чернели ветви во все стороны,
А остальное всё белело.
И то, что здесь валялось порвано,
Слилось в одно большое тело.

Вот из-за этого кустарника,
Сказать по-воинскому – с тыла,
Зашла судьба, ища напарника.
Кого хотела – находила.

Сергей Штильман

Шепоток ежедневного чуда

Оле Чайковской

И придвинутся вдруг небеса,
Осязаемей станут и строже,
И такая пойдёт полоса –
Что ни стих, то мурашки по коже.

Прояснится, пройдёт голова
(Словно влагой наполнилось блюдце),
И такие подступят слова,
Что попробуй от них отмахнуться.

Сбои ритма и рифм чехарда,
Шепоток ежедневного чуда...
Мне бы смыться, удрать, но – куда?
Тень за мною шагает повсюду.

***

В тоске слезливо-мелодраматичной
Изнемогает старенький наш мир,
Где многое ущербно и вторично,
Затёрто, заштамповано до дыр.

Мы названы чужими именами,
У нас всегда на всё готов запас
Метафор, что придуманы не нами,
Эпитетов, что жили и до нас.

И в пёстрой толчее стихотворений –
Набор одних и тех же слов пустых,
Банальных аллегорий и сравнений
И надоевших истин прописных.

Мы тянемся к заёмному сюжету
И признаём холодных чисел власть,
Как семя, не пробившееся к свету,
И на мгновенье вспыхнувшая страсть.

И потому – таких минут немного –
Когда талантом чьим-то поражён,
Ты вздрагиваешь, словно от ожога,
И шепчешь: «Как же это хорошо!»

***

Хотя отмотала, конечно,
Зима ей отпущенный срок, –
Вразвалку уходит, неспешно.
Как выгнанный с поля игрок.

То простыни снега расстелет –
Роскошная выйдет постель,
То вьюгу под вечер затеет,
То утром устроит метель.

Но к лету готово лукошко,
И марта – последняя треть,
И кошка сидит на окошке –
А где же ещё ей сидеть?

И в небе, следы заметая,
Неспешно плывут корабли –
Несметная белая стая –
И тают, касаясь земли.

***

Длинный ряд облаков-шатунов –
Утомительно-пёстрая лента,
Вереница заученных снов:
Я их помню с любого момента.

Из далёких приплывшие мест,
Испарившейся влагой обильны,
Как же сниться им не надоест –
Этим старым заезженным фильмам!

Что мне их застарелая грусть,
Что мне сорок оттенков стального!
Я от них убегу. Я проснусь.
Чтобы завтра увидеть их снова.

***

Из далёкого детства картинки –
Листопад из окна в октябре,
В луже – радуга, двор на Ордынке,
Шампиньоны в соседнем дворе.

Постепенно, не сразу, нескоро,
Словно в странном, забытом кино,
Я вхожу в этот призрачный город,
Из которого вырос давно.

Отказавшись от помощи зала,
Я друзей окликаю живых
На его опустевших вокзалах,
На пустынных его мостовых.

Пожелтевшие глажу страницы,
И, как прежде, с приходом весны
В город мой возвращаются птицы
И цветные мне видятся сны.

***

По глубокому зимнему следу,
По надёжному, крепкому льду
Я к тебе непременно приеду,
Я к тебе непременно приду.

Я твоё не растратил наследство
И своё не профукал житьё,
О моё бестолковое детство,
Москворецкое детство моё!

Из когтей суматохи вокзальной
Я вернусь восвояси, домой,
К «Павелецкой» моей радиальной,
К «Павелецкой» моей кольцевой, –

Где всё так же от летнего зноя
По ночам отдыхает земля
И по осени землю листвою
Устилают мои тополя.

Художнику

Эпох не подвинуть и сроков,
И время не тронется вспять,
В тот мир, где сбегал я с уроков
Из школы пятьсот двадцать пять.

Хоть век этот нынешний зябок
И новый у нас реквизит,
Но солнце с востока на запад
Всё так же над морем скользит.

И так же в пыли подорожник
Растёт у дорог. И трава.
Так в чём же, скажи мне, художник,
Секрет твоего волшебства?

В чём магия чудной закваски?
Быть может, в святой простоте?
И как они ожили – краски –
Под кистью твоей на холсте?

Откуда на гулкие крыши
Как осенью листья, летят
Те звуки, которые слышал
Я, грешный, полвека назад,

И запахов пёстрая стая
Из канувших в лету годов?
И те же по рельсам трамваи
Скользят мимо Чистых прудов.

***

То ли был этот год,
То ли был этот год,
То ли не был,
Только часто к дождю
Вечерами болит голова.
В нашем городе дождь,
В нашем городе серое небо
И толчками на свет
Проступает из почек листва.

Проступает листва.
Это значит, мы всё-таки живы,
Есть у нас ещё завтра
И есть ещё слово «домой»,
И бросаем мы в суп
Бархатистые листья крапивы,
Что не жалит пока что
И мокрою пахнет землёй.

В мире пахнет листвою,
И липкие падают почки.
Ну куда нам спешить!
Под навесом мы дождь переждём.
Есть у нас ещё время
И сладкое слово «отсрочка».
Постоим – подождём
Под холодным весенним дождём.

***

Что поделать! Не вышло из нас коммерсантов.
(Господи, слава Тебе! Ты всемогущ и милостив!)
Может быть, потому, что живём мы
на улице Подольских Курсантов,
А мама моей жены –
на улице Героев Панфиловцев.

Что поделать! С годами
чащоба памяти всё непролазней,
Не стереть из неё семейного апокрифа:
Что мой дед пропал без вести где-то под Вязьмой,
А отец только чудом не умер от брюшного тифа.

Тиф в товарном вагоне – это вам не простуда.
Ни еды, ни воды. Пар горячий в воздухе вился.
Это была война. И настоящее чудо –
Настоящее чудо, что он выжил.
А я родился.

Владимир Серебренников

Весь этот блюз…

1.
Рассветный воздух зябок, неодет,
и ежится, и рассыпает спички.
День как-то называется — но нет
ни номера, ни слова на табличке

присохшего к стене календаря,
и даже год душа не разглядела.
Бредущая над крышами заря
за трубы затекает то и дело.

И кожа на лице — скорее жесть
спросонья, и глаза — как створки мидий.
Открыв окно, я вижу то, что есть.
Спасибо, то что есть — меня не видит.

Оглядываюсь, тщусь и все равно
не понимаю: рядом кто-то дышит
или глотнуло воздуха окно,
открытое пятью строками выше.

2.
Жара такая, что уже пора
настала падать недозрелым сливам.
Дым вдалеке — как тень от топора,
и, кажется, друид идет за пивом,
ботинками втыкаясь в колею.
По окнам растекается замазка
и пластилин. Сюда печаль мою
привез кузнец, должно быть, из Дамаска.

И начинает зренье тьму плодить,
слова и вещи смотрят исподлобья.
Не лучше ли и впрямь — соорудить
такому настроению надгробье:

из сельдерея выложить венок
поверх омлета, и подсыпать перца.
Я голоден, — и если одинок,
то не всерьез и как-то мимо сердца.

3.
И я молчу, и ты молчишь, и ты
клюешь губами чашку с крепким чаем.
Кругом одна печаль и с высоты
ее — друг друга мы не замечаем.

Молчания повсюду — что пшена
в курятнике, что под копытом — стука.
Лишь тишина, — но даже тишина
кончается, и нет за ней ни звука.

И, что б ни довелось предположить,
окажется, что так или иначе
я буду жить, — я скоро буду жить
за пазухой у времени, на даче.

Останется одно в конце концов
прошедшее оснастку и огранку
воспоминанье — бывшее лицо
действительности, вписанное в рамку.

4.
В пустынный дом не то чтобы пчела —
и дряхлый лист дожить не залетает.
Лежит тропа, которая вела,
и как-то понемногу зарастает.

И осень не спешит перешагнуть
куда-нибудь южнее, за болота,
когда зима уже тревожит путь
несмелым снегом из-за поворота.

Ворона топчет пятками настил
не то чтоб зло, но словно рожу скорчив.
Дом что-то видел. В доме кто-то жил.
Но холодно — и дом неразговорчив,
как антиквар, хранящий свой престиж
от бойких дилетантских предложений
не стоимостью зеркала — а лишь
количеством возможных отражений.

***

По этой ночи, что пришла
И нам досталась,
И канула — во все крыла,
Забыв усталость,

Душа рассветная снует,
Дыша нечетко,
И сердце в горло мне сует
Свою чечетку,

А ты выходишь на крыльцо
И с изумленьем
Глядит смущенный сад в лицо
Твоим коленям,

И очевиднее всего,
Что за стенами
Уже не лето, а его
Прощанье с нами.

***

Не купанье — отсутствие сна
Предлагает спуститься к заливу.
На песок набегает волна
И съедает свой корм торопливо:

Якоречки, кружочки монет,
Эти ломкие ржавые пятна
Тех, кто очень хотел бы, — но нет,
Все равно не вернется обратно.

В дальней лодке, гребущей веслом,
Ветру нечего делать, а он-то
Так спешил. Даже птица крылом
Не задела струны горизонта

Словно время смешалось с песком
И совсем уходить перестало.
В этом воздухе мокром морском
Будет день. Но забрезжит сначала.

Фрагменты переписки. Из Рима

Пишу трактат. Пожалуй, — даже два.
Но что не три — я это точно помню.
Не только чресла, но и голова
Ведет себя с годами вероломней.

Все меньше восхитительных имен,
Лукавых глаз, — да и они не греют.
И сам я понемногу подменен
На то, что моют, одевают, бреют.

Ну что еще сказать о новостях.
Все чаще дни у скуки на постое,
Все тяжелее на моих костях
И складки жира, и пережитое,

Все ближе неспособная на лесть
Рука судьбы, крупна и волосата.
Засим и оставляю все как есть
Подвыпившему взгляду адресата.

***

С луной, запутавшейся в тине,
сквозь лес, еще почти тайком,
текла река, - как сон пустыни,
набитой зноем и песком,

и свет, как дерево, качался,
полузатопленный, в воде,
вращался, мчался, не кончался
и не присутствовал нигде,

за темнотою, как за шторой,
дорогу мне перебегал
и растворялся - как матерый
контрабандист и нелегал.

Внезапный ветер был как топот,
и было Боже сохрани
идя по листьям - верить в опыт
и знать, что желтые они.

***

Не удивляйся людям ты,
здесь есть загадки и похлеще:
укушенные псом тщеты,
но не взбесившиеся вещи.

Как люстра виснет с потолка,
в сковороде - какая сальность.
Любимая, - невелика
и временна твоя реальность.

Одна по комнате снует
и смахивает сны с подушки
бессонница, - и у нее
лицо унылой побирушки,

а ты волнуешься, стоишь,
еще в саму себя одета,
и в комнате не ночь - а лишь
отсутствие дневного света.

Родился мир когда-то...

Родился мир когда-то из слезы,
Печального заплаканного Бога,
Уставшего от глупой пустоты,
Бессмысленного, в общем, монолога.

Скатилась капля, оставляя след,
На лике у небесного поэта,
И прошептал Старик: "Да будет свет",
И отразился в капле луч рассвета.

И стало так! И свет рассеял тьму!
В Адама Ева первый раз влюбилась,
Тем породив и жизнь, и суету,
Пока слеза из Божьих глаз катилась.

Камни Иерусалима

Давайте присядем на камень, изъеденный ветром,
Пройдемся по плитам просевшей в веках мостовой.
Строители те и властители канули в Лету,
Но камни стоят рукотворной могучей стеной.

Снега и дожди омывают немых истуканов,
Стираются шрамы от стрел и отверстия пуль.
Вы помните, камни, святых и кровавых тиранов,
Восставших зелотов - и римский железный патруль.

Я к вам прикоснусь - расскажите, без слов и без звука,
Свидетели древних, великих и страшных эпох.
Про дрожь от полков крестоносцев,
                про быстрых мамлюков,
Как снова и снова к вам новый спешил Антиох.

Вы знаете, камни, а мы ведь вернулись обратно.
Заметили, верно? Недавно, зато навсегда.
Спасибо, что ждали. Нет, правда, нам очень приятно.
Отныне вовек не приступит к вам злая орда.

Европейцам от еврея

Вы сожгли свою душу в Дахау с Освенцимом,
И недолго поплакав себе в оправдание,
Вновь евреев назначили вы отщепенцами,
Лишь за то, что опять не пошли на заклание.

Не подставили горло под сабли арабские,
Как под пули нацистов сердца желтозвездные.
Мы виновны, что цепи отбросили рабские,
И оставили в прошлом стенания слезные.

Или Бог в небесах - иль судьба неизбывная,
Нынче платит сторицей за кровь не отмщенную.
И сыны Ишмаэля ордой агрессивною,
Вместо мертвых евреев пришли в Просвещенную.

22 июня

В теплушках, пропитанных махоркой и спиртом,
Мужскими портянками и крепким матом.
Едут убить или быть убитыми,
Следом за солнцем в страну заката.
Без сантиментов и романтизма,
Не так, как детям в кино покажут,
Не разбираясь в оттенках фашизма,
Без слов красивых, что после скажут.
Там, устилая телами версты,
Где шаг за шагом к закату ближе,
Снося города, умножая погосты,
Вы превращались в героев книжек.
И вы мечтали, глаза прикрывши,
Домой вернуться, чтоб дома ждали.
Сорокалетние и мальчишки,
Вам в грудь осколки – на грудь медали.
И долго снились вам артобстрелы,
И, просыпаясь в поту холодном,
Чудился запах земли горелой,
Кровью пропитанной плодородной.

Амона

В знойных пустынях Марокко, в польских холодных лесах
Жили евреи до срока, волей Всевышнего рока
Не растворяясь в веках.

В штетлах Талмуду внимая, видели Иерусалим,
Словно за домом скучая, жить на Сионе мечтая...
Скорбный народ-пилигрим.

Но по забытым дорогам, в бурях из пуль и камней,
С верой в людей или Бога, к двери родного чертога,
Мы привели сыновей.

Чтоб вековые пустыни были застроены вновь,
Мед стал бы вместо полыни, и воссияли святыни,
И появилась любовь.

Чтоб иудей иудея сам из домов изгонял,
Что не для нас Иудея, а для детей Ишмаэля,
Сам громче прочих кричал.

Нет, мы в Сион не вернулись, взявши галут за собой,
Где-то в пути разминулись, только слегка прикоснулись
Правой отсохшей рукой.

В холмах Иудеи

Холмы Иудеи окутаны дымкой,
Арабы, евреи на узкой тропинке.
Старик бедуин вывел коз на прогулку,
Поет муэдзин о любви к демиургу.

На древних камнях греют тело гадюки,
И эхом в долинах разносятся звуки.
В пещерах глубоких ютятся монахи,
В постах и молитвах разъевшие ряхи.

Растят поселенцы оливы в пустыне,
И камни кидают туземцы в машины,
Блуждают туристы, бредут пилигримы,
Над склоном тернистым парят херувимы.

В холмах Иудеи что явь – что виденья,
И миг как эпоха - и век как мгновенье.

Алексей Сурин

Радио для динозавров

Бог — это настройщик пианино.
Тело — продолжение плоти времени.
Мелодии проходят сквозь него
И исчезают в пасти тираннозавтра.

Запах крови — у Времени течка,
Тычется мордой в звездное море,
И снимая с себя кожу невозможного
Уходит в глубь мезозойской эры.

Ни любви, ни гнева, ни натиска,
А пожирательство такое же обыденное
Как и в эпоху постмодернистского пластика
Как в эпоху дружественного безразличия.

Падшие ангелы привязаны к камням
Мурашки бегают сырые, рыхлые.
Хочется сгореть от стыда за звериность души
Некогда созданной не звериною.

***

У меня свидание с душой,
В черном длинном платье та явилась,
Говорю ей: что с тобой?
А она сквозь зубы: - Простудилась.

Холодно мне у тебя,
Нет другой души, чтоб грела.
Ты один, одна и я.
Как же мне все это надоело!

Я пришла проститься, Лёш.
Уезжаю, видишь чемоданы?
Ты меня здесь больше не найдешь…
На прощанье оставляю раны.

Ты крепись, еще ведь долго жить,
Чистить зубы, есть, мечтать о лете.
На меня ты только не сердись —
Можно без души прожить на свете.

***

Кружились мрачно мысли
Темной ночью,
Когда зима огородила
Страну и этот город
От солнца и тепла,
От остального мира.

Мы были вместе у огня,
Читали книги.
Стучала злая вьюга в двери.
Унюхав крохи света,
У порога
Облизывались звери.

Века бесились.
Топот их копыт был грозен,
Под ними столько жизней
Раздавлены, забыты.
Бросай в огонь последнее корыто,
Мы не замерзнем!

Сегодня сыто. Не урчит в желудке ночи
Больная стужа.
Так тихо дышишь ты,
Целуя мужа,
Скорей к огню и раздувая угли
Мы видим за окном
Диск желтый
Круглый.

***

Что-то сломалось.
Я, спотыкаясь, иду по льду,
Из-под него на меня
Смотрят рыбы.
Их большие глаза
Страшнее суда,
Молчаливые глыбы,

Придавили укором немым
Бессердечие и глухоту.

Я иду спотыкаясь
По тонкому не
По тонкому бу,
А душа, как подводная лодка,
Прожектором щупает тьму.

***

Я ушел из времени
В партизаны безвременья
В хрустнувший позвонком горизонт,
Притворился пейзажем, зеленью,
Что корова вселенной жуёт.

Я ушел из памяти,
Блудный сын,
В забвенье личинки подёнки,
У кома в горле я первый блин,
Сено в стогу иголки.

Но время в поисках
Утраченного меня
Признавать не желает чужую свободу,
Сидит, как Алёнушка у пруда,
Дырки-глаза опустило в воду.

***

Ты не спишь. Ты смотришь как
Кувшинка бессонницы плывет по воде сознания.
Время сливается с телом посредством касания,
И превращает тебя в листопад.

Эта осень — приглашение распада:
К перестройке, к майдану, к падению берлинской стены.
Эта осень — обратная сторона весны,
Молодость, выжатая из винограда.

Ты не спишь? Ради бога, не спи!
Не проспи свою осень, с угасанием красного, желтого,
Из осенней палитры — коктейли Молотова
Полетят в духоту и апатию тьмы.

Александр Борохов

Зал ожидания

Возвращение на Итаку

Бархат ночи проеден до дыр,
Это сделала звёздная моль,
Или Бог, что над всем Командир,
Не нарочно просыпал соль.
Лишь слепые бельма машин,
На куски разрезают мрак,
Ты под Аргусом звёзд один,
И Луна блестит, как пятак.
Не пятак, а так, медный грош,
Просто выпав, застрял средь туч,
Он на милостыню похож,
Как в дождливый день – солнечный луч.
Как мифический Одиссей,
Я Итаку искал много лет,
И асфальтовая река,
Показала, где остров – ответ.
Мой стандартный, как время, дом,
В нём и кухня, и спальня - стандарт,
Всё стандартно: «кругом-бегом»,
Даже финиш похож на старт.
Отворив дверь фигурным ключом,
Как нежданно-негаданный гость,
К косяку привалившись плечом,
Я повешу рюкзак свой на гвоздь.
Тени прошлого стаей котов,
Окружают, мурлыча, меня,
Но я к бою всегда готов,
Их сжигая вольфрамом огня.
Как включу телевизора щит,
Одиночество жмётся к стене,
Диктор сумрачно сообщит,
Что паршиво не только мне.
Бархат ночи проеден до дыр,
Это сделала звёздная моль,
Чёрный саван окутал весь мир.
Поглотив в себя горечь и боль…

Простой ответ

Я больше не звоню своим друзьям,
Они мне не звонят, я тоже не в обиде,
Плохою рифмой липнет грязь к князьям.
...И жизнь в обычном затрапезном виде.
Вопрос безвкусный, как пакетный суп,
Банально-пресный, как вода в стакане,
«Ну, как дела?» - мычишь: «Спасибо, друг».
А дальше только титры на экране...
Все меньше есть, о чем поговорить,
Разводы, жены, дети, пашешь до икоты,
Такая жизнь, и надо ее жить!
Однообразие уже не вызывает рвоты.
Смешно, перевалив за пятьдесят,
В заброшенном саду искать плоды удачи,
Два раза счастлив - вот и весь улов,
Похоже, счастье получил как сдачу...
А из камней, разбросанных в саду,
Не торопясь, спокойно строю стену,
От тех, кого я помню и люблю,
Предпочитая добровольность плена.
Я больше не звоню своим друзьям...

Крошки любви

Я снежинкой растаю в твоих теплых ладонях,
В них останется только лишь капля воды,
Только капля воды, ничего в ней нет, кроме
Растворенного моря любви и беды…
Время сушит в гербарии воспоминанья,
Наших встреч, уж давно пожелтели листы,
Что уныло кружат на краю мирозданья,
А глаза-маяки безнадежно пусты…
Что сказать? Что спросить?
Ни к чему нам случайные встречи,
Стерт резинкой разлуки ненужный уже телефон,
Только голые ветви стучатся в окно, словно руки,
Только вечер качает луну в небесах в унисон…
Отказавшись от крошек любви,
Что украсили твой подоконник,
Журавлем легкокрылым душа воспарит в облаках.
Лишь синицей бескрылой устало бьется в ладонях

Мое сильное сердце в твоих нежных руках.
Я кричу небесам: «Наконец-то свободен!»,
Ни обид, ни долгов, ни друзей, ни проблем!
Только сердце прошепчет: «Ну, теперь ты доволен?
Ты оставил меня непонятно зачем»…

Житейская история

Стояло весеннее раннее утро,
Обычно я первая мужа бужу,
Он кофе хлебнет, что-то вспомнит как будто,
И быстро, без лифта, бегом к гаражу.
Вот так дни бежали, не то чтобы мимо,
Муж в комнате курит, а я все лежу,
Он вдруг усмехнулся сквозь облачко дыма:
«Истерик не надо, прощай, ухожу...»
Со сна в голове непонятная каша,
А в доме хлопот-то и невпроворот,
И надо б заплакать: «А как же жизнь наша?
Собака рожает, какой тут развод?!»
Да нет, все нормально прошло, без скандалов,
Не надо ни дом и ни денег делить,
Детей тоже нет, их всегда не хватало,
И надо б задуматься, как дальше жить...
Пять лет, как от жизни отрезанный ломоть,
Черствея, в сухарь превращался наш брак,
Ни съесть и ни выбросить, все-таки сдоба,
Хотя и цена ей - дырявый пятак.
Потом я, конечно, возилась с щенками,
Ни дать и ни взять, как приёмная мать,
С работы - домой, и вожусь с сосунками.
Какой там поесть, если хочется спать.
А жизнь возвращается в прежнее русло,
И вечер полощет бельё на ветру,
И лишь иногда вдруг становится грустно,
И больно, и пусто - но ближе к утру...
А годы так мчатся, прости за банальность,
Как воды могучей и быстрой реки,
Любила ль? Не помню… К чему эта крайность?
Лишь помню: смешными родились щенки...

Мы из жизни уйдем…

Мы из жизни уйдем, как уходят из дома,
Просто выключим свет, просто выйдем во двор,
Нас уже почти нет... Нет друзей, нет знакомых,
Тает шорох шагов и ночной разговор....

Но назавтра уже заселяют квартиру,
Кто-то моет окно, дом как новый, и краскою свеж,
Только время ушло, ничего не оставили миру...
Только ветер разносит обрывки надежд.

Только наш часовщик, этот маленький гном-злопыхатель
Нас проводит к двери... Как прощальный каприз,
Мы усталой рукою привычно нажмем выключатель...
И повесим табличку: «Сдается на жизнь!»

Мы из жизни уйдем, как уходят из дома,
Просто выключим свет, просто выйдем во двор,
Нас уже почти нет... Нет друзей, нет знакомых,
Тает шорох шагов и ночной разговор....

А если это так…

А если это так, а если это нужно?!
То значит: всем смертям наперекор, назло,
И наплевать уже на домыслы досужие,
И уповать на то, чтоб только повезло.

Не нужен и рюкзак моих потерь тяжёлых.
Не нужно ждать зари, не нужно ждать весны,
И сбросив кандалы, и отворив засовы,
Бежать туда, где явью станут сны.

Но некуда бежать – тюрьма всегда с тобой,
И сердце-узник вновь мотает длинный срок,
Играя в чёт-нечёт с разлучницей судьбой,
Тасуй колоду дней, тасуй колоду строк!

Анна Гедымин

Праздник неуюта

В горах

Жить бы в местности, заброшенной в облака,
Видной издалека,
Но лишь при ясной погоде.
То есть вполне доступной для глаз,
Но хорошо, если в месяц раз,
Хоть не скрываешься вроде.

Там, наверное, протекает ручей,
И возле дома сложен из кирпичей
Крепкий очаг.
А рядом,
Где тропинка увязает в лесу,
Можно встретить огненную лису
С вечно осенним взглядом.

И, конечно, там птицы поют с утра,
И ни холод не мучает, ни жара,
Ни сплетни, ни мошкара.

И те, кто давно уж потерян мной,
Все равно населяют сей мир иной,
На то он и рай земной.

***

Ты помнишь? — детство, стриженые ногти,
Огромный бант, умолкший третий класс...
Горнист, волнуясь, врет на каждой ноте...
Так в пионеры принимали нас.

Смеркается. Салют. Ноябрьский праздник.
Вдруг — полная луна, как мандарин...
И ангелоподобный одноклассник
Мне о геройстве что-то говорил.

Мы были так торжественно-серьезны,
Так дружно шли, поддерживая строй,
Что в небесах рассчитывались звезды,
Как фонари — на «первый» и «второй».

А он грустил, что слабое здоровье,
И все ж мечтал в матросы, хоть убей, —
Где море на закате — цвета крови,
А может — даже голубей...

***

Опять апрель — пора усталости,
Капелей ювенильных прыть.
А думы о достойной старости —
До них ведь надобно дожить,
Доотбояться, дотревожиться,
Доуповать на волшебство…
И вдруг понять, что — нет, не сложится,
Скорей всего.

***

Поехали, говорит.
Бросай свою глушь-Саратов,
И уже послезавтра,
в крайнем случае — в среду,
Куплю тебе перстень
в сколько хочешь каратов,
И будем жить с тобой.
Она в ответ: Не поеду.

Здесь у нас соловей,
хоть никакого в нем проку,
Поет и плачет,
и нет спасенья.
А зимой у нас
в ресторанчике «Крокус»
Скрипач играет по воскресеньям.

Тогда говорит:
А хочешь Форд Фокус —
Лучший на Среднерусской равнине?
Только сядешь —
и через миг, без вопросов,
Глянут — ан нет тебя
и в помине.

Она в ответ:
Да не нужен Форд Фокус,

Лучший от Балтики до Урала,
И даже не надо,
чтоб в ресторанчике «Крокус»
Музыка по воскресеньям играла.
Лишь бы сынок
одолел переходный возраст!
Лишь бы мама не умирала…

Ну, говорит, кума,
Уж с этим ты разбирайся сама.

И пошел он жить,
как прежде, на свете:
Никого не полюбил,
и не встретил
Ту, что мнилась, снилась
в мысли рвалась —
Такая юная,
что еще не родилась…

***

В полдень пейзаж гармоничен,
Пусть и на четверть часа:
Прятки неспелых клубничин,
Сонных шмелей голоса.

Главная в царстве растений —
Яблоня в пестром халате —
Весело ждет перемен.
Тени встают на колени,
Чтобы потом, на закате,
Снова подняться с колен

И с приближением ночи
Свет одолеть без труда.
Перебороть.
Обесточить.
Не навсегда.
Навсегда…

***

Покуда сердце не застыло
Среди кладбищенского сада,
Я не забуду то, что было,
И расскажу, коль станет надо.

Застолья опишу и голод,
И личные в комоде вещи,
И безнадежный этот город —
И ненаглядный, и зловещий.

В нем голубей кормились стаи
И, недоступно пониманью,
Как по команде, расцветали
Тюльпаны в полночь к Первомаю.

Ежей припомню в скудных чащах,
«Хрущобы» в яблонях по груди
И черных лебедей, скользящих
Средь Парка Горького, в запруде.

Тебя, на возглас мой «Куда ты?»
Не захотевшего ответить.
Себя, любимую с той даты
Еще лет десять.

***

Ангел суровый,
Темноголовый,
Хмурится
Незнамо по ком,
Держится
Особняком.
        Всё на него смотрю,
        Тихо так говорю:
        Ты средь бела дня —
        Забудь про меня;
Средь ненастного дня —
Жить могу без огня;

Но средь черного дня —
Подними меня
Со дна,
Ото сна,

А дальше уж я сама.
Я ль потом возропщу,
Дар твой не возмещу,
В небеса не направлю
Золотую пращу?..

Переезд

Снег за оголившимся окном.
Быт мой, перевернутый вверх дном.
Деловитый праздник неуюта,
Свадьба и поминки — два в одном.

Вычеркнуть бы, с кем я обжила
Те четыре прежние угла!
Да вот память, маетно и люто,
Коромыслом нá плечи легла...

***

То не жизнь завершается — просто год.
В эту пору не жди от земли щедрот,
Будут яркими только сны.
В ноябре надо сжаться в клубок, в комок,
Чтоб сберечь не огонь, так хотя б дымок —
С ним верней дождешься весны.

А вокруг зачерствеют ночные льды,
Станет в мире много сухой воды,
Все живое сойдет к нулю…
С приближеньем к бездонному декабрю
Не верь тому, что я говорю,
Если только не говорю,
Что люблю…

Григорий (Гершон) Трестман

Баллада о корабельных крысах

Насколько сейчас помню, в 70-х годах прошлого века эти пожелтевшие, покрытые выцветшей латиницей странички подарил мне на пьянке в общежитии Минского политеха один португальский студент, который утверждал, что он прапрапра- (и еще несколько раз пра-) внук легендарного поэта Луиша де Камоэнса, и что эти страницы якобы являют собой единственный экземпляр поэмы его прославленного предка. Я же, будучи сильно навеселе, принял этот подарок, и более того, обязался его перевести. Протрезвев, я подумал: «А вдруг португалец не слукавил? Вдруг он сказал правду?» Я попытался вернуть ему текст, но оказалось, что он уже уехал за кордон, и адреса его никто из соседей по комнате не знает. Когда я по поводу его адреса обратился в деканат, меня попросили обождать, и вызвали представителя КГБ. Я быстро сообразил, что к чему, и ретировался, проще говоря, сбежал. Не хватало еще за связь с иностранцами искать на свою задницу приключений. Никаких упоминаний об этой поэме ни в архивах, ни в литературных энциклопедиях португальской поэзии я не нашел, так что ручаться за подлинность текста не могу. Но свое обещание исполнил. Вот моя версия перевода.

Если крысу лишают ушей и глаз,
осязания и обонянья,
но она лабиринты проходит враз –
в ней живет изначальное знанье.

1

Луна дробилась у бортов
и падала на трап.
И три десятка спящих ртов
глушили моря храп.

И колыхалась простыня
колеблемой воды,
в своей постели хороня
бродячих рыб следы.

Глубины с высью наравне
играли в перевес
свеченьем тварей в глубине
и звездами небес.

Неделю продержался штиль
и Божью ночь одну.
И не будил заснувший киль
сквозную глубину.

А утром заворчало дно,
и отступила тишь,
и горизонт свело в пятно,
похожее на мышь.

Оно у края дальних вод
всходило над водой,
и обложило небосвод
свинцовою бедой.

И волн взметнувшихся обвал
свалил матросов с ног,
и рулевой уже штурвал
удерживать не мог.

И водопад взметнулся над
кормой из рваной тьмы,
и разорвавшийся канат
матроса сбил с кормы.

И ослепленная вода
росла за разом раз,
и не боролись мы, когда
за борт смывало нас.

Канаты вырвало из рук,
нас волокло на ют…
И чей-то голос крикнул вдруг:
«А крысы не бегут!»

Ползут, безмолвны и легки,
из трюма тридцать крыс,
и долго смотрят нам в зрачки,
и уползают вниз.

Нам подыхать без похорон,
все небо вперевёрт.
Трещит обшивка с трех сторон,
и волны через борт.

И новый накатился вал,
нас к шлюпкам понесло,
и брат у брата пояс рвал,
и вырывал весло.

Один восстал на одного,
и дно пробила течь.
Здесь никому не до кого,
и некого беречь.

Мы, место кулаком деля,
крошили рты враскрут.
Бегут матросы с корабля,
а крысы не бегут.

Пятнадцать крыс едва живых,
превозмогая страх,
глядят, и вера дышит в их
омолненных зрачках.

Погибель наша – их вина:
дурной крысиный сглаз.
И налетевшая волна
смешала крыс и нас.

И разнесла, как будто бес
людей свистал на дно.
Здесь до земли, как до небес,
а небо – вот оно!

И молний жидкое стекло
обдало верх и низ,
и мачту с парусом снесло,
и осветило крыс.

И боцман крикнул: «Бейте их!»
И крыс загнали в кут,

и били в морды, в ребра, в дых,
а крысы не бегут.

Идут со смертью пополам,
и смерти вопреки,
семь крыс, и смотрят в душу нам
слепящие зрачки.

И черным светом обожгло
следы кровавых луж,
и ощутили мы тепло
крысиных черных душ.

И в этот страшный светлый час
среди глазастой тьмы
вселилась крысья вера в нас,
что не потонем мы.

И встал к штурвалу рулевой,
как на живой погост,
и мы пробоину собой
задраили внахлест.

В плену грохочущей кормы
и у волны в плену,
привычно развернулись мы
форштевнем на волну.

И воскрешенною рукой
мы отводили смерть,
и успокоил наш покой
морскую круговерть.

Катился выдохшийся шторм
в темнеющую даль,
и в море сыпал звездный корм
небес ночной хрусталь.

2

Кто бил едва живых в живот,
тот изойдет во сне
той силою, что в них живет
со смертью наравне.

Дух каждой жертвы дармовой
берет убийц в полон.
Но каждый жив, пока живой
и верой наделен.

И чувство первого стыда
разъединило нас,
и разошлись мы кто куда,
не подымая глаз.

И не хотели мы смотреть
на дело прошлых рук,
на крысий долг, на крысью смерть,
на боль крысиных мук.

Шуршала пена за кормой,
как миллион мышей,
и наше судно шло домой –
к забвенью прошлых дней.

Когда задул прибрежный бриз
и показался порт,
мы тушки полумертвых крыс
отправили за борт.

И погружаясь в светлый мрак,
легко принявший их,
на нас они смотрели, как
слепые на слепых.

И нас покинул прежний дух,
и души застил дым,
и различил оглохший слух
молитву по живым.

То голос крысы молодой,
забитой под настил,
стелился тихо над водой
и к небу восходил:

«Господь, живых людей прими,
слепых в душе своей
за то, что Ты нам быть людьми
велел, где нет людей.

За то, что мертвым дал приют
отдельно от живых,
где верой той они живут,
что здесь сгубила их.

Даруй же милость, Высший Царь,
прости живых калек
за то, что крыса – Божья тварь
скорей, чем человек.

Взгляни, господь Всевышний, вниз,
и в сердце их прими
за то, что люди – племя крыс,
и им не быть людьми.

За то, что их слепая плоть
живет душе грозя.
За то прости их, мой Господь,
за что простить нельзя.

Небес и моря глубина,
Твоя, Господня власть»…

3
И в море бросилась она,
и в небо вознеслась.
И гибелью ее влеком
слабел молитвы звон.
И пробку боцман кулаком
из бочки вышиб вон.

И мы забылись за вином,
и пили, как во сне
меж дном морским и винным дном
на корабельном дне.

Иль нас Господь крысиный спас,
или судьба сама,
но за вином один из нас
к утру сошел с ума.

Молитву он поет без слов,
и плачет – сед и сиз –
словно на берег крысолов
скликает мертвых крыс.

И с пьяной утренней тоски
нам показалось вдруг,
что солнца черные куски
посыпались вокруг.

А из восставших донных вод,
с открывшегося дна
к нам крыса первая идет,
за ней еще одна.

И шли ожившие тела –
хвостатый экипаж,
и вот последняя пришла…

И кончился мираж…

НОН-ФИКШН

Генерал Крейзер. День последний. День первый

В конце ноября этого года ожидается выход в свет книги, жанр которой обозначен как «историко-биографическое исследование». Оно посвящено судьбе генерала Якова Крейзера, одного из самых знаменитых военачальников-евреев Второй мировой войны. Тем не менее, книга о нем выходит впервые. Рассказать об этом издании мы попросили автора, руководителя ассоциации «Четвертое поколение» историка ***Александра Энгельса****,*

Генерал Крейзер – уникальная фигура в пантеоне славы воинов-евреев, число которых в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны составляло 500 тысяч человек. Яков Григорьевич одним из первых в самом начале войны был удостоен звания Героя Советского Союза. Он был единственным из советских евреев, кому на фронте довелось командовать армиями. Также он был единственным среди евреев, кому в послевоенный период было присвоено высшее генеральское звание: генерал армии.

Но это все формальные проявления признания заслуг, факты, отмеченные в сотнях статей и интернет-публикаций. Чем же была вызвана необходимость написания подробной книги?

Я бы назвал несколько причин. Первая – парадоксальна: имя генерала Крейзера на слуху буквально у всех, интересующихся историей войны, и, тем не менее, огромные пласты биографии полководца остаются, как правило, вне поля зрения.

Вторая причина, наоборот, закономерна: с течением лет на смену представителям еврейского народа, для которых образ генерала Крейзера являлся легендарным, приходит молодежь, не знающая даже его имени. Относясь к этому

процессу с пониманием, не следует предъявлять никому претензий и упреков. Упреки можно предъявлять лишь себе, спрашивая: все ли возможное я сделал, чтобы помочь сохранению памяти еврейского народа о своих героях?

В этом смысле задача представляемой книги – особенная. Она предназначена не для того лишь, чтобы занять место на полках домашних библиотек (да и не во всех семьях они сейчас существуют). Задача состоит в том, чтобы побуждать к конкретным шагам по увековечиванию памяти воинов-евреев. Один из таких очень важных шагов был сделан на Земле Израиля: усилиями ассоциации «Маалот» инициировано решение о присвоении имени генерала Крейзера улице в городе Ашдоде, и к этой инициативе начинают подключаться новые города. А впереди еще много других, не менее важных шагов. Мы хотим, чтобы книга попала в руки множества читателей, чтобы ее смогли получить еврейские организации – общины, клубы, учебные заведения. Лишь таким путем можно добиться, чтобы образ прославленного полководца оставался значимым для новых и новых поколений еврейского народа.

Величие этого образа не исчерпывается количеством орденов и перечнем одержанных побед. В представляемой книге, наряду с многочисленными и подробными описаниями военных действий, не меньше внимания уделяется личности, характеру, нравственным принципам героя повествования. Он предстает перед читателем в самых разных ситуациях: и в напряженной воинской учебе, и под смертоносным огнем врага. Мы видим его в штабе при планировании операций и в окопе на передовой линии, откуда можно внимательно, во всех подробностях разглядеть позиции противника. Не менее драматичными подчас были ситуации испытаний мирного времени. Проследив шаг за шагом весь жизненный путь героя повествования, мы сделали вывод: Яков Григорьевич Крейзер на всех поворотах судьбы оставался самим собой, проявляя честность, храбрость, высокую нравственность и высокие требования к себе. Таким он предстает на страницах книги, на протяжении всех ее 25 глав.

Попробуем и здесь, в более сжатой форме, проследить этапы биографии прославленного полководца и замечательного человека.

***

Начался его жизненный путь в месте, не вполне традиционном для российских евреев эпохи черты оседлости. Семья Крейзеров в середине XIX века обосновалась в Воронеже, - городе, расположенном вне пределов «страны идиш». В тот период существовало пять основных пунктов исключений из законов, ограничивающих место жительства евреев лишь местечками Западного края. По семейному преданию, дед Якова Григорьевича получил право жить в Воронеже как отставной солдат, а начинать службу в эпоху рекрутского набора ему приходилось как юноше-кантонисту.

С помощью потомков семьи Крейзеров, живущих ныне в Израиле, мы смогли уточнить генеалогию рода, и в результате на страницах книги появилась схема, по которой можно проследить родственные отношения. Одно из открытий состояло в том, что деда будущего генерала звали Алтер Гершкович, впоследствии имя трансформировалось в «Якова Григорьевича». Таким образом, генерал Крейзер стал полным тезкой бывшего кантониста и николаевского солдата.

Описывая подробно выбор профессии военного, мы «заглянули» в пехотную школу, где постигал азы воинской службы… 15-летний Яков. Да, именно в таком возрасте оставшийся сиротой юноша вступил в армию и отдал ей себя без остатка. По окончании учебы, в 17 лет, Яков Крейзер пришел в войска, началась служба, все этапы которой мы проследили по архивным документам Министерства обороны РФ. Ключевым и самым длительным периодом в военной биографии Якова Григорьевича стала служба в знаменитом соединении – Первой Московской Пролетарской дивизии. За 14 лет Яков Крейзер прошел в ней путь от младшего командира до звания генерала. Здесь в предвоенные годы он получил первую награду, высший в Советском Союзе орден – Ленина. Столь высокий статус награды был связан с тем, что на состоявшихся в 1936 г. учениях рядом с майором Крейзером находился и наблюдал за его действиями в учебном бою второй человек в командовании Красной Армии – маршал Тухачевский.

В книге мы приводим подробный анализ текста статей, написанных маршалом по итогам учений, зная, что под именем безымянного командира батальона на самом деле имелся в виду Яков Крейзер. Но с этим же эпизодом

связана и первая загадка в судьбе героя нашего повествования. Менее чем через год маршал Тухачевский был арестован в ходе расследования «военно-фашистского заговора» в РККА. Под маховик репрессий в 1937 году попали тысячи командиров всех рангов. Порой даже мимолетной связи по службе с маршалом Тухачевским было достаточно, чтобы получить суровый приговор, чаще – расстрел. Тот факт, что «гроза 1937 года» обошла стороной Якова Крейзера, в определенном смысле выдвиженца маршала, объявленного главой мифического заговора, можно считать невероятным везением. Обратившись к истории дома, где проживал наш герой, мы увидели: в этой обычной московской пятиэтажке за два года были расстреляны главы семей в 19 квартирах, и в большинстве случаев речь шла о военнослужащих.

Но судьба, видимо, хранила Якова Григорьевича для будущих боевых свершений. Весной 1941 г. он в звании полковника принял командование 1-й Московской мотострелковой дивизией, а 24 июня дивизия выступила из Москвы в сторону фронта. Это было элитное соединение, куда отбирали сильных, тренированных людей. Служивший в ней Эммануил Фридман вспоминал: «Я со своим ростом 178 сантиметров плелся в конце строя». Проследив в книге судьбу многих воинов этой дивизии, мы вынуждены констатировать: из тех солдат, которых повел из Москвы на фронт в первые дни войны Яков Крейзер, живым не вернулся почти никто.

Звездный час полковника Крейзера настал 30 июня 1941 г., когда он получил приказ занять рубежи обороны на реке Березина и задержать наступление немецкой дивизии, входившей в танковую группу непобедимого до той поры Гудериана. Дивизия Крейзера вела непрерывные бои, продолжавшиеся 12 дней. Поскольку фронт обороны был широк, а противник обладал превосходством в танках и безраздельно господствовал в воздухе, Яков Крейзер вынужденно применил тактику подвижной обороны, умело маневрируя, уводя из-под удара свои войска и встречая противника на новом, неожиданном для него рубеже.

Глава книги, посвященная сражению на Березине, включает много конкретных примеров, встретившихся в воспоминаниях участников, а также в текстах наградных листов, составленных «по горячим следам» недавно завершившихся боев. Там есть примеры мужества артиллеристов, под огнем врага выдвигавших орудия для

стрельбы с ближней дистанции прямой наводкой. Есть упоминания о штыковых атаках, в которых красноармейцы элитного соединения имели перевес над врагом. Есть описания первого опыта применения бутылок с зажигательной смесью. Поместив на странице книги фотографию такой бутылки, мы предлагаем читателю всмотреться в текст наклеенной на нее инструкции. Сухим, будничным языком в памятке описан весь порядок действий бойца, начиная со слов «Укройся в щели, в воронке от снаряда» вплоть до финальной строки «Стремись поразить танк, машину двумя-тремя бутылками». Но мы понимаем, что на практике выполнить последний пункт инструкции удавалось нечасто. Воин, находящийся в 15 метрах от танка, вряд ли имел возможность кинуть вторую и третью бутылку. Но в соединении с мужеством рядовых красноармейцев это оружие стало опасным для врага.

Не уступал своим бойцам в мужестве и командир дивизии. В книге описан эпизод, в котором полковник Крейзер, заняв место в танке, лично возглавил одну из контратак. Неся потери, но стойко удерживая позиции, укрываясь от бомбовых ударов и стремясь избежать окружения, дивизия Крейзера мужественно сдерживала врага в то время, когда для советского командования был дорог каждый день, чтобы подтянуть резервы, построить рубежи обороны в районе Смоленска, прикрыть главное в истории войны московское направление.

Другой, не менее драматичный аспект этой истории связан с тем, что, задержав врага, дивизия Крейзера дала возможность еще какой-то части беженцев уйти в последний момент от стремительно приближавшейся линии фронта. В книге приводится пример из дневников самого знаменитого военного корреспондента Великой Отечественной. Константин Симонов описывал, как, двигаясь на фронт в сторону расположения оборонявшихся частей, он увидел на переправе группу командиров, среди которых был и полковник Крейзер. И в той же главе дневника Симонов описывал, как выглядят беженцы, идущие навстречу ему: «Вдоль дороги шли с запада на восток женщины, дети, старики, девушки с маленькими узелками, девочки, молодые женщины, большей частью еврейки, судя по одежде, из Западной Белоруссии».

В книге описано несколько конкретных историй еврейских семей, уходивших от немцев в полосе боевых

действий дивизии Крейзера, и живущие ныне потомки тех людей считают, что их родители своим спасением обязаны мужеству воинов этой дивизии и ее командира.

В ходе боев на Березине полковник Крейзер был ранен, и о присвоении высокого звания Героя Советского Союза он узнал, находясь в госпитале. Но через две недели его, смуглого, обветренного, с перевязанной рукой, снова можно было видеть в расположении дивизии, которую он восстанавливал из тех немногих бойцов, кто прошел до конца оборонительное сражение от Березины до губительной переправы через Днепр.

Маршал Жуков в самой известной книге воспоминаний о войне писал, что командир дивизии Крейзер блестяще показал себя в сражении на Березине. Вскоре после тех боев Яков Крейзер получил генеральское звание и принял командование 3-й армией Брянского фронта. История ее была одновременно и героической, и трагической. В сентябре 1941 г. она успешно вела контрнаступление против немецких частей, но в октябре из-за просчетов советского командования весь Брянский фронт оказался в окружении. В котле оказались несколько сотен тысяч красноармейцев, войска трех армий, и в том числе 3-я армия генерала Крейзера.

В книге подробно описывается история тех боев и отчаянные попытки генерала вывести свою армию из котла, спасти хотя бы часть личного состава.

Понимая невероятную сложность задачи, командование Брянского фронта обратилось с призывом к солдатам армии Крейзера. Вчитаемся в этот потрясающий текст: «Вы, советские бойцы и командиры, крейзеровцы, уже нанесли врагу не один чувствительный удар… Вашим примером мужества и отваги, умением вести бой в сложной обстановке, гордится вся Красная Армия».

Какое замечательное и какое почетное звание в обращении к солдатам осенью 1941 года: «крейзеровцы»…

Сумев прорваться из окружения с частью своих войск, генерал Крейзер восстановил армию и занял вместе с ней рубежи обороны на тульском направлении. А в начале декабря он принимал участие в боях на южном фланге битвы под Москвой, участвовал в самом первом с начала войны наступлении, где удалось окружить часть войск противника. До этого в окружения на советско-германском фронте попадали только советские дивизии и армии.

Впрочем, опыт ведения современной войны еще только накапливался советскими полководцами, и превосходство немецкой военной стратегии пока сохранялось. Следствием его стал разгром еще одного фронта, на этот раз на юго-западном направлении, которым командовал маршал Тимошенко. Ошибка в направлении советского наступления южнее Харькова привела к тому, что на Барвенковском плацдарме оказались отрезаны войска двух армий и одной армейской группы. Масштаб этого окружения, пожалуй, вдвое превосходил случившуюся через полгода катастрофу армии Паулюса под Сталинградом. Среди находившихся в западне войск была и 57-я армия, заместителем командующего которой с февраля 1942 г. являлся генерал Крейзер.

Впрочем, возглавить эту армию ему все же довелось – в конце мая 1942 г., когда при попытке выхода из окружения погиб ее командующий генерал Подлас. Страницы книги, где описаны бои на Барвенковском плацдарме, было тяжело писать, и думаю, непросто будет читать. Это была катастрофа огромных масштабов, потери Красной Армии (убитыми и пленными) составили около 300 тысяч человек. Находясь в ужасающем положении, без еды и боеприпасов, бойцы окруженной группировки, собирая остатки сил, шли на прорыв. И вновь генералу Крейзеру удалось вывести из котла часть своих подразделений.

Наград за это он, конечно, не получил. Руководство страны старалось не привлекать к трагическому эпизоду войны слишком много внимания. К сожалению, и в публикациях о боевом пути Якова Крейзера нечасто можно встретить описание трагического периода в конце весны 1942 г. Но это, несомненно, ошибка: только показывая всю тяжесть и ужас боев, связанных с отступлением, можно увидеть, какой дорогой ценой далась последующая Победа.

А генерал Крейзер продолжал свой боевой путь. После обучения на курсах Академии Генерального Штаба он получил задание сформировать новую армию, получившую название 2-й гвардейской. В декабре 1942 г. эта армия заняла позиции под Сталинградом напротив наступавшей из Котельникова армейской группы Манштейна. 2-я гвардейская вынесла на себе главную тяжесть удара немецких танков и затем перешла в наступление. Читатели старшего поколения наверняка помнят описания тяжелейших боев в книге Юрия Бондарева «Горячий снег». Будущий писатель служил тогда артиллеристом во 2-й

гвардейской армии, и все, рассказанное в книге – это описание реальных событий.

С февраля 1943 г. Яков Крейзер возглавил 2-ю гвардейскую армию, вел с ней успешное наступление в ходе Ростовской операции, освободил Новочеркасск. Но весной наступление остановилось, на пути лежала мощная полоса укреплений противника на реке Миус. Можно утверждать, что никогда еще в ходе Великой Отечественной войскам Красной Армии не приходилось встречаться со столь мощной обороной. Три полосы укреплений уходили вглубь на десятки километров, позиции на высоких берегах рек и на господствующих высотах были окружены минными полями и бетонными дотами.

Четыре армии Южного фронта несколько месяцев не могли преодолеть этот рубеж. В июле 1943 г. генерал Крейзер вновь получил приказ вести армию на прорыв. Видя огромные потери и понимая неизбежность предстоящего окружения одного из стрелковых корпусов на противоположном берегу Миуса, командующий армией приказал ему остановиться. Командование фронта, будучи не в силах выполнить приказ Ставки, решило назначить генерала Крейзера ответственным за свои неудачи. Судить о подробностях этой драматичной истории мы можем лишь по косвенным свидетельствам. Командующий артиллерией 2-й гвардейской армии дал показательный заголовок той части воспоминаний, где рассказывает о «совещании», на котором маршал Тимошенко обвинял Крейзера: «Суд идёт». Действительно, по всем признакам, речь шла о подготовке трибунала, первым шагом к которому стало отстранение генерала от должности – командования 2-й гвардейской армии.

Описывая этот драматичный эпизод в книге, мы называем ошибочным утверждение, имеющееся почти во всех публикациях по этой теме: якобы лишь приезд маршала Василевского позволил отменить несправедливое решение. Надеемся, приводимые в книге факты и система доказательств покажутся читателям убедительными. Там утверждается, что столь демонстративное решение с назначение Якова Крейзера командующим соседней, 51-й армии, действовавшей на том же участке фронта, мог принять только один человек в авторитарной стране.

51-я армия имела сложную судьбу. Сформированная в 1941 году в Крыму для обороны полуострова, она дважды теряла большую часть своих войск и эвакуировалась из

Крыма. За два года войны в ней сменилось 9 командующих. Яков Григорьевич стал десятым – и последним: с ним воины этой армии завершили прорыв Миус-фронта, освободили Донбасс, прорвали немецкую полосу укреплений «Восточный вал» и вышли к берегам Черного моря. С ним 51-я армия вела бои на Перекопе, форсировала Сиваш, штурмовала Севастополь, водружала знамя на Сапун-горе, где сейчас установлен бюст генерала Крейзера. Закончила свой боевой путь 51-я армия под командованием Крейзера в Прибалтике, где вела бои с остатками немецкой группировки в Литве и Латвии даже после дня Победы.

На кадрах кинохроники, запечатлевших Парад Победы в Москве 24 июня 1945 г., мы видим во главе колонны 1-го Прибалтийского фронта его командующего, маршала Баграмяна, армянина, родившегося в азербайджанском селе. Вслед за ним, подняв вверх парадные шашки, следуют четыре командарма: по краям генералы Папивин и Чистяков, а в центре генерал Чанчибадзе и командующий 51-й армии внук кантониста Яков Крейзер. Трудно представить более интернациональный сюжет.

Утверждая именно этот интернациональный подход, мы в то же время с чувством особой гордости подбирали и выкладывали в книге наградные листы воинов-евреев, служивших в дивизиях и армиях, которыми командовал Яков Крейзер. На многих из них удалось увидеть и его резкую, угловатую решительную подпись. Но есть среди них и немало листов, где представление к награде являлось посмертным.

Закончилась война, но испытания мирного времени подчас были не менее опасны. Известно, что Яков Крейзер являлся членом президиума Еврейского антифашистского комитета, уничтоженного Сталиным после войны. В представляемой книге мы попытались подробно проследить эту тему – от первого упоминания о ЕАК в письме Якова Крейзера летом 1942 г. до финальной развязки, когда имя генерала стало вноситься следователями в протоколы допросов подвергавшихся пыткам членов ЕАК. Статья обвинения готовилась самая тяжкая, а с учетом восстановленной в СССР смертной казни – безусловно расстрельная: оформлялось дело о связи генерала Крейзера с якобы существовавшими в ЕАК планами захвата Крыма. Облегчал задачу следователям

очевидный факт: Яков Крейзер действительно одно время был в Крыму, он его освобождал.

В книге мы также приводим свое понимание причин, по которым генерал Крейзер не был включен руководством страны в число участников комитета, подлежащих уничтожению, и эта глава, надеемся, также заинтересует читателей.

Особую радость при написании книги доставила возможность вести беседу с людьми, лично знавшими генерала Крейзера, служившими под его началом. Своими воспоминаниями о Якове Григорьевиче поделились ветераны Вооруженных Сил подполковник Владимир Залманович Кривулин, подполковник Давид Александрович Зельвенский, генерал Григорий Абрамович Крошнер.

Выше мы отмечали, что при написании книги удалось проследить по архивным документам Министерства обороны все этапы воинской биографии Якова Григорьевича Крейзера. Заканчивается его учетно-послужная картотека записью: «Умер 29 ноября 1969 г. при исполнении служебных обязанностей…»

29 ноября 2021 г. на Земле Израиля открывается Неделя памяти генерала Крейзера. Как известно, жизнь любого человека конечна. Но жизнь выдающихся личностей продолжается до тех пор, пока сохраняется их образ в памяти потомков.

29 ноября.

День последний.

День первый.

Александру Воронелю – знаменитому ученому, выдающемуся публицисту, легенде борьбы за «выезд» и просто замечательному человеку исполнилось девяносто лет. Мы желаем ему отпраздновать стодвадцатилетие в добром здравии и здравом уме.

Виктор Конторович

Кукольный дом

В харьковском городском саду (мы знаем его, как сад Шевченко, но раньше он носил другие названия) стоял старый кирпичный дом, населенный как известная Воронья слободка. По-видимому, он был как-то связан с театральным институтом, находившимся по другую сторону Сумской улицы. Выдавали это сходство те же красные кирпичи и, возможно, сходная архитектура. А также то, что в доме жило несколько семей преподавателей института. Мы называли его Кукольным домом, уж не знаю, почему.

В этом доме и поселился Саша Воронель после того, как женился на Неле Рогинкиной, дочери одного из преподавателей театрального института и сокурснице Саши по физмату харьковского государственного университета. Впрочем, полное имя Нели было Нинель, что значит Ленин, если прочитать наоборот. Возможно поэтому, она в дальнейшем переименовала себя в Нину, и уже как Нина Воронель известна многочисленным любителям поэзии и прозы.

На физмате Саша появился на втором курсе и сразу обратил на себя внимание. Оказалось, что он отлично бегает стометровку, хорошо стреляет из пистолета на военных занятиях, интересно выступает на семинарах, и что с ним можно поговорить на любые темы. Как-то на переменке Ирочка Фуголь, наша одногруппница, сказала в словесном портрете о Саше, что у него французский верх и африканский низ. Двойной смысл сказанного до нее дошел после всеобщего смущенного хихиканья. Меня же всегда поражали в Саше его глаза. Он всегда внимательно слушал собеседника, а взгляд отражал работу мысли и доброжелательность. Из остальных наших милых одногруппников никто никого никогда не слушал, хотя все говорили, причем, обычно одновременно.

Некоторые подробности непростой Сашиной биографии я узнал много позже. Мы как-то сразу сдружились, но самым близким Сашиным другом той поры стал Марк Азбель. Марк учился курсом старше, но компанию поддерживал в основном с нами. Наверное, мы ему больше

подходили по возрасту. Разговоры Саша с Марком вели в основном о физике. Или ее приложениях. Например, я помню их увлеченные разговоры о возможной датировке древних развалин по перекристаллизации раствора, скреплявшего кирпичи или камни. Наверно, здесь сказалось то, что Сашина мама, Фаина Лазаревна, одно время занималась археологией и брала Сашу на раскопки.

Центральное место в преподаваемых нам предметах занимала математика. А. Я. Повзнер читал подходящий для физиков курс как некий непрерывный поток сведений, примеров и задач. Он мог закончить лекцию со звонком, введя функцию «эф от х», а на следующей лекции через пару дней продолжить «равно х». Потрясения были где-то вдали и, как оказалось, поджидали нас впереди. Нам же в этом прекрасном будущем мерещились только тома Ландау и Лифшица «Курса теоретической физики» и лаборатории университета. Саша, конечно, понимал куда больше, но помалкивал. О чем он умолчал тогда, много позже он описал в прекрасных глубоких статьях и книгах. Преподаватели соблюдали осторожность. Все шло к тому, о чем Неля написала «Когда сама История споткнулась о плохо подготовленный погром».

Бытовые проблемы занимали все больше сил и времени. Саше и Неле пришлось снимать квартиру где-то на окраине. У Нели от той поры остались строчки: «Где-то за ставнями и у крылечек жизнь притаилась тупая и злая. Путь человека тревожно отмечен бешеным плеском собачьего лая». Вскоре на белый свет появился их сын Володя, и они вернулись в Кукольный дом.

У Саши была явная склонность к философским глубинам и обобщениям. Он пытался применять физические понятия и законы к социальным явлениям. Иногда это многое проясняло. От него я узнал, что наше сознание инстинктивно, наряду с источником Добра (Бог), допускает источник Зла, который олицетворяется с Дьяволом (Сатаной). Иначе нельзя понять, откуда при всесильном добром Боге в мире столько зла. Это направление в философии называется манихейством. Так что мы, скорее всего, манихейцы. В массовом (христианском) сознании Зло, а иногда и сам Сатана отождествляется с евреями. Поэтому антисемитизм - это не только косность, замешанная на безграмотности, зависти и злобе. А вере, как известно, не нужны доказательства. Сашу же

интересовала судьба евреев в СССР, чем ему пришлось на определенном этапе заниматься вплотную.

В лаборатории Саша увлекся физикой жидкостей и фазовыми переходами (в жидкое состояние). На защите Сашиной дипломной работы по критическому состоянию жидкостей (где теряется разница между жидкостью и газом) рецензент Евгений Станиславович Боровик, один из наиболее серьезных экспериментаторов университета, сказал, что эта работа – полноценная глава кандидатской диссертации. Высоко ценил Сашины работы и самого Сашу, как личность, Илья Михайлович Лифшиц, признанный глава харьковской теорфизической школы. Тем не менее, Саше после окончания пришлось уехать «в глушь, в Саранск», пребывание в котором ярко описано Нелей в ее воспоминаниях. К счастью, они через пару лет смогли перебраться в Подмосковье в Менделеево.

Саше с коллегами, действительно, удалось сделать фундаментальную экспериментальную работу по особому поведению теплоемкости и ряда других физических величин в критической точке газ-жидкость. Исследование этого особого поведения стало целым направлением в физике. Работы Сашиного коллектива были востребованы во всем мире…

И тут грянул гром, связанный с делом Синявского и Даниеля. С Юликом Даниелем и Ларой Богораз Саша и Неля близко дружили и не могли остаться в стороне. Начался растянувшийся на годы период правозащитной деятельности.

Бывая в Москве в этот период, я всегда старался навестить Сашу и Нелю. Во время одного посещения, уже под вечер, я был остановлен на ступеньках их подъезда солдатами. У меня попросили документы. Неподалеку в кустах стоял военный газик. Подошел молодой офицер. Я объяснил, что приехал в командировку и зашел навестить университетских друзей. Меня пропустили. Над входной дверью в квартиру торчали какие-то резиновые или пластмассовые трубки. Явно акустического назначения. За окном кухни, чуть в стороне, висела люлька, в которой двое рабочих что-то усердно мастерили. То есть это была какая-то скорее театральная, чем реальная, панорама, какой-то перформанс, как сейчас бы сказали, грубой слежки и прослушки. Это было явное оказание психологического давления. Но внутри жизнь шла так, как если бы ничего

этого снаружи не было. Впрочем, чего стоило это спокойствие, нетрудно понять.

В нашей дружбе с Сашей и Нелей долгие годы играла роль любимая Сашина кузина Ляля Осадчая. Их матери с Сашей были родные сестры. Лялечка была очень хлебосольна и часто собирала у себя друзей. Это было и в Харькове, и продолжалось в Израиле. Среди гостей иногда появлялась Рената Муха, и тогда веселье лилось через край.

В пору особенно активных преследований Саша «сбежал» к Ляле и скрывался у нее довольно долгое время. Никто из нас не знал об этом. Саша купил железнодорожный билет на юг. В Харькове, где была долгая стоянка, не забирая вещи, вышел из поезда и не вернулся.

У оперативников КГБ к Саше накопились «чисто человеческие» претензии. Так, он оказал сопротивление и стал звать на помощь, когда его схватили на улице и стали запихивать в автомобиль. Когда же его, наконец, через несколько часов «беседы» отпустили, и он возвращался домой, оперативники окружили его с Нелей у подъезда их дома и прокричали что-то в духе: «Ну, профессор, теперь держись!» Саша втолкнул Нелю в просвет между дверьми и приготовился к отпору. Но здесь вперед вырвалась Неля с криком: «Мы идем к себе домой, немедленно пропустите нас!» И блюстители порядка отступили.

Много лет спустя, оказавшись на съезде израильского физического общества в институте Вейцмана, я сидел в зале рядом с Сашей на докладе Марка об открытом им универсальном законе распределения по продолжительностям жизни. Это был степенной закон с изломом в сторону долгожителей. Эту ветвь «мафусаилов» Марк особенно пропагандировал. Саша, наклонившись ко мне, сказал, что, если дойдет до дела, то скорее будут использовать короткоживущую ветвь. И сослался на своего сына Володю, который утверждал, что в конкуренции опыта и возраста победит молодой человек, так как все так быстро меняется в современном мире, что опыт уступает возможности освоить новое.

90 лет. Много это или мало? Пожелание до 120, столь популярное среди евреев, уносит нас в незапамятные времена шумеров, из среды которых вышел со своим племенем отец Авраама. Шумеры пользовались шестидесятеричным исчислением. Оно тоже явилось

следствием пальцевого счета, но по фалангам пальцев. Так что 120 в 60-ричной системе - это круглое число. Именно круглое число лет прожил Авраам. И я желаю того же Саше, здоровья и избавления от недугов, того счастья в кругу семьи, которое он, безусловно, заслужил.

Эдуард Бормашенко

Александр Владимирович Воронель

Несколько раз в жизни мне непозволительно, неприлично и незаслуженно везло. Так мне посчастливилось в 1996 году познакомиться с Александром Владимировичем Воронелем. «Трепет забот иудейских» был прочитан до этого; никакая книга не производила на меня столь ошеломляющего впечатления, как это размышление о судьбах вымирающего, нетвердо и с оглядкой исходящего из СССР российского еврейства. Я в те годы входил в еврейскую традицию; точнее, традиция меня поглощала, и книга Воронеля подсветила те ее грани, о которых не догадывались и самые проницательные ее адепты, прожилки, различимые лишь только через особенный еврейско-русский воздух, плотность которого становится все жиже. Но и сегодня свежесть и актуальность текстов Воронеля изумляют: «В нашем XX веке равенство может оказаться условием угнетения, а аристократизм - формой сохранения человечности; разум для многих может стать средством порабощения; а религия - путем к свободе; всемирность оборачивается шовинизмом и деспотизмом великих держав, а национализм - участием в мировой культуре; милосердие превращается в суету вокруг мелочей, а техника - в средство удовлетворения жаждущих, искоренения нищеты. Необходимо отказаться от этих понятий и противопоставлений, чтобы увидеть мир как он есть. ...Или сохранить понятия и изменить мир. Мне кажется, что именно это делают всякие революционеры, троцкисты и че-гевары. Ради слов и символов эти бешеные готовы кромсать мир, живое мясо. В основе лежат, конечно, не слова, а стремление к утверждению, воля к власти, позыв к насилию. Но все же свои и чужие жизни приносятся в жертву словам.

Нас приучали, что образование и интеллектуальная жизнь есть благо, оплаченное трудом рабочих и крестьян, и наш долг - приобщить их к этому благу и заботиться об их душах и телах. Но в XX веке мы видим другое: наша мысль питает рабочих, а заодно сними - большое количество бездельников, которые готовы на необеспеченное существование хиппи и полную опасностей жизнь

революционера, лишь бы их не принудили к этой интеллектуальной жизни и образованию. Мы - интеллектуалы с рабочими вместе - превратились в дойную корову прогресса, которая кормит и поит всех этих идеологов дикости вместе со многими миллионами размножающихся дикарей для того, чтобы служить им объектом разоблачений в настоящем и тельцом для заклания в чаемом будущем» (*А. Воронель «Трепет забот иудейских»*). В XXI веке идея тотального равенства добралась и до Америки, и грозит ей гибелью, разум таки стал средством порабощения, а нас, физиков, усердно, успешно и непреложно доят апологеты невежества и уравниловки.

Судьба человека, по-видимому, так устроена, что Всвышний каждому из нас посылает Учителя, Друга и Гения. Важно только их распознать «на пыльных перекрестках мирозданья». Александр Воронель – гений, ибо талант отлично попадает в едва заметные цели, а гений попадает в цели, которые никто и не видит. Александр Владимирович понял, что целью нашего Исхода является не бегство из обаятельной, стильной, душевной тюрьмы, и не успех на румяном Западе. Исход дает нам возможность узнать нечто о самих себе; нечто, никаким иным способом не познаваемое. Свобода, доставляемая эмиграцией, - свобода «познать себя», - самая невостребованная из свобод.

Исход, эмиграция – столь любимый Воронелем фазовый переход, эксперимент, поставленный на самом себе. Молекула при фазовом переходе остается все той же, но свойства вещества, массы, тела меняются радикально.

Еврей – синоним «иного», «другого», «отделенного». Воронель всегда оставался иным и среди евреев. Хорошим тоном для талантливого еврейского юноши в недалеком, но уже припорошенном годами прошлом считалось податься в физики-теоретики. Воронель - упорный, несгибаемый экспериментатор. Александр Владимирович как-то обронил, что главные качества экспериментатора, без них не обойтись, - наблюдательность и изобретательность. И это правда. В нашем ремесле правят терпение, время и всесильный бог деталей. В эксперименте нет мелочей. Это роднит физический эксперимент с искусством: «Наверно, тем искусство и берет, что только уточняет, а не врет, поскольку основной его закон, бесспорно, независимость деталей». Эти поразительные строчки Бродского равно

приложимы и к искусству романа, и к искусству физического эксперимента. Неотменимо важны: деталь, подробность, мелочь; но вот в чем штука, великие и ужасные теории приходят и уходят; хороший эксперимент остается навсегда.

В международном сообществе физиков хорошим тоном почиталось презрение к метафизике и философии. Что они понимают, эти болтуны-философы? Они же не в состоянии раскрутить элементарнейшую задачку, посчитать простенький, жалкий интеграл. Воронель и здесь – иной. Для Александра Владимировича физика интересна лишь тогда, когда подбирается к границам своей компетентности, когда просачивается к метафизике, теологии, философии. Работа Воронеля «Теологические корни научного поиска» - пример поразительно продуктивной, погруженной в историю свободной мысли философии естествознания. Читайте и перечитывайте Воронеля. Иногда станет горько, иногда себе скажете: «я всегда об этом знал, догадывался, но, как-то не пришлось сформулировать», на любой странице поразитесь отточенности стиля, но наверняка не пожалеете.

Судьба Александра Воронеля – поразительный пример единства мысли и действия, жизни. Мы как-то слишком легко стали мириться с тем, что говорим одно, пишем другое, а живем и вовсе, как получится. Воронель и его единомышленники в семидесятых, вырвавшись из СССР, прорвали стену бесконечной египетской толщины. Архетип Исхода оказался вечнозеленым. Затем стена рухнула, и, как казалось, навеки. Сегодня уже никому так не кажется. Релаксация империи и регенерация ее ядовитых органов свершилась подозрительно быстро. Что достанется будущим поколениям? Кто знает? Но вот, что уж точно останется – рассказ об Исходе, и всякий умножающий рассказ об Исходе, достоин похвалы.

Александр Воронель

Что наша жизнь? Игра

В юности под влиянием маминых студенческих занятий я прочел "Историю Рима" Теодора Моммзена. Ну, не все пять томов подряд, но выборочно с пятого на десятое. Это чтение произвело на меня большое впечатление. И, сталкиваясь впоследствии с другими историческими эпизодами в книгах - Французской революции, Российского Февраля 1917-го и Октябрьского переворота – а в жизни – с Войной, Оттепелью, Перестройкой и Алией – невольно сопоставлял эти события с историей Рима (или, может быть, скорее с сюжетом блестящей книги Моммзена). Может быть, не держи я в памяти моммзеновской картины Рима, я бы и события в окружающем мире воспринимал, как случайные факты, не связанные никакой причинной цепью, а лишь как часть хаоса, с детства обступающего человека, приходящего в мир.

Впоследствии, изучая физику и математику, я получил представление, что и остальной мир не хаотичен - или не совсем хаотичен - а управляется некими законами, хотя применение их в отдельных случаях настолько затруднено, что мы и сейчас не можем до конца в этом разобраться.

Например, долговременный прогноз погоды по-прежнему является почти неразрешимой задачей, несмотря на повсеместные наблюдения, ежедневные измерения и широкое применение компьютеров. Я сознательно выбрал простейший пример, не включающий никакой квантовой механики и прочих современных тонкостей, выводящих этот простой предмет за пределы воображения обыкновенного человека. Только вода и ветер!

Действительно ли мир управляется какими-то законами? Мы никогда не узнаем этого до конца, но общее правило – "незнание закона не освобождает от ответственности" - всегда будет тяготеть над нами.

Поэтому счастливые люди, которые легко принимают допущение, что это именно тот закон, о котором им сообщает их родительская традиция, поступают в высшей степени разумно. К сожалению, советская власть лишила нас этого приятного, неотягощающего наследия: ощущать как родственные, семейные связи, требования своей унаследованной религиозной традиции.

Религия – это игра. Особенно наша, иудейская религия. Выигрыш в этой игре так же непредсказуем, как в жизни. Но разница очевидна – в жизни нет правил.

Собственно, всякая культура – игра. И во всякой культуре есть твердые правила. Но в результате большевистского переворота в России небольшая группа интеллектуалов задумала радикально изменить все, действовавшие до того, правила и установить свои, якобы рационально обоснованные, то есть вычитанные из книжки законы.

На короткое время им это даже удалось. Правда, за счет убийства и ограбления заметной части народа. Смута и беспредел с отсутствием правил продолжались несколько лет. Однако, скоро инерция предшествовавшей народной жизни вернула Россию к ее правилам. еще более твердым, чем бывшие до этой попытки. И Иосиф Сталин в согласии - или при попустительстве - большой части партии (и народа) самодержавно устранил, одного за другим, всех фантазеров, которые в 17-м покусились на установившиеся в России правила. Вскоре после его смерти Никита Хрущев, столь же самодержавно, объявил Сталина преступником и злодеем. Неудивительно, что после таких исторических пируэтов мы все, советские выходцы, выросшие в условиях неустановившихся правил, усвоили скептическое отношение ко всяким правилам и авторитетам, среди которых и религиозные не всегда кажутся нам лучше остальных.

Иудаизм, продолжая развивать и усложнять свою игру, начатую еще за века до новой эры, не ограничился даже Талмудом, - составленным десятками мудрецов с III в. до н. э. по VIII в. н. э. – и внесшим поистине нетривиальные интеллектуальные элементы в эту игру. Исходный аристократизм иудейского общества, приведший к отсутствию в еврейском вероучении отчетливого представления о Рае и Аде, не дает вульгаризаторам и сейчас твердой опоры для господства в простых умах, и это внушает надежду на будущее развитие.

Впрочем, в последние годы растет в Израиле и популяция упростителей, которая уже угрожает охватить своими простыми механическими толкованиями все общество верующих.

Когда-то упрощенное понимание заповедей привело средневековых христиан к кровавым Крестовым походам. Гроб Господень якобы нуждался в их усилиях для

освобождения от неверных. Хотя и неясно, в чем может нуждаться гроб. К тому же, из Евангелий было известно, что Иисуса в этом гробе уже нет...

Но десятки тысяч людей из Европы прошли пешком тысячи километров до Иерусалима, сражаясь и погибая по дороге, ради участия в этой игре. Конечно, у них присутствовали и другие, более материальные, интересы, но все же их одних было бы совершенно недостаточно для таких грандиозных событий.

Содержание заповедей всегда многозначно, и обычное возникновение толков и сект есть лишь либеральный, демократический способ конечного их постижения.

Когда я пишу "верующих", я использую принятое в русском языке, благодаря христианству, слово, которое совершенно искажает смысл проблемы. Исходным в иудаизме является не вера, а действие. И поэтому, чтобы подчеркнуть истинный игровой характер проблемы, нужно было сказать не "верующие", а, в соответствии с еврейской традицией, "соблюдающие". Тогда игровой характер религии обозначился бы совершенно отчетливо.

Соблюдение правил игры есть единственное условие действительного участия в ней. Верующих среди евреев, конечно, больше, чем носящих кипу, и уж, конечно, гораздо больше, чем тех, которые поверх кипы надевают еще и шляпу. А соблюдающих демократическую традицию в нашей стране еще больше, хотя уже соблюдение этих правил не носит видимых внешних признаков. Демократия, это, конечно, тоже игра.

Высокий уровень европейского образования последних волн алии из России дает возможность нашей группе занять видное место в модерном израильском обществе. Однако рациональная культура также имеет свои правила, которые по своему статусу не ниже правил религиозных. Разум ведь подарил нам тот же самый Бог, что даровал Тору. Эта встреча традиций оказывает сейчас решающее влияние на нашу ежедневную политическую жизнь и определит наше будущее.

Владимир Ханан

Жизнь и мечта писателя Смирнова

Однажды в котельной, где я работал, появился новый оператор – так в газовую эпоху стали называть кочегаров – Саша Смирнов. Это был невысокий, энергичный и дружелюбный парень лет тридцати, выглядевший моложе, но уже с солидным профессиональным стажем. На смену он неизменно приходил с портативной пишущей машинкой, на которой постоянно что-то печатал. Довольно скоро выяснилось, что Саша пишет прозу, в основном короткие рассказы, иногда стихи; при этом его мозг был как-то удачно заточен под палиндромы, которые он сочинял во множестве. К сожалению, я запомнил только два: «Не диво ли – макак, а миловиден?» и второй, который он сочинил, идя на смену и, придя, подарил мне: «Я у Ханана – на х-я?» Этот палиндром я вспоминал часто, принимая незваных визитёров.

Как опять-таки скоро выяснилось, Саша был писателем-одиночкой, литературных знакомств не имел и ни в какую компанию (термин «тусовка» ещё не появился) не входил. Эту задачу я взял на себя и через короткое время свёл Сашу со своими друзьями, благо почти все котельные нашего района обслуживались пишущей и рисующей братией.

Эффект оказался закономерным, но на редкость скорым. Пишущая машинка быстро оказалась заброшенной, и Саша с головой погрузился в литературную (в неофициальном её варианте) жизнь. Уже через пару лет в нём стали заметны первые признаки алкоголизма, а после близкого знакомства с одной талантливой художницей – и наркомании. Как всегда в таких случаях, процесс развивался быстро, скорым оказался и финал.

Насколько я знаю, при жизни Саша напечатал всего один довольно удачный рассказ, если не ошибаюсь, в газете «Смена». Второй, - а я помнил всего два, - напечатал уже я в русскоязычной израильской газете, просуществовавшей всего одну или две недели. Напечатал я его под именем Александра Смирнова, что исключает обвинения в плагиате. Мне же просто хотелось увеличить литературное

наследство этого, по моему убеждению, несомненно талантливого писателя. Следует отметить, что текста этого рассказа у меня не было, я написал его, можно сказать, по памяти, причём даже не по памяти текста, а по памяти содержания. Уверен, что Саша на меня бы не обиделся. Вот этот рассказ.

Жил в нашем городе некто по фамилии Кукишонок. Несмотря на свою необычную фамилию, был он человеком вполне заурядным. Жил в самом обычном доме, работал на самой обычной работе. Как большинство сограждан, утром вставал или вскакивал по будильнику, пил наскоро чай с немудрящим бутербродом и ехал на работу в битком набитом автобусе, теряя пуговицы и тратя нервы. Отсидев на работе восемь часов, возвращался домой в таком же переполненном автобусе с такими же потерями. И только по выходным устраивал Кукишонок себе праздник, а именно выезжал на рыбалку, коей был большим любителем.

На сей раз рыбалка не удалась, клёва, как назло, не было. За несколько часов бесплодного сидения поймал Кукишонок только одну жалкую рыбёшку, которую в наших краях называют «кобздой» по причине её полной непригодности к чему бы то ни было. Снял Кукишонок её с крючка и швырнул обратно в воду, заметив только краем глаза как бы некоторый золотой отлив её чешуи.

Дело на этом, однако, не закончилось. Через недолгое время подплыла эта рыбка к тому месту, где предавался грустным думам незадачливый рыбак, и сказала ему человеческим голосом: «За то, что отпустил ты меня на свободу, исполню я твоё самое заветное желание. Говори, чего ты хочешь». И, подумав некоторое время, сказал ей Кукишонок: «Хочу я жить в густом лесу в добротном деревянном доме, и чтобы в этом лесу было много грибов, ягод и разной дичи, а рядом с домом чтобы было большое красивое озеро, полное рыбы. И жил бы я там себе, поживал, но чтобы никто об этом не знал».

«Хорошо, - сказала рыбка, - будет так, как ты хочешь», - и, вильнув хвостиком, исчезла в глубине.

Вернулся Кукишонок к себе домой и стал жить, как жил до сих пор: вставал по будильнику, пил свой чай с бутербродом, трясся в переполненном автобусе на работу и с работы, разве что изредка вспоминал про обещанное ему рыбкой и тогда бормотал: «Обманула, стерва…», но особенно её обещанием не заморачивался.

А на самом деле жил Кукишонок в добротном деревянном доме посреди густого леса, полного грибов, ягод и разной дичи, рядом с большим красивым озером, полным рыбы. Но никто об этом не знал, и он тоже.

Вспомнив и заново написав этот рассказ, я подумал – пришла мне в голову такая мысль: а что, если наши мечты сбываются, а мы об этом просто не знаем?

Н.Щаранский и Л. Парфенов
К статье Давида Шехтера

Давид Шехтер

«Намедни» сегодня

(Из книги "Записки пресс-секретаря Сохнута")

Когда в начале 2015 года ко мне позвонили из Москвы с предложением, чтобы глава Сохнута Натан Щаранский дал интервью Леониду Парфенову для фильма о советских евреях, я, конечно, немедленно согласился. Замечательный российский журналист снимал трехсерийный документальный фильм о российских евреях. Одна из серий была посвящена крайне интересному для Парфенова явлению - борьбе практически полностью ассимилированных советских евреев за возвращение к своим национальным корням и репатриации на Родину, в Израиль. Чтобы понять это явление и заснять свидетельство человека, игравшего в этой борьбе одну из главных ролей, Парфенов был готов специально прилететь в Израиль на встречу со Щаранским.

Натана долго уламывать не пришлось. Проблема возникла в другом - в согласовании. Парфенов спешил, хотел приехать только для интервью с Натаном, а тот, как назло, сразу же после парламентских выборов должен был улететь сперва во Францию, а потом в Америку. С трудом удалось выкроить время утром 18 марта - на следующий день после выборов. Я, правда, предупредил представителя Парфенова, что Щаранский может быть не в лучшей форме после бессонной ночи. Но тот выразил надежду, что "Натан Борисович сумеет собраться."

В день выборов, 17 марта 2015 года, ко мне часа в четыре дня позвонил представитель НТВ в Израиле Миша Оркин и спросил, нет ли каких изменений .

- Парфенов с группой из трех человек через час приземляется Израиле, - сообщил Миша.

Поскольку мне никто ничего из канцелярии Щаранского не сообщал, то я с легким сердцем заверил, что все в порядке.

- Завтра утром, как договорились, заезжайте к нам с улицы Аль-Харизи, и я организую вам стоянку во

внутреннем дворике Сохнута, чтобы не надо было далеко тащить оборудование.

- Замечательно, - сказал Миша, - я помню, Аль-Харири!

- Стоп, - закричал я, - Стоп! Аль-Харизи! Это - еврейский поэт, в честь которого названа улица в квартале Рехавия. А Аль-Харири – какой-то арабский деятель, и улица его имени находится в Восточном Иерусалиме. Нателла Болтянская у меня уже так уехала на Аль-Харири! И звонила мне в ужасе - куда я попала?! Так что, пожалуйста, не перепутайте – Аль-Харизи!

А через час я получил эсэмэску от Сарит, начальницы канцелярии Щаранского - надо отменить интервью.

- Ничего не получится, - ответил я, - группа, специально прилетевшая из Москвы, уже здесь. И я ни в коем случае не хочу, чтобы Щаранский поссорился с Парфёновым - это один из самых известных документалистов России. Ну, чтобы тебе было понятно - уровня Хаима Явина.

Но Сарит уперлась.

- Натан в больнице с воспалением легких.

Ничего себе! А мне об этом никто сказать не удосужился. Я позвонил к Натану на его личный телефон. Голос его был слабым, и он все время подкашливал. В таком состоянии ни о каком интервью речи не могло идти. Я стал выяснять у него, что говорят врачи, когда его собираются выписывать.

- Я надеюсь, что уже сегодня вечером, - сказал Натан, - и тогда завтра днем я приеду в канцелярию.

И тут я услышал голос Авиталь, жены Натана.

- Ты сегодня выйдешь из больницы через мой труп, - сказала она жестко.

- Это будет просто катастрофа, - воскликнул Миша Оркин, - Группа уже здесь. Специально прилетела для этой встречи. Знаете, сколько стоит послать такую группу на два дня в Израиль? Да еще Парфенова!

Не буду описывать тот миллион звонков, которые мне пришлось сделать, чтобы успокоить русскую группу, пообещав, что «в случае чего» я организую ей съемку прямо в больнице. Мы договорились, что завтра утром, после обхода врачей, когда станет понятно, какое у Натана состояние, я им сообщу.

Натан позвонил мне в 8 утра.

- Меня пока не выписали, но я надеюсь, что это произойдет завтра утром. Назначайте интервью у меня в кабинете на вторую половину дня завтра.

- Они готовы приехать в больницу.

- Нет, я предпочитаю в моем кабинете, на фоне портрета Сахарова, а не больничных стен. Я уже никуда не лечу - ни в Париж, ни в Нью-Йорк, и приеду в канцелярию специально для них. Так что назначайте время встречи, как им удобно. Я выйду из дома специально для них.

В конечном счете, интервью состоялось лишь на следующий - последний день пребывания Парфенова в Израиле. Но все эти наши мучения окупились - Парфёнов был в восторге от рассказов Щаранского.

Я просто испугался, увидев Натана – и в особенности услышав. Вдобавок ко всему он дома где-то зацепился ногой, упал, и на его лице красовался синяк.

- Не страшно, - успокоил меня Парфенов, - я умею гримировать.

В дополнение к своим многочисленным талантам, Парфенов оказался еще и гримером. За несколько минут он так сделал макияж Щаранскому, что синяк совершенно исчез.

Теперь надо было преодолеть проблему хриплого голоса. Но я знал, что тема близка Натану, а в таких случаях он увлекался и забывал обо всем. Щаранский тоже опасался хрипоты, поэтому, войдя в кабинет, сразу же попросил горячий чай с лимоном и настоял на том, чтобы кружка стояла возле него - на стуле. Операторам пришлось повозиться, выбирая кадр, чтобы кружку эту не было видно. Но она не понадобилась. Щаранский разговорился очень быстро, хрипота в голосе исчезла, и он почти час проговорил, что называется, на одном дыхании, даже не прикасаясь к этой самой кружке.

Во время интервью, длившегося больше часа, Парфенов продемонстрировал прекрасное знание истории российских евреев вообще и истории борьбы Натана Щаранского в частности. Разговор, естественно, коснулся недавнего убийства Немцова .

- Я знаю, что в Израиле его считают евреем, - сказал Парфёнов, - но у нас его таковым никто не считал. Это - еще одно свидетельство, что национальность сегодня в России превратилась в культурное понятие. Для нас Немцов был русским. Ну и что, что с еврейской мамой? Он жил в русской культуре и был российским политиком .

И тут Парфёнов разразился длинной тирадой, начав сыпать именами, часть которых и мне была неизвестна.

- С чего, например, начался красный террор? С убийства Соломона Урицкого Леонидом Канегиссером. А почему? Да потому, что Урицкий подписал расстрельный список, в том числе и для юнкера Владимира Перельцвейга - друга Канегисера. Убийство произошло 30 августа, Дзержинский приехал из Москвы, но когда вышел на вокзале и узнал, что в Москве Фанни Каплан стреляла в Ленина, тут же сел в другой поезд и поехал обратно. А через два дня Яков Свердлов объявил о начале красного террора. Этнически все эти люди были евреи. Но они себя так совершенно не воспринимали; они боролись за русскую революцию. Фанни Каплан пошла стрелять в Ленина потому, что он, по ее мнению, предал идеалы русской революции, за которую она сражалась всю свою жизнь. Никакими еврейскими мотивами тут и не пахнет.

В общем, было видно, что знаменитого российского журналиста еврейская тема по-настоящему увлекает. Поэтому можно было надеяться, что фильм получится. И тогда по своей популярности он, вне всякого сомнения, перехлестнет уже ставшее чуть ли не культовым «Намедни». Во всяком случае - среди евреев.

Меня поразило в Парфенове полное отсутствие звездной болезни, которая резко бросалась в глаза при сравнении с недавно побывавшим у нас Познером. В отличие от Познера, всем своим видом демонстрировавшего, что он точно знает цену своему величию, Леонид вел себя просто, открыто, чуть ли не по-свойски, хотя видел нас всех первый раз в жизни. Это создавало и доверительное отношение, и атмосферу раскованности и легкости во время съемок. Что, наверное, тоже помогло Натану справиться со слабостью и вести себя естественно.

Премьера третьей части фильма Парфенова "Русские евреи" состоялась в Израиле 20 ноября 2017 года в зале «Аудиториум» Кнессета. Я пошел на просмотр и перед фильмом подошел к Парфенову. Он сразу узнал меня, тепло поздоровался, хотя видел один раз почти три года назад. Что еще раз продемонстрировало отсутствие в нем звездности и высокомерия.

Что же касается фильма, то в него вошло интервью с Натаном, длившееся почти три минуты. Честно говоря, на столько я и не рассчитывал. А сам фильм меня удивил. В нем Парфенов проводил ту же идею: русский - это не кровь, а культура. И показал в двухчасовом фильме тех евреев по

крови, которые внесли огромный вклад в русскую культуру. На экране я увидел то, о чем всегда евреи говорили между собой, перечисляя имена, которыми гордились. Но, в отличие от разговоров на кухне, это снял и показал русский человек Леонид Парфенов.

Он даже озвучил анекдот, столь любимый евреями. В фильме Парфенов выходит на сцену московской консерватории. В зале никого нет, и Парфенов изображает конферансье, объявляющего очередной номер.

- Песня "Русское поле". Слова – Инна Гоф, композитор Ян Френкель. Исполняет Иосиф Кобзон, - провозглашает Парфенов, а потом, обращаясь прямо в камеру, говорит, – Именно поэтому в СССР стали называть эту песню просто "Поле", убирая первое слово – русское.

А переживания Миши по поводу денег я понял после завершения интервью, когда он мне сказал, что корпункт НТВ в Израиле закрывается – нет средств.

Гордей Щеглов

Шауль Черниховский: «…Я люблю военный лазарет…»

Жизненный путь и творчество выдающегося поэта и переводчика Шауля Черниховского довольно неплохо разработаны его биографами. Однако определенную лакуну в его биографии до недавнего времени составляли годы Первой мировой войны. Самое большее, что об этом времени указывалось в жизнеописаниях - лишь то, что во время войны он «служил врачом в царской армии». И все! А меж тем, это любопытнейший период жизни выдающегося поэта, нашедший широкий отклик в его творчестве. Об этом периоде мы и попытаемся рассказать читателю в настоящем очерке.

Военная гроза застала Черниховского в Петербурге, где он жил уже несколько лет, зарабатывая врачебной практикой. Работал он в Клиническом институте Великой княгини Елены Павловны внештатным ассистентом при профессоре В. А. Штанге, возглавлявшем кафедру физических методов лечения и нелекарственной терапии, а также занимался частной практикой и приемом больных в приватной лечебнице доктора Шауля Варшавчика.

С объявлением войны поэт подлежал мобилизации в действующую армию, как ратник второго разряда. Но, будучи врачом, Черниховский, естественно, стал подыскивать место в военном лазарете или госпитале, которых много организовывалось в то время. При этом, как еврей, он непременно хотел попасть в лечебное заведение, формируемое еврейскими организациями. Но как Черниховский ни старался, ему никак не удавалось устроиться в подобное заведение. Там, где имелась нужда во врачах, не знали, что он военнообязанный, что много лет работал в земстве, что практиковал в качестве хирурга в двух столичных больницах, а у тех, кто знал это, уже не оказывалось вакансий – «их заняли начинающие студенты и студентки в качестве зауряд-врачей, дантисты, а также неевреи». И вот, когда Черниховский безуспешно пытался устроиться в еврейский лазарет или госпиталь, профессор Штанге предложил ему место второго врача в лазарете, формируемом в стенах Петербургской духовной академии

на средства преподавателей духовно-учебных заведений Российской империи. Штанге лично похлопотал за коллегу еврея в Святейшем Синоде. Вскоре Черниховскому позвонили и пригласили подойти на Митрофаниевское синодальное подворье, чтобы пройти собеседование со старшим врачом формируемого лазарета иеромонахом Николаем (Муравьевым), в прошлом выпускником Военно-медицинской академии.

Так началось знакомство поэта с христианским церковным миром, который был ему совершенно неведом, как, впрочем, и многим русским интеллигентам, но ему, как еврею, особенно.

В результате, вспоминал поэт, за пятнадцать минут он получил то, что не сумел получить в течение шестнадцати дней в семнадцати еврейских организациях. Все было определено во многом благодаря «лекарскому знаку», который Черниховский носил на груди. Знак этот выдавался врачам – выпускникам медицинских факультетов университетов и Военно-медицинской академии, и был получен Черниховским после того как он, уже будучи доктором медицины Лозаннского университета, сдал в 1912 году экзамен на звание «лекаря» при Киевском университете. Такой же знак имелся и у отца Николая.

В начале сентября 1914-го лазарет, названный во имя Серафима Саровского чудотворца, был окончательно сформирован и отбыл к месту назначения в Минск. Тамошняя пресса не оставила без внимания его появление, при этом «Минская газета-копейка», в частности, сообщала, что при лазарете врачом состоит «известный поэт С. Черниховский». В лазарете, однако, поначалу не знали, что он поэт, но то, что еврей, знали хорошо.

В Минске лазарет разместился в здании местной духовной семинарии. В первых числах октября в него начали поступать больные и раненые. А уже спустя месяц лазарет развернулся на 100 кроватей, распределенных по девяти палатам.

В это время по ходатайству отца Николая лазарет был принят под покровительство Великой княжны Татьяны, после чего приобрел пышное наименование: «Состоящий под Августейшим покровительством Ея Императорского Высочества Великой Княжны Татианы Николаевны Лазарет во имя преподобного Серафима Саровского чудотворца Комитета Красного Креста Духовно-Учебных Заведений Российской Империи». Персонал его составляли: два врача

(старший и младший), заведующий хозяйством (офицер), шесть сестер милосердия, несколько «братьев милосердия» - студентов-добровольцев и санитарная команда из нижних чинов.

На фотографиях этого времени мы видим Черниховского в офицерской форме – с погонами, портупеей и шашкой. Но официальный статус его на службе Красного Креста был «лекарь, не имеющий чина», т. е. он, строго говоря, не был военным врачом, а только пользовался правами такового.

Сославшись на административную занятость по управлению лазаретом, старший врач большую часть медицинской работы возложил на Черниховского. В своем ведении он оставил лишь две небольшие прекрасно оборудованные палаты, как «почетное отделение», куда попадали только те, кого старший врач сам выбрал из раненых. Обыкновенно это были те, за кем не требовалось большого ухода, и их раны внешне не были видны: переломы, вывихи и пр.

Черниховский обслуживал все остальные палаты, не без основания считая, что старший врач «скидывает» на него свою работу. Вместе с тем, помимо чисто медицинской работы, старший врач возложил на коллегу-еврея еще и ряд иных обязанностей. Например, снимать пробу с приготовляемой для персонала и раненых пищи.

Выглядело это так. Когда в обеденное время с кухни в столовую приносили котлы с горячими блюдами, старший кашевар громко распоряжался позвать врача. Пока его звали, раздатчик брал алюминиевый поднос, ставил на него миску с супом или борщом, в зависимости от расписания блюд, тарелку с куском мяса и солонку. Дежурный врач, а вернее Черниховский, должен был снять пробу, и только после этого начиналась раздача пищи.

Первыми обедали больные и раненые, затем «команда», то есть санитары и работники канцелярии, и уже после них врачи, завхоз и сестры милосердия – спустя два часа после начала обеда!

Сделавшись невольно постоянным «дежурным врачом», Черниховский, впрочем, извлек из этого для себя приятную выгоду. Как-то раз он пришел в столовую дегустировать пищу сильно проголодавшимся. Ароматный запах, исходивший от котлов, возбудил его аппетит еще больше. Когда кашевар поднес блюда для пробы, Черниховский подумал: «А что если не довольствоваться малым, одной только пробной ложкой супа из миски, а съесть все

блюдо?» Никто ведь ничего не потеряет, размышлял он, так как для каждого имелась своя положенная порция. А эта – часть доктора…

Кашевар подал на подносе «дегустацию» и застыл на месте готовый услышать известную фразу: хорошо, раздавай!

– Хорошо, очень хорошо! Уступи-ка мне тоже место; на этот раз я съем всю миску борща вкуса райского сада, а ты раздавай!

Раненые обрадовались, что с ними сел обедать доктор. Черниховскому уступили место во главе стола. Один подал хлеб, другой пододвинул солонку. Раненые были очень довольны, что у его высокоблагородия нет презрения к ним, простым солдатам, и он ест от их стола рядом с ними.

– Ваше высокоблагородие, еще миску! – спешил угодить расторопный кашевар.

– Нет, дорогой, но лапши я возьму.

Порция мяса была небольшой, но лапши раздатчик не жалел. В начале войны с продуктами проблем еще не было: мясо получали хорошее, масла вдоволь, мука отличного качества.

С того дня Черниховский взял за правило «возглавлять» солдатскую трапезу, и прекрасно себя чувствовал, пока дожидался обеда для старшего персонала, с которым обедал… вторично! Для него старший кашевар даже завел фаянсовую тарелку и пометил красной краской по кайме, чтобы «лучше отличать» от солдатских тарелок – глиняных и жестяных. Он нашел также для Черниховского новую цинковую ложку, на ручке которой вырезал буквы «док», а также «застолбил» постоянное место во главе стола – напротив портрета Великой княжны Татьяны.

Была и другая обязанность, которую поневоле исполнял Черниховский. Каждую неделю в лазарет приходила врачебная эвакуационная комиссия. Занималась она освидетельствованием поправлявшихся больных и раненых, решая: кого направить в команду выздоравливающих, кого эвакуировать для продолжения лечения вглубь империи, кого в действующую армию, а кого домой. Возглавлял комиссию военврач Орлов, человек желчный, с горящим взором, подвижный и энергичный, отличавшийся деспотичным характером. Четверо его сотрудников, врачи из мобилизованных, боялись при Орлове даже рот раскрыть. По замечанию Черниховского, Орлов был одним из тех, о ком говорят: «враг евреев по

рождению и антисемит по воспитанию». Каждый солдат, представлявшийся комиссии, уже изначально был для него «маскирующимся», пришедшим обмануть врача, а тем более еврей. Орлов знал, как обставить раненого вопросами. Осматривал и испытывал раненых только он. Об остальных членах комиссии можно было сказать: «уста у них, но не скажут; уши у них, но не услышат». Среди лечебных заведений Минска комиссия снискала репутацию как очень строгая, если не сказать – безжалостная.

Но у Черниховского с Орловым сложились хорошие отношения, председатель комиссии, ценя высокий профессионализм врача-еврея, доверял ему во всем. Впрочем, имелось еще одно обстоятельство, благодаря которому комиссия была довольна Серафимовским лазаретом. Здесь комиссию всегда угощали прекрасным завтраком; повар, большой специалист, нарочно готовил для ее членов котлеты «пожарские». Забавную историю, как эта традиция сложилась, Черниховский описал в одном из своих автобиографических рассказов военного цикла, опубликованных в сборнике «33 рассказа». Рассказы эти впервые были переведены на русский язык моей супругой Ольгой Щегловой, и включены в книгу «Первый Серафимовский: история одного лазарета в событиях и лицах (1914–1918)», опубликованную в Минске в 2013 году.

Как уже говорилось, больных и раненых перед комиссией всегда представлял младший врач, хотя это входило в обязанности врача старшего. Важную роль при этом играло то, как преподносились истории болезней, так как у проверяющих не было времени подробно знакомиться с ними. Поэтому комиссия полагалась на лечащих врачей, представлявших истории; особенно на тех, кому доверяла. А Черниховскому она доверяла! Таким образом, он оказывался «единственным защитником для войска раненых» перед неумолимым взором Орлова, чем и пользовался, чтобы облегчить их участь. Вообще надо сказать, что Черниховского солдаты любили, отвечая искренней признательностью на его внимание, доброту, участливость, интеллигентность, и главное – высокий профессионализм. Ярким свидетельством этому служат многочисленные письма благодарности, которые получал Черниховский от солдат, чьи жизни и здоровье он спас в годы войны.

Следует сказать, что и сам Черниховский привязывался к своим пациентам и по-своему любил их. «Ведь почему я

люблю простого солдата, – рассуждал врач. – Он просто больной, и позволяет мне быть просто врачом. Я делаю то, что обязан согласно долгу и медицинским знаниям. Являюсь над ним властью. И прекрасно то, что поступающий сюда понимает, что, прежде всего он солдат и только потом - раненый. Больной вообще – подлец, и делает из врача мошенника: будь кудесником, знатоком, шарлатаном – лишь бы я поправился. Поплюешь трижды, по его мнению, что-нибудь пошепчешь, сделав вид мудреца всезнающего – тогда ты хорош. Поэтому я люблю военный лазарет: здесь у меня нет нужды в каком-то притворстве».

За время работы Черниховского в лазарете перед его глазами прошли тысячи страдальцев, искалеченных войной. Но один случай особенно запомнился ему.

Как-то в лазарет поступили четверо раненых в глаза: трое солдат и офицер. У солдат повязки закрывали тот или иной глаз, а у офицера были забинтованы оба глаза. Осмотр вел Черниховский. Глаз одного был сильно поврежден, полностью утратил способность видеть, заметно выдавался и был полон застывшей крови. Солдат знал, что его глаз потерян. Об этом ему сказал еще санитар, оказывавший первую помощь. У двоих других оказались легкие ранения около глазного яблока, не угрожавшие зрению. А вот офицеру не повезло – пуля прошла оба глаза. Роговица полностью была разрушена, он навсегда потерял зрение.

Солдаты угрюмо молчали. Черниховский сказал им:

– Идите с миром!

Офицер, сидя на стуле, бормотал дрожащим голосом:

– Доктор, есть надежда?... Что я теперь буду делать? … Меня не будет в армии… среди мобилизованных… я ученый лесовод… больше я ничего не изучу… у меня жена и двое сыновей… а сейчас…

Но, к сожалению, надежды у него не было. Он ослеп. После осмотра беднягу отвели в офицерскую палату.

Всех четверых оставили в Серафимовском лазарете, хотя в нем и не имелось специалиста по глазам. Однако вскоре в лазарет пришел молодой врач-караим по фамилии Казас и объявил: «Главный врач госпиталя номер 264 специально для глазных болезней, приват-доцент такого-то университета…» Он попросил показать ему всех больных глазами, если таковые имеются. Доктору Казасу привели недавно поступивших четверых раненых в глаза. Хотя было ясно, что двоим зрение не вернуть, а с легкоранеными

особых проблем нет, Черниховский все же решил отправить их в специализированный госпиталь. «Можно, конечно, оставить их всех здесь, – думал он, – но зачем мне, чтобы были после этого возмущения и разговоры, мол, если бы мы попали в руки специалистов, тогда… кто знает… тогда несомненно, что не случилось бы с нами, то, что случилось». И особенно нужно было дать надежду этому бедняге – ученому-лесоводу.

На следующий день, после оформления необходимых документов, всех четверых отправили в сопровождении санитара в глазной госпиталь.

Прошло время. Как-то в один из дней Черниховский, вернувшись в лазарет из-за города, узнал, что 32 человека, из кандидатов к отправке уже перевезены на станцию на эвакуационный пункт. Об этом сообщил денщик Черниховского, солдат из санитарной команды, человек представительного вида, с окладистой седеющей бородой, работавший до войны казначеем в одной из церквей города Курска.

– Невозможно чтобы они уехали, а я не попрощался с ними! Когда отправка? – забеспокоился доктор.

Из канцелярии он позвонил на эвакуационный пункт и узнал, что отбытие эшелона через полтора часа. Черниховский немедленно приказал запрячь лошадей и отправился на станцию.

Все «его» теснились в одном бараке: кто сидел на корточках, кто стоял, «тяжелые» лежали в носилках. «Невозможно представить ту радость и возбуждение “эвакуантов”, когда они встретили меня», – вспоминал Черниховский. Один сжимал руку, другой целовал, третий благословлял, кто-то просил фото на память. Попрощавшись, таким образом, смущенный и взволнованный Черниховский, направился к выходу. Но только он открыл дверь, как его окликнули:

– Ваше высокоблагородие, подождите, пожалуйста! Здесь еще один раненый желает поговорить с вами отдельно.

– Кто это?

– Сию минуту.

К Черниховскому подошел человек в больших черных очках, опираясь на руку солдата.

– Господин доктор!

Врач молча смотрел на него.

– Вы, доктор, не признаете меня? Видите, господин доктор, у меня нет глаз, но уже значительно обострились мои чувства. Я узнал вас по голосу. Я был в вашем лазарете три дня. Два месяца назад… Я ученый-лесовод. Я узнал вас.

– И как сейчас, господин офицер?

– Мои глаза? Ничего не поделаешь… Если бы меня ранили в голову, было бы еще хуже. Я уже читаю… И имею большое удовольствие. Во второй раз прочел «Му-му» Тургенева. И только сейчас я получил удовольствие от произведения.

– То есть, как это вы читаете?

– С помощью азбуки для слепых. Еврейка приходила в госпиталь, и она научила меня, благодетельница. И я еще раз прочел «Му-му».

«Мое сердце сжалось, – вспоминал Черниховский. – Столько искалеченных войной прошло передо мной, и никогда мое сердце не сжималось так, как оно сжалось от рассказа слепого, который еще раз прочел рассказ Тургенева… Во второй раз…»

В Минске Черниховский не был одинок - его семья, супруга и дочь Изольда, жили с ним здесь же.

Был у него задушевный друг и в лазарете – капитан Сергей Петрович Васильев, занимавший должность завхоза. До войны Васильев служил заведующим военно-почтовой и телеграфной станциями при Петербургском комендантском управлении. Он был женат на небогатой мещанке Ольге Конецкой, старшая сестра которой – Матильда Конецкая - была известной танцовщицей кордебалета Мариинского театра. Характеризуя Васильева, Черниховский вспоминал, что это был порядочный и прямой человек, но в жизни не смыслил ничего. К тому же знал только людей своего круга и до самой войны никуда не выезжал из столицы.

Каждый вечер Черниховский и капитан Васильев выходили на прогулку, что давно стало у них своеобразным ритуалом.

Как-то накануне праздника Воздвиженья капитан зашел к Черниховскому и сказал, что сегодня не пойдет гулять, так как собирается идти в церковь. Вместе с тем он предложил сходить на богослужение и Черниховскому – посмотреть торжественный чин воздвижения Креста. Поэт вежливо отказался, сказав, что уже видел этот чин.

Минуло две недели и пришли дни Рош ха-Шана. Тогда уже Черниховский предложил капитану Васильеву пойти с ним в синагогу, послушать молитву.

– И евреи дозволяют христианам заходить? – спросил тот.

Поэт на это ответил, что есть одна еврейская молитва – «Коль нидрей» Бруха, красоту которой признают во всем мире…

Черниховский говорил об известной пьесе для виолончели с оркестром «Kol nidrei» немецкого композитора Макса Бруха. Навряд ли Васильев был знаком с этим произведением, но согласился составить Черниховскому компанию. Придя в синагогу, приятели заняли место впереди, где уже сидело много людей в военной форме – евреев-врачей.

Возвращаясь из синагоги, капитан Васильев расспрашивал своего друга о еврейских обычаях и традициях синагоги.

Вспоминая этот случай, Черниховский отмечал, что капитан, хотя и проявил толерантность, все же был человеком твердым в своей вере. Он верил, как «человек верующий по своей природе, но при этом не был религиозным фанатиком, верил в святых, в чудеса, в мощи святых и во все требующее веры».

В конце 1916 года Черниховский оставил службу в Серафимовском лазарете и с семьей покинул Минск. Он вернулся в Петроград, где получил место помощника заведующего санитарно-статистического отдела в Главном управлении Российского общества Красного Креста. Так завершилась более чем двухлетняя работа Шауля Черниховского в военном лазарете, оставившая не только неизгладимый след в его памяти, но и отразившаяся определенным образом на его внешнем виде и манерах.

Видевшийся позже в Берлине с Черниховским В. Ходасевич так вспоминает о нем: «Я ожидал увидеть изможденного человека… Но – в комнату врывается коренастый, крепкий мужчина, грудь колесом, здоровый румянец, оглушительный голос, стремительные движения. Не снимая пальто, усаживается на подоконник, говорит быстро, хлопая себя по коленке и подкручивая усы. У него военная выправка и хороший русский язык с легким малороссийским акцентом. Ничего поэтического и еще меньше – еврейского. Скорее всего – степняк-помещик из отставных военных».

Да, и еще к слову, за службу в лазарете Черниховский был удостоен двух орденов: Святой Анны 3-й степени и Святого Станислава 3-й степени. Знаки этих орденов «для лиц нехристианских вероисповеданий», на которых изображения святых были заменены двуглавыми орлами, он хранил до конца жизни…

Александр Крюков

А. С. Пушкин и иврит

«Евреи не могут отказаться от Торы, как и не могут отказаться от творчества А. С. Пушкина».
Л. Финкель, председатель Союза русскоязычных писателей Израиля, пушкинист

Прекрасное стихотворение «В крови горит огонь желанья...» написано А. С. Пушкиным в 1825 году по мотивам двух первых стихов 1-й главы «Песни песней» царя Соломона, а первоначально оно было вольно переложено им прозой в его черновой тетради. Позднее (с 1839 года) стихотворение стало известным романсом на музыку М. И. Глинки.

Одним из признаков европейской культуры в русских дворянских семьях было пользование католическими и протестантскими библиями на западных языках (среди личных книг Пушкина был Ветхий завет на французском языке, изданный в Петербурге Библейским обществом в 1817 году).

Основным источником знания Библии для русского народа долгие десятилетия было звучащее в церкви слово священнослужителя. «Песнь песней» мирянам знать не полагалось, поскольку в православном богослужении ее не читают. Лишь в 1808 году «Песнь песней» была введена в русскую литературу: Г. Р. Державин опубликовал кантату "Соломон и Суламита" (1807), где любовь предстает в земном, лишенном всякой религиозности облике. Это было неслыханным новшеством.

Итак, в 1825 году Пушкин закончил два стихотворения на тему «Песни песней»: "В крови горит огонь желанья" и "Вертоград моей сестры". Практически тогда же - 9 сентября 1825 года - лицейский законоучитель Пушкина профессор Г.П. Павский завершил перевод с иврита на русский язык «Песни песней» как одно из пособий для

занятий по древнееврейской грамматике со слушателями Петербургской духовной академии.

Несколько лет стихотворения на тему «Песни песней» продолжали лежать без движения, и лишь в новогодней книжке "Московского вестника" 1829 года выходят семь произведений Пушкина, среди которых были "В крови горит огонь желанья" и "Вертоград моей сестры". Эти два стихотворения были объединены общим названием - "Подражания". Таким образом, не было никакого упоминания о «Песни песней». Удачно сформулированное заглавие помогло обойти главную опасность - необходимость обращаться в духовную цензуру.

Удавшийся маневр с цензурной терминологией Пушкин наметил заблаговременно: еще в конце апреля - августе 1827 года, составляя список своих произведений, он обозначает стихи, навеянные «Песнью песней», как "Подр. Восточн. стих.", а в другом списке, в конце мая - июне 1828 года, как "Подр. вост.". При переиздании обоих стихотворений в сборнике 1829 года они воспроизведены без названия, а в первом посмертном издании стихотворения отнесены в раздел "Подражаний восточным стихотворцам". Лишь в 1880 году стало возможным назвать вещи своими именами: в ефремовском издании Пушкина они впервые названы редактором "Подражаниями Песни песней", с обозначением соответствующих стихов Библии.

Таким образом, на протяжении полувека казуистические "правила игры" допускали любопытную ситуацию: стихотворения на тему «Песни песней» имели право на существование, чтение и концертное исполнение, успех, но при условии, что ссылки на Библию не будет, хотя источник для образованных читателей был очевиден.

Однако ещё в 1821 году поэт написал краткое стихотворение «Вот Муза, резвая болтунья», в котором обозначил свои семитофильские настроения: он говорит собеседнику о своей музе:

«Не удивляйся, милый мой,
Её израильскому платью…»

Однако опубликовано стихотворение было только в 1884 году.

Может быть, именно поэтому следствием стал и интерес к ивриту. У Пушкина были попытки ознакомления с ивритом и с другими восточными языками. В марте 1832 года поэт сделал запись еврейской азбуки; язык этот Пушкин, по собственному признанию, хотел изучить для того, чтобы

переводить Книгу Иова. Об этом известно, в частности, из письма фольклориста и археографа П. В. Киреевского к поэту Н. М. Языкову от 12 октября 1832 года (Пушкин «учится по-еврейски с намерением переводить Иова»). Записи сделаны на лл. 93-95 записной книжки Пушкина, хранящейся в ПБЛ. Они датированы самим поэтом 16 марта 1832 года.

В библиотеке А. С. Пушкина была книга по ивритской грамматике: Hurwitz Hyman. «The Elements of the Hebrew Language». London, 1829.

Поэт всю жизнь носил перстень с надписью на древнееврейском языке, подаренный Волконской.

Пушкин восхищался псалмами Давида, изучал Экклезиаста. Его волновали образы библейских пророков, мудрецов, героев. Поэт, не отделяя себя от еврейской духовно-литературной культуры, восхищался Иовом - библейским персонажем, олицетворяющим беспредельное страдание и терпение. Он мечтал перевести Книгу Иова с подлинника и вообще поговорить с «человеком из бури», по словам Пушкина.

Пушкин, как известно, не боялся коснуться, игриво и остроумно, и самых пикантных жизненных ситуаций, вплоть до эротических, в том числе и по той теме, которую мы рассматриваем сейчас. Так, в апреле 1821 года в письме к Вяземскому поэт, которому, очевидно, нравились и дщери сионские, поместил ироничное стихотворение-обращение к воображаемой Реввеке[1]:

Христос воскрес, моя Реввека!
Сегодня, следуя душой
Закону Бога-человека,
С тобой цалуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцалуй я, не робея,
Готов, еврейка, приступить —
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.

Первый подстрочный перевод произведений Пушкина на иврит появился в 1847 году в Петербурге: два фрагмента из "Медного всадника" и фрагмент из трагедии "Борис

[1] Это имя написано так в оригинале. Во многих последующих изданиях, а также зачастую в Интернете это имя пишется как «Ревекка» (Прим. ред.)

Годунов" вошли в литературную часть учебника "Опыт руководства к практическому упражнению евреев в русском языке". Автором учебника был Леон Осипович Мандельштам. Первый еврей-выпускник Санкт-Петербургского университета, он окончил историко-философский факультет в 1844 году со степенью кандидата философии. Разрабатывал проект реформы еврейских школ. Перевел ТАНАХ с иврита на русский язык. До 1857 года состоял учёным евреем при министре народного просвещения.

Первый поэтический перевод стихотворения Пушкина на иврит появился в 1861 году – это было стихотворение "Брожу ли я вдоль улиц шумных". Первая книга произведений Пушкина на иврите была издана в Варшаве в 1879-1880 годах.

На иврите были изданы книги "Борис Годунов", "Дубровский", "Скупой рыцарь", "Арап Петра Великого", "Маленькие трагедии", "Все сказки Пушкина" и многие другие.

В 1937 году, когда весь мир отмечал столетие со дня смерти А. С. Пушкина, в Иерусалиме вышли два издания "Евгения Онегина". Одно в переводе Левинсона, второе в блестящем переводе А. Шленского (1900-1973), который перевёл на иврит почти все произведения Пушкина. В 1966 году он снабдил очередное издание "Евгения Онегина" комментариями на 127 страницах.

В период английского мандата в Палестинев южном Тель-Авиве была небольшая улица, которая значилась под N 69. После провозглашения независимости Государства Израиль она получила номер 3069.

16 августа 1956 года муниципалитет Тель-Авива - Яффо присвоил этой улице имя Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, ее пересекает улица Максима Горького. В этом районе есть также улица Вахтангова.

Памятная доска на улице Пушкина была торжественно открыта 15 апреля 1996 года.

Екатерина Златорунская

Графиня и смерть

Читаю дневники Пушкина. Исторические сплетни, светский татлер, все легким пушкинским слогом. Суворова брюхата не вовремя, император забавляется, бросает в пруд платок, верная собака несет платок из пруда, государя отвлекли, Ф (?) взяла платок на память.

Хребтович (Хрептович), графиня, раздражила Пушкина. Поплелась на гуляния в дурную погоду, «мало ей рассеяния».

Третья дочь Нессельроде, предпоследнего канцлера Российской империи, «гастронома». Вигель злословил, мол, из разных сведений, необходимых для хорошего дипломата, усовершенствовал он себя только по одной части: познаниями в поваренном искусстве доходил он до изящества.

Елена Карловна – старшая дочь в семье: за ней брат Дмитрий, оставленный женой; сестра Мария, в будущем жена саксонского посланника Л. П. Зеебаха, упомянутого в известной эпиграмме С. А. Соболевского: «Лев Палыч Зеебах»; брат Александр, умер в два года, сердце сжимается, быстрые ножки, веселый смех, круглый затылок, похоронен на Фарфоровском кладбище.

Нессельроде, отец, давал великолепные балы с участием царских фамилий. После замужества дочерей балы прекратились, выданы замуж, Слава Тебе, Господи.

Меж тем, страшный голод, Пушкин вносит запись в дневник от четырнадцатого декабря: «Нессельроде на пару с Кочубеем “получили по 200000 на прокормление крестьян, эти деньги останутся у них в карманах”».

Смотрю в «Википедии» ее портрет. Елена Карловна, 1815 года рождения, щекастая блондинка, курносый нос, букли эдак, голубые ленты, округленная спина, на плечах шаль.

Долли Фикельмон в своем дневнике, проходя мимо Хрептович, подставила ножку: «Младшая Нессельроде (Фикельмон ошиблась, старшая), теперь уже мадам Хрептович, не похорошела от замужества; она абсолютно лишена грации и красоты. Но компенсирует сие большой любовью к мужу».

26 июня 1833. Супруги Хрептовичи в большой компании участвуют в загородной прогулке в Мурино. «В субботу с Лерхенфельдами, Марцеллином, Гольмом, Ленским, Лубеньским и Хребтовичами отправились наблюдать рыбную ловлю в открытом море, а затем пили чай на красивой лужайке Крестовского острова».

В мае 1834. Е. К. Хрептович, «маленькая Хрептович» вместе с другими дамами на «прелестном маленьком вечере у Фикельмонов по случаю 13-й годовщины их свадьбы». Пели дуэтом два брата, Теофил и Вани, их голоса тревожили души. «Погода отвратительная. Не припоминаю более печальной, более тусклой весны».

В октябре 1835 супруги Хрептовичи в Дрездене. «Сойдя с экипажа, я увидела Элен Хрептович с мужем».

В октябре 1837 (Пушкин уже убит). «После отъезда Катрин, сопровождавшей Императрицу, мы остались совсем одни. Наша жизнь текла тихо и спокойно, и все еще остается таковой. Много прогулок пешком, вечером спектакль или немного гостей; часто графиня Нессельроде и Элен Хрептович; де Барант, Монтессюи, к которому мы сумели привязаться и который на днях уехал, к нашему большому сожалению. Трое из близких друзей покинули нас».

В 1837 модны тюрбаны. Элен Хрептович скопировала тюрбан Смирновой-Россет. Предчувствую встречу двух тюрбанов на балу. Смирнова-Россет (портрет) и Элен Хрептович (портрет). На ком тюрбан смотрится лучше. Голосование.

И в этом свете, раздражающем, многозначительно пустом и т.д, где еще пока ничего, немного утомительно, но ещё интересно, на масленице балы утренние и вечерние, и так плясали, что жена Наталия с прекрасным удлиненным лицом выкинула. Оазис в пустыне балов – разговор с любимым Полетикой, следом сплетни о княжне Туркистановой, родившей то ли от государя, то ли от князя Голицына, о Вареньке Энгельгард, любовнице Потёмкина, на которой дед Льва Толстого отказался жениться: «С чего он взял, чтобы я женился на его б…». Это уже внук Лев Николаевич пересказывает сплетню. Скарятин в «убийственном» шарфе любезничает в светских гостиных с Жуковским.

Интимный разговор при свечах о распутстве Екатерины, которую генерал Бобровский видел с голой жопой.

А вот Безобразова, обрюхаченная царем, воспользовавшимся правом первой брачной ночи, выкинула. Ее муж Безобразов сошёл от ревности с ума и был сослан на Кавказ.

Цари уехали в Петергоф, ропщут на дам – «наложницу Потемкина» княгиню Долгорукую и «любовницу всех итальянских кастратов» – Шувалову. Так бедна Россия, что даже Кочубея заменить некем; «в прошедший вторник зван я был в Аничков, приехал в мундире… гости во фраках».

26 января 1834 первая запись, посеяно семечко смерти, о бароне Дантесе: Жуан (Шуан - участник контрреволюционного восстания в Бретани) барон Д'Антес принят в гвардию, гвардия ропщет; через страницу: «Смирнова по-прежнему мила и холодна к окружающей суете».

1835 год начат «злословием, на счастие...», выкуплены и снова заложены бриллианты Наталии Николаевны.

Февраль. Конец дневника.

Два года молчания.

Февраль. 1837.

«Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в ту зиму» - многозначительно предостерегает Долли.

Поздно. Зачатая смерть растет, ждет рождения: Черная речка, снега по колено, дул сильный ветер, сколько-то шагов, отмерили, выстрел, ещё выстрел.

- Он убит?

Ему ответили – нет.

- Ну, тогда придется начать всё сначала.

- Если так, — отвечал ему Арендт, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна, и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды.

Государь простил долг, выкупил шали: «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки».

- Что он? - тихо спросил Жуковский.
- Кончилось! - ответил Даль.

Графиня Хрептович скончалась в возрасте шестидесяти лет, скоропостижно, от аневризмы в желудке, похоронена в Баден-Бадене.

Муж ее, Хрептович Михаил Иринеевич, любовь к которому делала ее красивой, прожил долго. Пережил супругу. Детей им Бог не дал.

Умер в 1892 в Париже.

Этой же весной 1892 Чехов купил Мелихово. «Само имение симпатично, оранжереи нет», - пишет Суворову. В России холера: «В прошлом был голод, а в этом страх».

Александр Мелихов

«Дай нам руку в непогоду…»

Я не помню времени, когда бы я не знал Пушкина: он был всегда — как солнце, как ветер, как куры и собаки в увлекательнейшем пыльном переулке. Я всегда знал, что у Лукоморья дуб зеленый, а на неведомых дорожках следы невиданных зверей, — но мир леших и русалок казался ничуть не более странным, чем заросли картошки в огороде, где можно было провести целую вечность, следя за неведомыми дорожками жуков и лягушек. Пушкин — это было, прежде всего, ужасно интересно: поп — толоконный лоб, князь Гвидон, вылупившийся из бочки, исполинская голова, которая что было мочи навстречу князю стала дуть: «ду-уть» — «у-у» — зву-уки бу-ури — губы сами собой складываются для дутья. И я, разумеется, не обращал внимания на всякие пустяки, за которые Пушкина упрекали дельные современники: поступки персонажей как-то слабовато мотивированы. Ну и что — в жизни, которая меня окружала, я тоже не искал особой целесообразности. Главное — интересно. И страшно весело. Вернее, то страшно, то весело: ветер весело шумит, судно весело бежит…

Потом началось исступленное упоение его вольнолюбивой лирой: «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица!» — стихия стихов подхватывала и уносила в пространство восторженного безумства, и некогда было вдуматься в разные полупонятности — какая-то «Цитера», какой-то «благородный след того возвышенного галла», все эти мелочи уже остались позади, почти незамеченные, как прежде не замечались игривые намеки: «падут ревнивые одежды на цареградские ковры», и «зачем тебе девица?». В стихах главное - не буквальные бухгалтерские уточнения, а вихрь, который тебя увлекает: «Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной Немезиды!»

Я даже и не припомню, когда Пушкин превратился в школьный «предмет», который все проходят и проходят, и никак не пройдут: такое впечатление, что его каждый год начинали «учить» заново. Хуже того, стихи вообще

превратились для меня в принудительную принадлежность школьных вечеров худсамодеятельности.

Сегодня я просто не представляю, как бы я выжил без Пушкина. Но в ту пору, в начале шестидесятых, к поэзии обратил меня не Пушкин, а самый громкий тогдашний поэт Евгений Евтушенко. Пушкин не отвечал на «запросы времени», а Евтушенко отвечал. В образе гидроэлектростанции из поэмы «Братская ГЭС» брезжила и победа над природой, и разумная, гуманная, научно обоснованная организация общества, — Пушкину вопросы такой глубины и злободневности, конечно же, и не снились! Это сегодня, после множества экологических и социальных катастроф XX века, уже усвоили — и то не все! — сколь опасна всякая «борьба с природой». А в ту пору мало кто сомневался во всемогуществе не просто человеческого, а именно нашего тогдашнего разума.

Но однажды вдруг застываешь в немом изумлении перед невероятной красотой простейших, казалось бы, строчек:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
На печальные поляны
Льет печальный свет она.

Застываешь не только в изумлении, но и в растерянности: как же совместить пушкинскую гениальность — а это должно быть что-то более или менее вечное! — с его явной отдаленностью от невиданно сложных проблем нашего века? И оказывается, что у Белинского в классическом цикле статей «Сочинения Александра Пушкина» все уже и сказано: Пушкин обладал удивительной способностью делать поэтическими самые прозаические предметы. Действительно, что может быть прозаичней, чем мостить улицы? А у Пушкина вот оно как:

Но уж дробит каменья молот
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.

Лишь для Пушкина поэтическая броня и будничная мостовая стали рядом! И мостовая у него не простая, а «звонкая», а город — так даже «спасенный». Но зато от жизни он отстал уже тогда, сто пятьдесят лет назад, ибо «дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделалось теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его

произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего»[1].

Это меня вполне устроило: что правда, то правда — прозу превращать в поэзию он умеет, а удовлетворительных ответов на запросы времени не дает. Принудительное школьное преклонение перед Пушкиным достигло и другой цели: писаревские издевки над легкомыслием и отсталостью Пушкина я читал уже с неким щекочущим удовольствием: «Поэзия Пушкина — уже не поэзия, а только археологический образчик того, что считалось поэзиею в старые годы. Место Пушкина — не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария, рядом с заржавленными латами и с изломанными аркебузами»[2]. Впрочем, Белинский признавал за Пушкиным еще одно достоинство: «Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры»[3]. Более того: «Без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины»[4]. Быть предтечей Гоголя — для Белинского это предельно щедрая оценка. Даже более щедрая, чем титул «энциклопедия русской жизни», дарованный Белинским тому же «Онегину».

Правда, Писарев резонно уличал эту энциклопедию в неполноте: что за энциклопедия без ужасов крепостного права, без государственной службы, устройства карьер и т.п. А что — разве не так? Пожалуй, с не меньшим основанием «Онегина» можно назвать «литературной энциклопедией», по выражению известного современного литературоведа Владимира Новикова[5], — столько там игры различными литературными стилями, столько шутливых и серьезных перекличек с Байроном и Гомером, с Баратынским и Вяземским, с Горацием и Петраркой, с Жуковским и Кюхельбекером, с Шекспиром и Руссо, с Ломоносовым и Державиным, с Данте и Апулеем… Суровый Добролюбов, во всем соглашаясь с Белинским,

---

[1] В. Г Белинский. Собр. соч. в 3-х томах.Том 1. М., 1948, с. 410.
[2] Д. И. Писарев. Собр. соч. в 4-х томах. Том 3. М., 1958, с. 378.
[3] В. Г. Белинский.. Цит. соч., с. 398.
[4] В. Г. Белинский. Цит. соч., с. 506.
[5] В. И. Новиков. Книга о пародии. М., 1989, с. 184—18.5.

подчеркивал еще и пушкинское «чувство меры» в изображении страстей — любопытно, кого он имел в виду — Скупого Рыцаря, Сальери или Сильвио? Или у него был какой-то другой Пушкин, как у Хлестакова — еще один «Юрий Милославский»? Но главное достоинство оставалось прежним: «Пушкин долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, как он есть»[1] …

Снова «верность», снова «предмет, как он есть»... Но я уже тогда додумался, что «находить» поэзию в предмете, как он есть, невозможно — потому что её там просто-напросто нет: она привносится в предметы влюбленным, ненавидящим, но так или иначе взволнованным взглядом наблюдателя. И дар поэта — это прежде всего дар переживать как потрясение то, что другим кажется будничным и пресным.

Можете назвать меня безнадежным романтиком, но я убежден, что всеми нашими чувствами, которые возвышают нас над буднями — чувством восхищения перед миром или даже чувством его трагической красоты, — мы обязаны каким-то поэтам, сумевшим впервые испытать их и передать другим!

У Пушкина даже простой, казалось бы, перечень предметов самых заурядных становится пленительным:

Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Никакой «предмет, как он есть», не преображенный «магическим кристаллом» пушкинского гения, не прозвучавший в этих единственных в мире стихах, не вызовет лично у меня такой невольной улыбки счастья или умиления, с которыми читаешь у Пушкина о вещах, в действительности показавшихся бы весьма неприятными:

Служанок била осердясь —

---

[1] Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 3-х томах. ом 3. М., 950,с. 554.

Все это мужа не спросясь.

В пушкинском мире мы с детским удовольствием готовы побывать даже в гостях у старой тетки, «четвертый год больной в чахотке»…

А смерть Ленского? Вот падает наземь убитый юноша:

Так медленно по скату гор,
На солнце искрами сверкая,
Спадает глыба снеговая.

Вот везут домой оледенелый труп:

Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели, как стрела.

«Кровь и горе разливаются по сюжету «Онегина», а мы ничего не замечаем. Поруганные чувства, разбитые сердца, замужество без любви, безвременная смерть. Это — полноценная трагедия. Но ничего, кроме блаженной улыбки, не появляется при первых же звуках мажорной онегинской строфы»[1], — нет ли доли истины даже и в таком парадоксальном мнении двух видных критиков современного русского зарубежья? Может быть, вы поймете и тех молодых русских критиков и поэтов, которые в нищем эмигрантском Париже двадцатых годов упрекали Пушкина в излишней «мажорности», в том, что его поэзия «не верна действительности», ибо в ней нет блеклых красок, надтреснутых звуков, желчного безнадежного брюзжания, которые — как вы думаете? — тоже ведь имеют право быть отраженными в искусстве… Отраженными, а не преображенными. Или отражения без преображения просто не бывает?

И как же все-таки быть с «удовлетворительными ответами» на «тревожные, болезненные вопросы настоящего»? В частной переписке (это письмо от 6 апреля 1846 года Герцен включил в «Былое и думы»[2]) Белинский высказывался совсем резко: «У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, потому в своих творениях как поэты они страшно, огромно умны; а как люди — ограниченны и чуть ли не глупы (Пушкин, Гоголь)». А ведь Белинский был поэтичнейшим человеком, пылко восхищавшимся пушкинским талантом! Но мучительные

---

[1] П. Вайль, А. Генис. Вместо «Онегина». «Звезда», 1991, № 7, с. 202.

[2] А. И. Герцен. Собр. соч. в 9 томах. Том 6. М., 1957, с. 523

социальные вопросы времени так больно ранили его совесть, что пушкинский дар обращать в красоту серенькие будни представлялся ему чем-то второстепенным, «сегодня» не таким уж важным…

Страстный христианин Гоголь сетовал, что «все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел». И это при том, что Гоголь боготворил Пушкина!

Но люди, овладевшие, как им кажется, каким-то высшим знанием, так часто поглядывают на художников свысока…

А.В. Луначарский, первый советский нарком просвещения и видный марксистский критик, с полным спокойствием допускал, что с высоты новой, социалистической культуры «дворянско-пушкинская вершина будет казаться лишь ступенью, лишь предгорьем. Но до тех пор мы будем смотреть на достигнутое Пушкиным словесное мастерство если не как на образец, потому что этот образец полностью уже не пригоден для более «взрослой» жизни, то как на нечто чрезвычайно высокое в смысле необыкновенных пропорций, необыкновенной соразмерности», — и т.д. и т.п. Снова «Пушкин будет превзойден», снова пресловутое «чувство меры», так бесившее Цветаеву:

Критик — ноя, нытик — вторя:
«Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство — моря
Позабыли — о гранит
Бьющегося? Тот, соленый
Пушкин — в роли лексикона?

Кажется, «серьезные люди», обладающие каждый раз новой, но всегда окончательной и бесспорной истиной, признавали мудрость Пушкина лишь тогда, когда требовалось его именем подкрепить свои схемы. В эпоху укрепившегося тоталитаризма выправленный Пушкин занял почетное место среди предтеч большевизма, в которые большевики стремились записать всех, кого не смогли уничтожить. Вот Малая советская энциклопедия 1939 года, восьмой том, открывающийся «парторгом» и завершающийся «революционным трибуналом»: «В творчестве Пушкина воплотились наиболее передовые идеи его времени — идеи вольнолюбия, равенства» — и т.д., и т.п. Скажите, что хуже: снисходительно похлопывать гения по плечу или, страшно обеднив, исказив его,

объявить безупречным?

«Народные заступники» прошлого века именно за равнодушие к «идеям вольнолюбия и равенства» десятилетиями корили Пушкина — зато на рубеже веков на сцену вышло новое литературное поколение, которое как раз за это же самое стало превозносить его. Поэт, прозаик и философ Дмитрий Мережковский в 1896 году восхищенно писал о Пушкине: «Современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю единого — творца или разрушителя, пророка или героя». А что, написал же Пушкин: зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно? И в этом есть своя правда: мы уже убедились, как опасно безоглядно верить в то, что «большинство всегда право». Но совсем не обязательно прав и одиночка, который «для себя лишь» хочет воли…

Пушкин, по мнению Мережковского, «как враг черни, как рыцарь вечного духовного аристократизма, безупречнее и бесстрашнее Байрона. Подобно Гете, Пушкин и здесь, как во всем, тверд, ясен и верен природе своей до конца:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь — бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь».[1]

Но, по-моему, Пушкин никогда не становится окончательно на сторону какой-то одной правды: он откликается «на всякий звук». Не так уж трудно отыскать у него мотивы самого трогательного сочувствия к «рабам нужды». Он лишь не хочет, чтобы их заботы отменили иные потребности человеческого духа.

Но как же досталось Пушкину от Писарева за этот пресловутый печной горшок! «Ну, а ты, возвышенный кретин, ты, сын небес, ты в чем варишь себе пищу, в горшке или в Бельведерском кумире?.. Или, может быть, ты скажешь, что совсем не твое дело рассуждать о пище, и

[1] Д. Мережковский. В тихом омуте. М., 1991, с 179—180.

отошлешь нас за справками к твоему повару?» — снова гневное указание на социальное неравенство, за счет которого живет святое искусство. И что можно было возразить против этого? Нужно быть ханжой, чтобы спорить с тем, что человеку необходимо быть сытым. Но кем нужно быть, чтобы считать, что ему этого достаточно? В богатых, «сытых» странах чаще всего бывает гораздо больше самоубийц, алкоголиков, наркоманов, чем в бедных и отсталых, — значит, человеческая душа просит и еще чего-то, кроме сытости! И все же права «печного горшка» были столь неоспоримы, что я в свое время пропустил мимо ушей замечание Герцена: «Радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина».

Вдобавок, Писарев, «шестидесятник» прошлого века, был бы своим человеком для «шестидесятников» века нынешнего: превозносил естественные науки, способные преобразовать мир, призывал трудиться для общечеловеческой солидарности, намекая на растущее социалистическое учение. Был и лично готов на жертвы: провел четыре года в Петропавловской крепости, откуда вышел с расстроенным здоровьем, и в 1868 году утонул во время купания, не дожив до тридцати лет. Прямо злой рок какой-то: радетели за обиженный народ, за права «печного горшка», были пламенными, почти исступленными пророками, часто подкреплявшими свою проповедь еще и мученической судьбой, а защитники, условно выражаясь, «чистой красоты» то и дело впадали в пошловатое благодушествование. И потом — их так легко было заподозрить в корыстной защите собственных («дворянских») привилегий…

Один из вождей тогдашней «эстетической критики» А.В. Дружинин, умный, образованный человек, в ту пору пользовавшийся уважением молодого Толстого, основатель «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», совершенно справедливо превознося Пушкина, все-таки противопоставлял его Гоголю: «Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием… Перед нами тот же быт, те же люди, но как это все глядит тихо, спокойно и радостно! Там, где прежде по сторонам дороги видны были одни серенькие поля и всякая дрянь в том же роде, мы любуемся на деревенские картины русской старины, на сохнущие и пестреющие долины, всей душой

приветствуем первые дни весны или поэтическую ночь над рекою — ту ночь, в которую Татьяна посетила брошенный домик Евгения. Самая дорога, по которой едучи, мы недавно мечтали только о толчках и напившемся Селифане, принимает не тот вид, и путь наш кажется не прежним утомительным путем. Неведомые равнины имеют в себе что-то фантастическое; луна невидимкою освещает летучий мрак, малые искры и небывалые версты бросаются в глаза ямщику, и поэтический полет жалобно поющих дорожных бесов начинает совершаться перед глазами поэта. Зима наступила; зима — сезон отмороженных носов и бедствий Акакия Акакиевича, но для нашего певца и для его читателей зима несет с собой прежние светлые картины, мысль о которых заставляет биться сердце наше. Мужичок «с триумфом несется по новому пути на дровнях; на красных лапках гусь тяжелый осторожно ступает на светлый лед, собираясь плавать, и падает к своему полному изумлению. Буря мглою небо кроет, плача, как дитя, завывая зверем и колыхая солому на старой лачужке, но и в диком вое зимней бури с метелью таится своя упоительная поэзия. Счастлив тот, кто может отыскать эту поэзию, кто славит своим стихом зиму с осенью и в морозный день позднего октября сидит у огня, воображением скликая вокруг себя милых друзей своего сердца, верных лицейских товарищей и воздавая за их дружбу сладкими песнями, не помня зла в жизни, прославляя одно благо!»[1]

Ничего не скажешь — все это действительно есть у Пушкина. Но уж очень благодушный, покладистый поэт рисуется Дружининым. Тот ли это Пушкин, который бросил жизни: «Дар напрасный, дар случайный» и который вопреки всему все-таки хотел жить, «чтоб мыслить и страдать»? Страдать! «Александр Сергеевич, — пишет Дружинин, — превосходя своих преемников поэзиею, превосходил их и силою души». Вот только не оттого ли он превосходил их силою души, что превосходил поэзией? Не в поэзии ли он черпал силу, с которой он соглашался смотреть жизни в лицо без содрогания «меж горестей, забот и треволненья»? Поэзия необходима угнетенным куда больше, чем угнетателям, — тем-то и без нее неплохо живется. Но когда мы «пьяны жизнью» (Л. Толстой), когда мы уверены в своем могуществе, в своем уме, которому твердо известно, где

[1] А. В. Дружинин. Литературная критика. М., 1983, с. 61.

Добро, а где Зло, где Истина, а где Ложь, когда мы «точно знаем», каким путем следует идти человечеству, — когда, словом, нам известен «удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего», тогда мы очень легко берем покровительственный тон по отношению к Пушкину.

Но когда схлынет ребяческая самонадеянность, когда поймешь, что никаких «единственно правильных» ответов не существует, что любой избранный путь несет как обретения, так и потери, что жизнь — это не борьба Добра со Злом, Истины с Ложью, а борьба противоречивых истин, каждая из которых по-своему справедлива и по-своему опасна, — тогда только с удивлением обнаружишь, что в любом из так называемых предрассудков Пушкина есть своя мудрость. Даже столько раз осмеянные «аристократические предрассудки» («к мертвым прадедам любовь») оказываются опорой «самостоянья человека», залогом его величия. Даже такой совсем уж явный предрассудок — склонность решать конфликты на дуэли — в мире Пушкина, как показал Я. Гордин в «Праве на поединок» (Л., 1989), оказывается правом человека быть самому судьей и защитником собственной чести. Когда, подобно «индийской заразе», нас одолевают экономические мудрости вроде «человек все делает из выгоды», «рынок всегда прав», — Пушкин напоминает: «не продается вдохновенье», «ты сам свой высший суд». Когда начинаешь поддаваться лихорадочной страсти кинуться за счастьем в чужие края, — полезно иной раз услышать слова о любви к родному пепелищу и отеческим гробам, любви, составляющей не долг, а «пищу» для сердца:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Впрочем, чтобы давать такие советы, не обязательно быть Пушкиным. В пору зрелости ума и усталости сердца требуется гораздо больше сил не на то, чтобы понять жизнь, а на то, чтобы ее принять, увидеть в ней смысл — пускай трагический — и красоту вместо бессмыслицы и безобразия. И тут нам не помогут никакие «единственно правильные» ответы, которых, впрочем, и быть не может. Скажите на милость, каким «единственно правильным» образом можно отнестись к утрате любимой женщины? Стихотворение «Заклинание» — это отчаянный призыв:

Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно, сюда! сюда!…

«Для берегов отчизны дальной…» — надежда на встречу за гробом:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья…
Но жду его; он за тобой…

«Прощание» — мужественная сдержанность:

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.

«Под небом голубым страны своей родной…» — усталое безразличие:

Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.

У кого повернется язык сказать, что одно из этих чувств «более правильное», чем остальные, что какой-то ответ здесь будет «самым удовлетворительным»? Однако в «полном арсенале орудий поэта» мы каждый раз находим то, что придает нашим переживаниям значительность и красоту, которых нам не даст ни пламенный фанатик Белинский, ни скучноватый догматик Луначарский.

«Сфинкс спросил его: как можно, глядя на жизнь, верить в правду и добро? Пушкин ответил ему: да, можно, и насмешливое и страшное чудовище ушло с дороги. И в этом мужестве перед жизнью — назначение поэта», — писал выдающийся мыслитель XX века Лев Шестов. Можно ли после этого сказать, что не вышел на битву поэт, который, глядя в лицо бессмыслице и уродствам жизни, сумел обратить их в осмысленную красоту? О какой еще битве вы говорите? О сладкой участи оспоривать налоги? Да чтобы заниматься этим всласть, необходимо прежде всего желание просто жить!

Вглядываясь в житейскую сторону пушкинской судьбы, видишь, сколько в ней бедности, тщетных трудов, унижений, обманов, обид, закончившихся мученической смертью, — и какой урок всем нам, какое доказательство

всемогущества искусства, что Пушкин сумел превратить ее чуть ли не в сладостную легенду!

...Слово «Пушкин»
стихами обрастает, как плющом,
и муза повторяет имена,
вокруг него бряцающие: Дельвиг,
Данзас, Дантес, — и сладостно-звучна
вся жизнь его — от Делии лицейской
до выстрела в морозный день дуэли.

(Обратите внимание на аллитерации — на переклички звуков «д», «л», «н», «ц», «з»…)

Эти стихи изумительный прозаик Владимир Набоков, которого столько раз называли «холодным», написал и от нашего имени. Только мы не помним и не задумываемся, какой ценой оплачен этот плющ. Когда нам весело и светло, мы готовы в детской резвости сбрасывать Пушкина с корабля современности или упрятывать в музей на почетное прозябание. А кто-то стремится уничтожить его еще непоправимее, превратив в предмет принудительного обожания:

Уши лопнули от вопля:
«Перед Пушкиным во фрунт».
(М. Цветаева)

Это перед Пушкиным, который не терпел напыщенности, который называл свои осенние вдохновения временем «случки с музою»! «Пушкин в роли монумента» способен вызвать даже неприязнь. Но когда нам становится холодно и страшно, мы, словно только что капризничавший ребенок — к маме, кидаемся к нему, понимая, наконец, Александра Блока: «Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе!» Не знаний, не «удовлетворительных ответов», которых нет и быть не может (что сегодня осталось от теорий Белинского и Луначарского!), а помощи мы просим у него, и он не держит обиды — он готов снова и снова наполнять нашу жизнь смыслом и красотой. А более «животрепещущего интереса» у нас нет и не будет.

Михаил Черейский

Чурчхела души моей

Часть первая

«Для тех, кто не знает чурчхелы, скажем, что это такая южная сосулька — нанизанные на нитку грецкие орехи в сладкой шкурке высохшего виноградного сока. Чик с удовольствием уплетал чурчхелину. Было так сладко её надкусывать, потом надкушенную часть, придерживая зубами, провести по нитке до самого рта, после чего выдернуть нитку изо рта и чувствовать, как сочные дольки ореха перемешиваются с кисловато-сладкой кожурой виноградного сока. Тот самый смак во рту — это вкуснее и отдельного ореха, и отдельного высохшего виноградного сока. Они перемешиваются, и возникает совершенно особый божественный третий вкус».

Фазиль Искандер

Сегодня чурчхелой можно полакомиться и в Ашдоде, и на любом московском рынке, обнаружена она была даже в Мадриде в украинском магазинчике у вокзала Аточа. Для меня же «южная сосулька» всегда остается сочным, кисловато-сладким образом чудесного города Сухуми.

Освоившись когда-то в Израиле и познакомившись с его русскоязычным культурным ландшафтом, я, помнится, удивился щедрому присутствию в нем выходцев из Баку. Узнав побольше об их родном городе, я понял причину этого. В многонациональном Баку практически не было антисемитизма – ни бытового, ни даже официального. Молодые бакинские евреи могли получать образование не только по техническим специальностям, как это вынуждены были делать их московские, ленинградские и одесские сверстники. Они шли и в гуманитарии, в том числе в журналистику, и делали себе карьеры в областях, почти закрытых для евреев в послевоенном СССР. Приобретенный там опыт и общая раскованность, свойственная атмосфере приморского южного города, помогли бывшим бакинцам удачно вписаться в израильскую культурную среду. Узнавая все это, я находил

много параллелей с другим многонациональным городом у моря, поменьше Баку, но зато прекрасно мне знакомым и ставшем практически родным - Сухуми. Там были проведены многие и притом не худшие дни жизни, полные любопытных, веселых и иногда грустных событий.

Кто только не жил в том Сухуми 60-х – 70-х годов прошлого века, который я знал и любил! Доминировали, разумеется, грузины, но бок о бок с ними жили многочисленные русские, армяне, греки и люди множества других национальностей, иногда довольно неожиданных – например, эстонцы, предки которых были переселены на Кавказ еще в царское время. Минуточку – но ведь это столица Абхазии? Были же там и абхазы? Не спорю, были. Встречались, правда, нечасто, в основном на рынке и в кабинетах разных учреждений, где положено было иметь «национальные кадры».

Ну, а наш брат еврей? При пролистывании сухумской телефонной книжки глаз невольно цеплялся за весьма многочисленных «-вичей», «-сонов» и «-штейнов», по неопытности пропуская кое-каких «-швили», которые – таки-да – тоже были евреями, только грузинскими. А были там еще и горские евреи, и даже бухарские. Что вы хотите – тепло, море, овощи и фрукты круглый год, ниоткуда не доносится «жидовская морда»... Люди кругом и сами хотят хорошо жить, и по возможности дают жить другим.

Впервые о существовании города Сухуми я узнал летом 1953 г. от ленинградских мальчишек, распевавших песенку "Цветет в Сухуми алыча не для Лаврентий-Палыча, а для Климент-Ефремыча и Вячеслав-Михалыча". Еще они радостно пели про то, как товарищ Берия вышел из доверия, и товарищ Маленков надавал ему пинков. Подозреваю, что дети радовались разоблачению не морального разложенца и агента какой-то непонятной мусаватистской разведки, а автора занудного наставления о прилежном учении, красовавшегося на обложках тогдашних школьных тетрадок вместе с портретом самого Берии в маршальской форме.

Про Сухуми и цветущую там алычу запомнилось. Само название города звучало как-то вкусно и вызывало ассоциации с рахат-лукумом и прочими восточными сладостями. Изучение соответствующей статьи в Малой Советской энциклопедии с нарядными картинками окончательно сформировало у меня желание когда-нибудь

побывать в этой столице мандариновых плантаций и обители дрессированных обезьян.

Через несколько лет мы с мамой отдыхали летом в Хосте, где рядом с пляжем идет железная дорога – а по ней каждый день проходил поезд "Москва – Сухуми". Оказалось, что это совсем недалеко, и от хостинского военного санатория туда отправляются автобусные экскурсии. И вот в один прекрасный день мы с мамой, водрузив на головы белые войлочные шляпы – непременный атрибут тогдашних черноморских курортников – на открытом курортном автобусе отправились в город моей мечты.

Чудеса начались сразу за поселком со смешным названием Веселое на пограничной речке Псоу. Названия населенных пунктов – Леселидзе, Гантиади и далее – были написаны не только по-русски, но и по-грузински непонятными, но очень красивыми буквами с кружочками и завитушками. На одной из остановок пожилой усатый дядька с недельной щетиной подвел к нашему автобусу ослика, навьюченного корзинами с виноградом, и предложил всем желающим угощаться. Виноград был теплый и терпкий, много такого не съешь – но ведь бесплатный! Тут появился еще один дядька с фотоаппаратом на треноге и стал всех нас фотографировать с виноградными гроздьями в руках в компании ослика – а фото, мол, получите, когда будете ехать обратно, и деньги тогда же. Пока шло фотографирование, я покормил ослика хлебом, а он за это дал мне внимательно разглядеть свой хвост кисточкой и погладить длинные шелковистые уши.

Когда, наконец, приехали в Сухуми, экскурсовод спросил, куда раньше – в столовую обедать или на базар. Спорили, переходя на крик, минут пять, пока это не надоело сидевшему на переднем сидении пожилому отдыхающему из военного санатория. Он заорал, чтобы все умолкли, и уже тихим, но суровым голосом объявил, что он полковник генерального штаба и самый старший тут по званию, а потому единолично решает – едем в столовую, а уж оттуда на рынок. Кстати, к тому времени там все фрукты подешевеют. Все тут же согласились, и только один я робко поинтересовался, успеем ли мы после всего в обезьяний питомник. Непременно успеем, обнадежил экскурсовод, а вот в ботанический сад… – тут он задумчиво почесал у себя под серой шапочкой-"сванкой". Но на ботанический

сад, как выяснилось, всем было наплевать, сыты они по горло сочинским дендрарием. Только моя мама тихонько пожалела, что не увидит какую-то реликтовую тую.

В итоге мы успели от души налюбоваться на обезьян, после чего автобус четверть часа постоял возле ботанического сада, пока мы с мамой бегали глядеть на чахлое реликтовое деревце. Экскурсия закончилась прогулкой по набережной и питьем ледяной газировки с вкуснейшими сиропами, которую мы заедали маленькими пирожками с сыром – и тут я впервые услышал волшебное слово "хачапури".

Единственное, чего мы не увидели в Сухуми – это цветущей алычи: отцвела она еще до нашего приезда. Зато золотистые плоды этого цветения были горами выложены на рыночных прилавках, там же крестьянского вида смуглые тетки продавали главный алычевый продукт – кисленький соус ткемали, при виде которого я по сей день плотоядно облизываюсь.

На обратном пути усталые экскурсанты уснули, пока не были разбужены на остановке, где автобус уже поджидал утренний фотограф с кипой готовых снимков. "Однако!" – воскликнули по примеру Кисы Воробьянинова запечатленные персонажи, услышав цену – но ничего, раскупили все фото как миленькие. И уснули снова до самой Хосты - ведь тогда на границе не было никакого контроля, и сама граница была чисто условной… А я не спал и всё думал о том, что настоящий Сухуми оказался еще лучше, чем в энциклопедии, и нужно будет обязательно туда вернуться. Так оно впоследствии и получилось.

О, море в Гаграх!

Следующая встреча с Абхазией и Сухуми случилась лет через десять, по окончании первого курса института. На летних каникулах мы с приятелем Володей, отработав месяц на кафедре и получив первую в жизни зарплату, решили отдохнуть на черноморском побережье Кавказа. От старших товарищей по институту мы были наслышаны о необычайной дешевизне и прекрасных свойствах тамошнего разливного натурального вина, в еде были неприхотливы, а железнодорожные билеты для студентов тогда стоили сущую ерунду – меньше десяти рублей на

брата. Хороший обед в любимом нами, но в силу бюджетных ограничений редко посещаемом ленинградском ресторане "Баку" обходился дороже.

Пробыв несколько дней в Адлере, мы перебрались в Гагры и сняли у армянской семьи беседку в саду, целиком увитую виноградом и обставленную двумя садовыми скамейками и чугунным узорчатым столиком. Для освещения нам была выдана керосиновая лампа, удобства – дощатая будочка в другом конце обширного сада. Даже неприхотливым студентам это жилье показалось несколько спартанским, зато цена была подстать – по рублю с человека в день. Каждое утро хозяйка приносила нам в беседку здоровенный кусок свежего лаваша, миску с помидорами и луком и глиняный горшочек с мацони – кавказской разновидностью простокваши. Вечером заходил хозяйский сын с графином домашнего вина и ломтями сыра сулугуни, курил с нами местные сигареты "Прима" и расспрашивал, во сколько обойдется поступление в тот или другой ленинградский институт. Мы только недоуменно переглядывались, а он тоже недоумевал – почему скрываем, и так ведь все знают, что в Ленинграде поступать гораздо дешевле, чем в Тбилиси или Ереване, но вот сколько именно? От нас, только что окончивших первый курс, он рассчитывал получить самую свежую информацию и обижался за нашу неоткровенность.

Гагры нам понравились прекрасным пляжем, великолепным приморским парком и ароматом магнолий - в полном соответствии со словами популярной тогда песенки "О, море в Гаграх!", считавшейся в интеллигентских кругах эталоном мещанской пошлости наравне с пресловутыми "Ландышами". В парке имелась баскетбольная площадка, на которой мы демонстрировали аборигенам девять попаданий из десяти бросков с фолов и заодно постигали особенности местной ментальности. У себя дома мы были привычны к постоянному обмену матерными репликами в ходе игры, это считалось в порядке вещей, и никто на них не обижался – особенно, если за дело. Совсем не то оказалось в Гаграх. При первом же совершенно не злобном "Ну … твою мать!" на Володьку полез с вытаращенными глазами местный парень: "Мою мать?!" Больших трудов стоило его успокоить, а нам по-дружески разъяснили, что тут склонны к буквальной интерпретации подобных идиом, и легко можно за них и пером в бок схлопотать. Пришлось

намотать на ус, а по возвращении домой с некоторым трудом отучиваться от кавказского баскетбольного этикета.

Еще в Ленинграде мы были наслышаны о главной гагрской достопримечательности – ресторане "Гагрипш", выстроенном из дерева в Скандинавии, перевезенном в разобранном виде на всемирную выставку в Париже, а уж оттуда принцем Ольденбургским — в его имение Гагры. На следующий же день после приезда мы оделись поприличнее и отправились туда поужинать. Народу было немного, и нам без труда достался столик в углу обширного зала. Официант поставил чистую пепельницу, Володя выложил рядом с ней приберегаемую для особых случаев пачку "Честерфильда", и мы на миг почувствовали себя молодыми прожигателями жизни – пока не открыли меню… Обозначенные там цены на сациви из осетрины и форель на вертеле повергли нас в панику. После разглядывания меню со всех сторон мы объявили официанту, что сегодня уже обедали и желаем лишь отведать хачапури по-мегрельски (2 руб. 40 коп.) и запить его бутылочкой полусладкого "Псоу" за два восемьдесят. Только чтоб вино холодное было, барски распорядился Володя. Будет, будет, успокоил его официант - а хачапури будет очень горячий и о-очень большой! Мы хором сказали, что это хорошо, что большой – как выяснилось, по незнанию местных реалий.

Минут через десять официант с видимым усилием водрузил нам на стол пышущий жаром пирог поистине раблезианских размеров, которого с лихвой хватило бы еще на десяток голодных студентов. Тут же был положен здоровенный кинжал для разрезания циклопического блюда на куски более или менее человеческой величины. Пока официант откупоривал запотевшую бутылку "Псоу", мы тупо взирали на свой хачапури. Понятно было, что нам с ним и до утра не управиться. И тут слух наш обратился к звукам, доносившимся от длинного стола в противоположном углу зала, за которым заседала мужская компания человек в шесть-семь. Все они на наш неопытный глаз выглядели грузинами, но разговор велся, и тосты провозглашались, по-русски. Мы прислушались к очередному тосту – что-то о завоевании почетного места в соревновании цехов нашего комбината – и решение хачапурной проблемы пришло само собой. Мы отрезали кинжалом по куску пирога для себя, а остальное попросили официанта отнести во-о-он на тот стол с пожеланиями уважаемому комбинату дальнейших успехов. Официант понимающе хмыкнул, утащил хачапури

– и тут же вернулся с двумя здоровенными шампурами шашлыка и бутылкой вишнево-красного "Киндзмараули". Еще через пять минут мы сидели за комбинатским столом (комбинат, как выяснилось, был деревообрабатывающий) и вкушали и форель на вертеле, и сациви всевозможных родов, и даже фазан в радужных перьях красовался на том столе – точь-в-точь как тот, что подавали герою Миронова в фильме "Бриллиантовая рука".

По мере дегустации блюд и напитков разговор становился все громче и непринужденней, и в какой-то момент я с ужасом услышал, как Володя заплетающимся языком повествует о своем дяде, который командует всей деревообрабатывающей промышленностью Ленинградской области и в соседнюю Финляндию ездит, как к себе на дачу. Притом, что никаких дядь и теть у него отродясь не бывало, а его отец, мой тезка дядя Миша, всю жизнь преподавал в военно-инженерном училище связи.

Разошлись хорошо за полночь, как добрались до своей беседки – не помню, а ночью мне приснилась лесопилка со сверкающими дисковыми пилами, к которым усатые кавказцы вместо бревен подвозят гигантские хачапури – пилить на порции. Пару раз просыпался от Володькиного бормотания во сне, а бормотал он с явственным грузинским акцентом.

Утром проснулись с тяжелой головой и решили натощак выкупаться в море, а уж потом позавтракать все тем же хачапури, ломти которого, оказывается, мы ночью притащили из "Гагрипша". Протирая глаза, выбрались мы из задней калитки на дорогу и побрели по обочине в направлении парка. Дорога показалась нам непривычно пустынной, только через пару минут нас обогнал и скрылся за поворотом какой-то необыкновенный автомобиль явно несоветского вида. Мы лишь открыли рты, чтобы обсудить это странное явление, да так и остались с вытаращенными глазами: из-за поворота навстречу нам выехал еще один заморский лимузин – ярко-голубой, с открытым верхом, за рулем - чувак в ковбойской шляпе. И в довершение этого сна наяву за ним показался белый фургон с ярко-красной надписью на борту Drink Coca-Cola! По тем временам, когда об этом империалистическом напитке мы лишь слышали от немногих счастливчиков, вкусивших его на американской выставке в Москве в 1959 г., такое зрелище было равносильно разве что высадке инопланетян среди бела дня. Позже, обсуждая увиденное, мы с Володькой

признались друг другу, что одна и та же мысль пришла нам в головы: пока мы отсыпались после вчерашнего ужина в "Гагрипше", американцы успели завоевать СССР – или, по меньшей мере, Абхазию. Хорошо, что хоть по английскому у нас пятерки... А комсомольские билеты - жечь или повременить?

Но это потом, а пока что заокеанский мираж был разрушен тарахтением мотоцикла, из коляски которого милицейский лейтенант грозно заорал на нас – почему мешаем киносъемкам и как вообще оказались на перекрытом шоссе?! И мы побрели прочь с импровизированной съемочной площадки студии художественных фильмов им. А.М. Горького.

Вокзал для двоих

По возвращении в Ленинград мама принялась меня расспрашивать об абхазских впечатлениях. О посещении «Гагрипша» и о других подобных приключениях я распространяться не стал, зато подробно описал ласковость черноморской волны, нежный шелест пальмовых листьев целых шести ботанических видов и дружелюбие местного населения. Маме мой рассказ очень понравился: они с папой как раз обдумывали, куда бы съездить в отпуск, и Сухуми рассматривался в качестве одного из возможных вариантов. У директора маминого издательства по прозвищу БэЭнЭс там имелись приятели, которые, по его словам, примут моих родителей как родных. «Денег, разумеется, не возьмут, а вот они интересовались у меня, нет в Ленинграде хороших маслин, так вы их заодно и прихватите». На том и порешили: раздобыли в «Елисеевском» четырехкилограммовую прямоугольную банку греческих маслин, к ней прикупили пару килограммов конфет «Мишка на севере» и «Стратосфера», через того же БэЭнЭса достали билеты в купейный вагон «Ленинград - Сухуми» - которых в сентябре в свободной продаже попросту не бывало - и отправились отдыхать. И никто не мог даже предположить, что последствия этого отдыха будут сопровождать меня всю жизнь.

Рассказывая по возвращении о своих гостеприимных сухумских хозяевах, мама похвалила их дочку - хорошенькая, кушает с аппетитом и при этом приятным

голосом распевает арии из оперетт! Говорит без малейшего кавказского акцента, перечитала кучу книжек и собирается поступать в медицинский институт — возможно, у нас в Ленинграде... Я сразу представил себе сдобную южную зубрилу с коровьими очами, вздохнул и перевел разговор на хачапури, аджику и виноград «изабелла». Недостатка в знакомых девушках у меня не ощущалось, хотя на танцы — почти единственные тогда места молодежной тусовки — никогда не ходил, а наш железнодорожный институт был преимущественно мужским, и никому из немногочисленных коллег-студенток я особо не симпатизировал.

Кто смотрел фильм «Москва слезам не верит» - знает, что для скромных юношей несколько «ботанического» склада в Москве существовало апробированное место знакомства с девицами: публичная библиотека, она же «Ленинка». А в Ленинграде ту же функцию выполняла «Публичка». Туда специально приходили девушки знакомиться с интеллигентными молодыми людьми. Лучше всего с молодыми кандидатами наук, работающими над докторской. Не удастся - так с аспирантами, и уж на самый худой конец - со студентами постарше. Выписывала девушка из фонда какую-нибудь гуманитарную книжку позаковыристей, типа "Гносеологические проблемы раннего акмеизма", и усаживалась с ней в курилке или пристраивалась в коридоре на подоконнике. Некоторые девицы, чтобы выглядеть одухотвореннее, заводили очки со слабыми диоптриями. В сочетании с как бы нечаянно приподнятой выше колена юбкой нужный эффект на физико-математического очкарика достигался на "раз". Я часто ходил в Публичку, благо находилась она на площади Островского буквально в 50 метрах от нашего дома на переулке Крылова, что было особенно удобно зимой: можно было добежать без пальто и не выстаивать длинную очередь в вечно переполненный гардероб. С другой стороны, как без пальто идти провожать новую знакомую, если таковая заводилась?... Но все же целью моих походов в Публичку были не столько тамошние девицы, сколько авиационные журналы Aviation Week и Flight, старинные справочники «Весь Петербургъ» и тому подобная занимательная литература.

А тем временем в соответствии с популярным тогда анекдотом прошла зима, настало лето, и в один прекрасный день мои родители получили письмо из Сухуми: юная абитуриентка бесповоротно выбрала

Ленинград и через месяц в сопровождении своей мамы приедет держать экзамены в 1-й Медицинский институт. С помощью БэЭнЭса уже снята для них комната на улице Зодчего Росси. «Вот только мы про такую улицу не слышали и сомневаемся, хорошее ли это место — чтобы недалеко от центра и в институт было удобно ездить? Не сочтите за труд — съездите, посмотрите и нам отпишите». Мы с мамой переглянулись и дружно расхохотались: никуда ездить не нужно, это же от нас ровно три минуты пешком, центральнее не бывает, Невский рядом и метро под боком. Так и ответили сухумчанам.

Через какое-то время БэЭнЭс говорит маме: «Сухумчане приезжают в это воскресенье утром. Придется, видно, мне с дачи раньше времени возвращаться - надо же их встретить, с чемоданами помочь, то-сё...». Мамин ответ был в точности такой, на какой начальник и рассчитывал: «Об этом не может быть и речи, Мишенька с удовольствием их встретит и все устроит, а вы отдыхайте себе на здоровье в Солнечном и кланяйтесь от меня вашей очаровательной Яночке!». И вот в воскресенье с утра я надел отутюженные с вечера брюки, финскую нейлоновую рубашку — визг тогдашней моды — и отправился на Московский вокзал. Накануне поведал Володьке о предстоящей мне миссии и тут же был осыпан кучей дружеских замечаний и советов. Про то, с какого рода девицами обычно знакомятся на вокзалах. Про обязательное целование ручки у девицыной маменьки с произнесением при этом сакраментального «Гамарджоба!». Про желательность в такси поплотнее прижаться к девице и, как ни в чем ни бывало, рассказывать о проезжаемых достопримечательностях. Но самое главное — выдать прямо на перроне анекдот потоньше и внимательно наблюдать, как будет реагировать. Тут же и анекдот подходящий подобрали.

Номер вагона БэЭнЭс забыл сообщить, а поезд «Адлер — Ленинград» оказался очень длинным, с прицепным сухумским вагоном в самом хвосте. Когда я наконец добрался до него, внимательно разглядывая по пути выходящих пассажиров, сомнений не оставалось: одиноко стоящие на перроне невысокая женщина и стройная девушка повыше рядом с ней, симпатичная даже издали — это они. Я изобразил гостеприимную улыбку, представился сыном их ленинградских знакомых и ухватился за чемоданы. Тут девица говорит: «А мы уж думали, обратно

по шпалам идти придется...». Ну надо же, как к месту! - подумал я и рассказал приготовленный анекдот: идут Василий Иванович с Петькой по шпалам, притомились... и т. д. Звонкий смех означал, что второй тест (первый был на внешность) моя новая знакомая прошла. До третьего испытания дело пока не дошло: в такси маменька села рядом с дочкой и рядом положила здоровенный вкусно пахнущий баул, так что о достопримечательностях мне пришлось рассказывать, полуобернувшись с переднего сидения.

Сопроводив гостей на улицу Зодчего Росси, я робко поинтересовался, можно ли будет их навестить завтра. «Зачем же завтра, приходите вечером, мы айвового варенья привезли, будем с ним чай пить», - ответствовала маменька. «И чачей запивать!» - хихикнула ее прелестная — в этом уже не оставалось никаких сомнений — дочка. Вконец очарованный, я выпорхнул на улицу, рисуя в воображении картины одна приятнее и соблазнительнее другой. Так началось это вокзальное знакомство, продолжающееся и по сей день — к удовольствию нас самих, наших детей и внуков. А вместе с ним - моя уже родственная связь с прекрасным в те времена Сухуми.

Часть вторая

Сухуми был уже мне знаком почти как родной Ленинград, когда в очередном номере «Юности» появился рассказ Фазиля Искандера о мальчике Чике – кстати, большом любителе чурчхел. Автор был известный и уважаемый в кругу моих друзей: над его повестью «Созвездие Козлотура» мы хохотали и грустно покачивали головами еще за несколько лет до того. Но там речь шла о некоей безымянной «маленькой, но симпатичной автономной республике» - в которой, правда, легко угадывалась родная Искандеру Абхазия. В новом же рассказе место действия обозначалось настолько явно, насколько это вообще было возможно для склонного к иносказательству автора: Мухус. Только совсем тупой – а таких среди читателей Искандера и не водилось вовсе – не узнал бы в этой простой анаграмме Сухуми. Безошибочные местные приметы были рассыпаны по тексту: и обезьяний питомник, и школа по соседству с церковью… А главное – сам мальчик Чик со своими приятелями и их семьями, их разговоры и повадки,

жизнь, проводимая большей частью на теплом и насыщенном южными ароматами, но все же городском воздухе. Они говорят друг с другом и по-грузински, и по-абхазски, и по-армянски, и по-турецки - но больше все же по-русски с теми характерными интонациями и словечками, которые безошибочно распознает любой сухумчанин, даже приёмный вроде меня.

Мальчик Чик жил в своем Мухусе в трудное военное и послевоенное время. Вряд ли думал автор, пристраивая в «Юность» свой цикл рассказов, что для его любимого города война не осталась в безвозвратном прошлом, и самое страшное еще впереди – смерть и страдания не только тысяч сухумчан всех национальностей, но и гибель самого города. Прошло двадцать лет просле кровопролитной трагедии, а Сухуми все еще частью лежит в развалинах. Дома, в конце концов, можно отстроить заново – хотя что-то никак не отстраивают - но никакими усилиями уже не вернуть городу былую прекрасную душу, которая когда-то согревала всех его обитателей без различия наций и вер.

В грузино-абхазском конфликте Фазиль Искандер не смог и не захотел занять нейтральную позицию. Как истинно благородный муж, он без бития себя в грудь и разрывания на оной рубахи остался со своим Сандро из Чегема и с его земляками. Не знаю, найдется ли грузин, который осудит его за это. Но невозможно поверить, что мудрый бард Мухуса даже в страшном сне мог предположить, во что выльется борьба его народа «за освобождение от грузинского ига».

Хотя мы с Искандером наверняка не один раз одновременно оказывались в Сухуми, видеть мне его там, а уж тем более познакомиться, не довелось – а хотелось. Лишь как-то вечером на палубе парохода «Адмирал Нахимов», отходившего из Сухуми в Сочи, я увидел прислонившегося к борту пышноволосого смуглого красавца с чеканным профилем. Поймав мой взгляд, он пристально вгляделся и, естественно, не узнав, резко отвернулся. Видно, побоялся приставаний нового почитателя с неизменной просьбой автографа. А мне-таки страшно хотелось с ним поговорить и попытаться выяснить, кто такие эти загадочные эндурцы, без всяких симпатий описываемые на страницах «Сандро из Чегема»? Я подозревал, что под эндурцами подразумевались мегрельцы, но свербила и мыслишка – а уж не евреев ли он

имел в виду? Это было бы обидно, и хотелось противное подозрение рассеять, что называется, из первоисточника. С добрых полчаса я курил поблизости на палубе и колебался – подойти или нет, пока писатель не спустился куда-то в недра парохода. А постеснялся подойти потому, что не мог решить, как к нему обратиться: его отчество Абдулович я не то что бы запамятовал, а и не знал его никогда. А как же к такому человеку соваться без имени-отчества?... Потом я рассказал об этой несостоявшейся встрече своей сухумской теще. «Ох, уж это ленинградское воспитание», вздохнула теща и пообещала разузнать среди своих бесчисленных знакомых, как бы мне с Искандером оказаться за одним столом на чьей-нибудь свадьбе или, на худой конец, поминках. Но оказия, увы, так никогда и не представилась.

Время от времени я перечитываю чудесные повести и рассказы Фазиля Искандера, и каждый раз заново веселюсь и горюю вместе с Чиком, Сандро, Богатым Портным и его сынком Оником – а больше всего с необычайно теплым и душевным городом Мухусом, который на самом деле существовал под немножко другим именем, но которого уже больше никогда не будет.

«Летайте к морю самолетами Аэрофлота!»

Так заклинала большая световая реклама на Невском проспекте. Ну, мы и старались, но только не сразу. До 1940 г. люди приезжали в Сухуми на пароходах и на автобусах из Сочи – железнодорожного сообщения с Абхазией не существовало. Автобусное путешествие по узкой и разбитой дороге было долгим, тряским и временами небезопасным. Наконец, железная дорога добралась и до Сухуми – но пока только со стороны Тбилиси, и желающих ехать таким кружным путем за пределами Грузии не находилось. Однако открытие в Сухуми железнодорожной станции возымело непосредственное действие на семью моей будущей жены Чики: вместе со станцией открылась и небольшая железнодорожная больница, куда из Одессы перешел на работу ее отец. Собственно, благодаря этому Чикины родители остались живы во время вспыхнувшей вскоре войны. Почти все их родственники погибли в Одессе, а до Сухуми немцы не дошли.

Только в 1949 г. достроили железную дорогу со стороны Адлера, и в Сухуми был воздвигнут роскошный вокзал в стиле "куротного сталианса", уже апробованного в Сочи и Симферополе. В результате город быстро превратился в популярное место отдыха. Прямые поезда соединили абхазскую столицу с Москвой и Ленинградом, там стали останавливаться скорые и курьерские "Москва – Тбилиси", "Москва – Цхалтубо" и "Москва – Ереван", а в Сочи и обратно несколько раз в день курсировали электрички. Тащились они, правда, по однопутной линии очень медленно, подолгу стояли на всех полустанках, зато билеты на них можно было в любой день просто купить в кассе, а не "доставать" через знакомых.

Благодаря железной дороге абхазские жители получили возможность отправлять на московские, ленинградские и прочие рынки, вплоть до Сибири, мандарины, ранние овощи и цветы мимозы. Товар шел на ура, особенно перед Новым Годом и Восьмым Марта. Проводники пассажирских поездов - а именно через них шел этот формально колхозный, а на самом деле частный экспорт – превратились в уважаемых, состоятельных людей. В селах вокруг Сухуми стали строиться двухэтажные кирпичные дома с непременной наружной лестницей, на улицах появилось непривычное для советских городов количество "Москвичей" и особенно "Волг", за рулем которых восседали, поглядывая на бледнолицых курортниц, усатые красавцы в больших кепках, прозванных в народе "аэродромами". Каждый, кто видел в такой кепке великого Вахтанга Кикабидзе в бессмертном "Мимино", знает, о чем речь. Сами бледнолицые курортницы и курортники обитали кто где – в санаториях, на турбазе, а большей частью снимали комнаты и койки у сухумских и окрестных жителей. Цена "койкоместа" колебалась от рубля до трех за ночь, и за длинный черноморский куротный сезон у хозяев этих койкомест набегали приличные суммы. Среди сухумской публики поинтеллигентнее и позажиточнее этот бизнес – "пускать курортников" – считался не совсем комильфо, да и мест свободных в доме обычно не было: наезжали родственники и знакомые из столиц. Денег с них, конечно, не брали, но и гостям было неловко гостевать совсем уж на халяву. Поэтому у Чикиных родителей и у всех их приятелей дома были заставлены хрустальными вазами и тому подобными дорогими и бесполезными предметами, привезенными в подарок гостеприимным хозяевам. Близкие

знакомые, приезжавшие из года в год, уже знали вкусы хозяев и везли соответствующие презенты, в том числе и дефицитные продукты: финский сервелат, греческие маслины в большущих банках, подарочные наборы шоколадных конфет и т.п. Все это самими же гостями и съедалось при некотором участии хозяев.

Когда Чика поступила в медицинский институт и поселилась в Ленинграде, пошли туда из Сухуми посылки с продуктами, фруктами, а то и с оплетенными бутылками отборной чачи собственного изготовления ее папы – он был большой знаток и умелец по этой части. Приходила телеграмма: встречай такой-то поезд, такой-то вагон. И мы, заранее облизываясь, спешили на Московский вокзал и получали у проводника указанного вагона увесистую коробку, а то и две. Самая большая радость была, если среди прочего добра в посылке оказывались воспетые Фазилем Искандером чурчхелы.

Со временем, особенно со середины 60-х годов, путешествия в Сухуми и обратно все чаще стали совершаться по воздуху. Сухумский аэропорт, возле села Дранда километрах в 20 от центра города, расширился и стал принимать большие и быстрые Ту-104. Летать на нем поначалу было страшновато и чревато всякими неприятными ощущениями, но три часа можно было и потерпеть, зато не ехать больше двух суток в душном вагоне, да еще часто с пересадкой в Москве или Адлере. Особенно неудобен был прицепной вагон "Ленинград – Сухуми" к адлерскому поезду, который в Адлере на несколько часов загоняли в какой-то тупик дожидаться сухумского поезда.

Билеты на самолет тогда стоили хоть и подороже железнодорожных купейных – 37 руб. от Сухуми до Ленинграда и 28 руб. до Москвы – но все же в пределах даже наших студенческих возможностей. Проблема была в том, что на нужные числа их никогда не было в кассах. В Ленинграде для добычи билетов приходилось прибегать к разным ухищрениям вроде фиктивных командировочных удостоверений, а то и просто переплачивать по пятерке за билет. "Просто" - да не так уж и просто: кассирши в агентстве Аэрофлота остерегались брать эти пятерки прямо у себя в кассе, приходилось их вылавливать и совать конверт с деньгами где-нибудь на лестнице. При этом я заводил речь с легким грузинским акцентом, чтобы билетные девушки легче шли на контакт с усатым молодым

человеком. Срабатывало безотказно. Паспортов тогда при покупке билетов не требовалось, да и в аэропорту их не проверяли, поэтому кассирши могли заранее выписывать билеты на дефицитные направления и даты в ожидании щедрых пассажиров.

Проблема обратных билетов из Сухуми решалась без подобных ужимок и прыжков. По соседству на проспекте Мира (бывший имени Сталина) жил приятель и партнер по домино Чикиного папы, дядя Жора. Он без долгих объяснений писал на бланке Комитета народного контроля Абхазской АССР: "Ленинград два за наличный на когда скажут потом позвони", и ставил какую-то свою закорючку. С этой бумажкой мы шли в агентство Аэрофлота сквозь осаждавшую его толпу прямо к начальнику, грустному армянину, у которого за воротник форменной голубой рубашки был вечно заложен носовой платок. Начальник разглядывал бланк с обеих сторон, окидывал нас задумчивым взглядом, вздыхал и просил подойти к кассе для депутатов и лауреатов ровно в 5 часов, имея с собой ровно 74 рубля без сдачи.

Вспоминаю теперь, как мне было неловко от этих ухищрений и комбинаций. У нас в семье редко к ним прибегали, да не очень-то и умели. Но в Сухуми с его цветущей алычей в чуть легкомысленной и беззаботной атмосфере – немножко от Одессы, немножко от Тбилиси, и даже (по уверению армянского репатрианта Жоржа, стригшего сухумских дам в парикмахерской "Гигиена" на набережной) немножко от Марселя – угрызения совести почему-то стихали. Такой уж это был город.

К сожалению – только был... Прошло много лет, и группа израильских туристов путешествовала из Тбилиси в горную Сванетию. На каком-то перекрестке поблизости от реки Ингури проехали мимо дорожного указателя на грузинском и английском: «Сухуми 99 км». Мы взглянули друг на друга и разом вздохнули: так близко от милого нам когда-то города, в который уже вряд ли суждено вернуться.

Андрей Зоилов

Магическая мерка интереса

Не приезжай. У нас теперь печаль.
Одна печаль. До нас такая даль,
Что круглый год у нас неурожай,
Распутица, пожар… Не приезжай!
Не то сопьёшься, пропадёшь, сгоришь.
Здесь лет не помнят и не чинят крыш.
А наш народ без камня за душой.
Здесь бьют ногами. Здесь нехорошо
В недобрый час оказываться. Жаль
Рождаться. Два ножа – не приезжай! –
Здесь друг о друга точатся, визжа,
И волка кормят розовым с ножа
Бедром, и гладят лёгкою рукой.
Здесь тишина сменяется такой
Рекой-тоской – ни брода, ни моста,
Ни мне тебя, ни на тебе креста…
И затвердеет белая рука
На волчьем горле. И – полынь-река!..
Тогда придёт иная тишина.
С такой под сердцем верная жена
Находит небо, полное камней.
Пустую землю. Новый крест на ней.

Елена Зуева

В каждом сколько-нибудь удачном художественном произведении очевидно присутствуют два компонента: назовём их фактическим и магическим. Разумеется, эти названия условны. Фактический - то, что мы, посторонние потребители, можем исчислить и учесть, например, количество слов в тексте, или приверженность автора грамматическим правилам, или жанр, или тема

произведения. Магический же компонент - то, что можно назвать, хотя учесть невозможно. Собственно говоря, это именно то, почему произведение нравится.

Эта двухкомпонентная структура характерна не только для литературы, но и для любого вида искусства. Сравним с музыкой: нот всего семь, в нотном стане только пять линий – а многочисленным дирижёрам и оркестрантам всегда находится работа. В литературе все слова (ну, или почти все) перечислены в больших толковых словарях, - и каждый год бесчисленные авторы производят всё новые опусы. Желаете стихов? хотите прозы? – пожалуйста, в нынешнем году уже написано немало, в будущем – станет больше.

Во всяком ли тексте есть мистический (или магический, если это слово нравится больше) компонент? Да, в любом, автор или составитель которого прилагал умственные усилия, чтобы подобрать подходящие слова, сочетать их в предложениях, а предложения сделать носителями мысли. Особенно это заметно в поэзии. Магический компонент – это то, что побуждает опытного читателя отличить высокую, на его взгляд, поэзию от стихотворной версификации. К примеру, стихотворение, вынесенное в эпиграф этой статьи. Его написала студентка Литературного института. С тех пор прошло много лет. Она не стала знаменитой, и даже популярной поэтессой не стала. Я потерял её из виду. Скорее всего, её судьба сложилась непросто – этого можно было ожидать тем, кто её знал. Но в приведенном стихотворении магический компонент явственно присутствует.

Мы можем сосчитать слова и знаки в тексте, можем грамматически выверить его, можем пересказать чужой текст своими словами. Но, вообще говоря, мы не заинтересуемся текстом, если он не вызывает нашего интереса, и не придём в восторг от написанного, если написанное не вызывает у читателя восторга. Вот это самое «вызывание интереса» или «вызывание восторга» и есть магический момент или компонент – в отличие от иного, грубо материального, который можно также назвать производственным или техническим.

Магическое (или мистическое, если больше по душе этот термин) отличается от технического невоспроизводимостью, не повторяемостью. Для магии физические законы, определяющие действие и его результативность, ещё не сформулированы, и пока неясно,

могут ли они быть сформулированы вообще. То, что делает один технический специалист, в состоянии сделать и другой, независимо от того, как их обоих зовут. И даже несведущий человек, изучивший технические инструкции, в состоянии приобрести необходимые знания и навыки – и сделать то же, что делают специалисты. То, что делает один маг, другой маг повторить, как правило, не может, а уж несведущему человеку не помогут никакие магические инструкции – да и требуемые продуктивные инструкции пока не составлены. На примере литературы это отчётливо заметно. Ну, хотя бы так: войдите в книжный магазин и посмотрите на полки. Рядом могут стоять несколько книг, у которых и шрифт, и размер, и бумага похожи. Все новёхонькие. Но одну их них вы читали, либо хотя бы слышали о ней, и она вам понравилась, а другие не читали, да и читать не станете. В лучшем случае бегло просмотрите их – и вернёте на место, в обычном же случае даже с полки не возьмёте. А ведь в эти книги вложено не меньше труда авторов, редакторов, типографов, грузчиков, переплётчиков и продавцов книг, чем в ту, которая вам понравилась, и ради которой вы, купив её, расстались с несколькими своими трудовыми шекелями, долларами или рублями. В чём же основная разница между выбранной вами книгой и её отвергнутыми соратницами? Выбранная вызвала ваш интерес.

Здесь мы встречаемся с двумя парадоксальными, на первый взгляд, явлениями литературного процесса: радиации подобной составляющей магического компонента и разжижением нынешней литературы.

Так же, как радиация, невооружённым глазом внешне незаметна способность автора формировать мистический компонент из элементов обыкновенной речи. Эту способность можно назвать талантом, мастерством, одарённостью, вдохновением – или иными терминами, позаимствованными из словарного набора критики. Но длительное знакомство со многими разными людьми, располагающими такими качествами, позволяет предположить: чем сильнее эта способность выражена, тем уязвимее личность носителя в жизненных перипетиях. Так, слабая радиация имеет лечебное действие, а более сильная – уничтожающее. Поверхностным объяснением подобного явления в литературе может служить синонимичность (не абсолютная) понятий «вызвать интерес» и «задеть за живое». Второе понятие выглядит по

смыслу его несколько уже, но глубже первого. Автор, задевая за живое читателей-соотечественников, сам рискует оказаться жертвой активного недоброжелательства тех, кто имеет власть и возможность физической мести за художественное слово. Например, недавно раскрылось, что популярный литератор Дмитрий Быков был отравлен, причём организовали это люди, получающие государственное жалованье. За что? – за некоторые стихи. Так мстит социум, задетый за живое. Этот социум может приобретать конкретные облики и имена, как в данном случае, а может оставаться анонимным: так умерли несомненно талантливые литераторы Валерия Новодворская, Александр Литвиненко, Анна Горенко, Михаил Юдсон, Моше Винокур, Михаил Генделев, Антон Носик, Слава Сэ. Умерли, так как не могли жить дальше.

Великое мастерство и значительные усилия требуются, чтобы вызывать сильный общественный интерес, не задевая интересантов за живое. Ещё большие усилия нужны, чтобы обуздать импульс, побуждающий вносить в текст магический компонент, без которого произведение мертво. И без того магический компонент не силён, но внесознательное чувство самосохранения побуждает ещё ослаблять его, чтобы не задеть за живое – кого же? – да в первую голову самого себя, автора, как интегральную часть социума.

В мельчайшей мере я ощутил это и на себе. Однажды в «Артикле» мне довелось написать десяток страниц о книге конкретной израильской писательницы. И автор она неплохой, и книга как книга. Но, видимо, задел за живое – для того и писал, разумеется. И получил в интернете гневную отповедь от её поклонника, который посвятил значительную часть своего текста не разбираемой книге и не проблемам, в связи с таким разбором возникающим, а моим личным качествам. И должен признаться – меня зацепило за живое; мне было приятно, будто с поджившей ссадины сорвали корочку. Так мало людей в мире интересуются моими личными качествами. Пусть ругают, поносят, лишь бы не забывали. Конечно, смешно рассчитывать, будто магический компонент моих произведений вызовет сколько-нибудь заметную реакцию в социуме – кишка тонка. Но написал же Виктор Гюго в «Человеке, который смеётся»: «Слону, которого ненавидит муравей, грозит опасность».

Второе явление, на которое я хочу обратить внимание читателей, заметно не сразу. Разглядеть его удаётся только после сравнения значительных текстовых массивов, написанных в разное время различными сочинителями. При этом его и отрицать очень легко – не существует, мол, такой проблемы, да и всё тут. И в самом деле, это явление - проблема преимущественно для потребителя. Производители литературы вправе не замечать её или даже благословлять. Эта проблема – «разжижение» современной литературы.

Для прояснения этой мысли воспользуюсь сравнением. Сравним, например, литературную работу с виноделием. Тогда громадное и разрозненное авторское сообщество будет представлено как виноградники и источники вод, редакторы и прочий обслуживающий выпуск изданий персонал – как давильни и бродильные чаны, а издательства – как винзаводы, разливающие порции чтива по ёмкостям и наклеивающие на них этикетки. Если вы купите бутылку вина, откупорите, - и вам оно на вкус покажется разбавленным – не беда. Можно попробовать другой сорт. Но если вино из сотен разнообразных бутылок окажется разбавленным, то у вас как потребителя возникнет резонный вопрос: связано это с общей технологией производства или обманывает собственный вкус? Причём выяснить, разбавлено ли вино, можно только в сравнении с другими его образцами. В таком случае критики оказываются в роли лаборатории, проводящей анализ содержимого книг, либо в роли дегустатора – доверенного лица потребителей, определяющего качества продукта эмпирически.

Смею утверждать – вкус не обманывает. Меняются методы производства, системы оценки качества и даже техника распространения и популяризации нашего художественного вина, то бишь долженствующих пьянить текстов. И эти изменения увеличивают число причастных к литературе авторов, повышают их самооценку и одновременно сокращают суммарные литературные трудозатраты всех участников издательского процесса в пересчёте на единицу выпущенной к читателям продукции.

Всякое сравнение – приблизительно. Вот и это таково же. Оно не должно означать ни того, что лучшие произведения современной литературы уступают таким же образцам прошлого, ни того, что некие злонамеренные вредители вливают вёдрами воду в литературные мехи. Но оно

подсказывает, что становление сегодняшнего среднестатистического литератора требует от него самого существенно меньше труда, познаний, проявлений таланта и усилий, чем прежде (хотя бы пятнадцать-двадцать лет назад). И если так – усилия экономятся.

Издатели вынуждены соблюдать равновесие между тиражом и интересом предполагаемой аудитории, - и это равновесие весьма нестойкое. В результате тот массив современной литературы, который почитается актуальным в центре (например, в Москве и Питере), лишь частично совпадает с тем, который читают на периферии. Периферийные издания, даже если они способны представлять интерес для аудитории, но не удостоились внимания центра, как правило, остаются известными только там, где созданы. Особенно же это показательно для Израиля, где материальные условия жизни читателей в среднем лучше, нежели в России, но интерес к литературе - меньше.

Можно заметить, что мистический компонент создания читательского интереса обусловлен двумя факторами: личностью читателя и книгой. Чтобы прояснить влияние обоих факторов, попробуем изменять один из них, оставляя неизменным другой.

Бывают произведения, которые покупать приходится, которые к приобретению и чтению обязательны. Например, школьные учебники. Каждый, кто учился в старших классах средней школы, это помнит. Даже если в тексте содержалась прямая ложь – ученик обязан ознакомиться с учебником, утверждённым министерством просвещения. Были и произведения, обязательные к прочтению – например, включённые в школьную или вузовскую учебную программу. Каждый, кому приходилось готовить пищу в цивилизованных условиях, знает о существовании кулинарных книг. Каждый, кому приходилось пользоваться бытовыми электроприборами или персональным компьютером, знает о существовании инструкций к ним. Это вынужденное чтиво, независимо от того, нравятся ли вам как потребителю художественные достоинства используемого текста, или же они вызывают отвращение. Потребители различны, текст один и тот же. И мистический компонент один и тот же; в первом приближении это полезность данной книги для потребителя. Разумеется, потребители различны – и степень полезности разная для каждого, точно измерить её невозможно, да и не нужно; но

насыщенность этого компонента текста, его вектор, его направленность подразумевались и были приняты во внимание авторами, издателями, рецензентами и продавцами.

Теперь сменим умозрительную ситуацию: пусть потребитель будет один, а текстов множество. И мы получаем в точности современное положение на литературном рынке. Если потребитель литературы сам не производит тексты и не вынужден сравнивать свои работы с чужими, то ему легче. Он приобретает или получает желаемые тексты в соответствии со своими потребностями, предпочтениями и возможностями, за деньги или бесплатно. Магический компонент произведения привлекает его, и если физический (технический) для него приемлем – устанавливается связь между человеком и книгой, а именно: хотя бы на короткое время потребитель становится её читателем.

Положение осложняется, если потребитель чтива (в данном случае – этого моего текста) сам оказывается в то же время и производителем текста. Тогда он внесознательно ставит перед собою задачу, о которую расколотили себе лбы многие начинающие предприниматели: нужно выпустить на перенасыщенный рынок товар, который будет пользоваться спросом. При этом автор, как правило, не задаётся вопросами: какой материал (жанр, стиль, идею) следует выбрать для своего товара, в какой форме (упаковке, соседстве) он будет подан потребителю, какова целевая аудитория, на которую выпуск рассчитан, и в чём заключается интерес потребителя именно к такому будущему товару? Увы, ответы на все эти и прочие подобные вопросы существуют лишь подсознательно; очень часто такие вопросы попросту не формулируются в процессе литературной работы. Текст оказывается написанным задолго до того, как подобные вопросы возникнут в сознании пишущего. И тогда вдруг выясняется, что основным потребителем готового товара является сам его создатель; написанное и опубликованное произведение даёт ему моральные основания причислять себя к писателям, в этом магический момент для него. Но этот магический компонент плохо доступен постороннему читателю, так как его читательский, - посторонний и вполне уважаемый, - интерес никак не учтён.

Иными словами, для автора в тексте значительная часть магического компонента сосредоточена в надписи на

титульной странице – в его имени и фамилии. Они говорят ему о многом – это же и есть он сам! Они говорят ему о честных трудах, понесенных во время создания своего опуса, и о вероятной, но нереальной славе. А постороннему читателю эти слова ни о чём таком не говорят.

Оказывается востребованным труд того автора, который ещё до создания своего опуса (неважно, стихи это или проза, драматургический материал или очерк, роман или статья) подумал о том, кто, как и когда его труд востребует – и угадал. Фактически же - обеспечил магическому компоненту своего текста доступ к восприятию читателя.

То, о чём я пишу, может показаться схоластикой либо банальностью. Пусть! Вся надежда моя, что прочитает этот опус хотя бы один начинающий автор - и задумается: стоит ли трудиться над произведением, если оно никого, кроме автора, за живое не задевает? А прочитает хотя бы один маститый литературовед – и задумается: может быть, такое явление, как интерес, поддаётся качественной оценке, учёту и измерению? И пригласит меня – хотя бы поговорить об этом.

СТИХИ И СТРУНЫ

Ведёт рубрику Ирина Морозовская

Я БЫ ЭТО СПЕЛА

Даже не думала, что мне будет так больно писать этот текст. Всё-таки уже тринадцать месяцев миновало с вести о том, что Ляля улетела. Ничего не прошло - я по-прежнему мысленно разговариваю с Лялей Фрайтор, рассказываю ей, как у меня дела. Да, мне невероятно повезло - дружить с ней, быть под её крылом (а крылья у неё были огромные, хватало на многих). Получить столько любви и принятия от человека, которого последние лет сорок считала лучшей исполнительницей авторской песни и недостижимым своим идеалом. Собственно, в этом ничего не изменилось. До сих пор в этом уверена. Только раньше, когда слушала подаренный ею диск - плакала от переполняющих чувств и от понимания того, что сама так не смогу. А теперь вспоминаю, что Ляле уже не позвонишь и не напишешь, и реву от этого.

Ляля Фрайтор была одной из первых - и лучших исполнителей авторской песни. Дружила с лучшими, пела песни - одна и в дуэтах. Была одной из самых отзывчивых и благодарных людей, кого я в жизни узнала. Всё впечатление от её концерта в Одессе - что встретилась с каким-то невозможным колдовством. При случае после годами передавала ей приветы и через обожаемого Александра Андреевича Дулова, и через общих знакомых - скажите, говорила, что от одесской поклонницы.

А как удалось подружиться - просто повезло. Иногда просто везёт. Ляля завела аккаунт на ФБ, а я послала приглашение дружить и стала разговаривать человечьим голосом в комментариях. Следующий десяток лет мы переписывались в личке, перезванивались и виделись всегда, когда я приезжала в Москву. Петь Ляля уже не могла, но точный вкус и слышание тонкостей песни оставались обострёнными. Лучшей похвалой и наградой бывало, когда она о моей песне говорила "Я бы это спела. И вот это". Строго запрещала мне называть их песенками - считала, что это умаляет их и меня. Подружила и

посодействовала сближению моему с другими прекрасными авторами. Говорила, что гордится мной.

Ляля была поразительно щедра и в этом, и вообще, по жизни. И всегда говорила, что это люди вокруг добры и щедры к ней. Для меня Лялечка была магнитом, вытаскивавшим из каких-то глубин наружу лучшее, что было во мне прикопано до лучших же времён. Рядом с Лялей эти лучшие времена наступали здесь и сейчас немедленно.

С годами хрупкое тело её становилось всё меньше и прозрачнее, а бьющий из него свет - ослепительнее. Я тут в какой-то пафос впадаю, а ведь это были годы, когда редкий день, если Ляля совсем уж хворала, проходил без присылки в личку смешных и трогательный видео про животных, птиц, детей. Я тоже зорко высматривала то, что могло её порадовать. Сила и страсть, сохранённые ею, поражали меня. И очень много любви к тем, кого она любила.

Если временами мне начинает казаться, что жизнь как-то несправедливо ко мне, недодала везения, удачи, таланта и фарта - то вспоминаю Лялину судьбу, несправедливо и нереально трагическую, и устыжаюсь. Отзываю все свои претензии. Благодарю за невероятное везение оказаться рядом и любимой ею. А горний свет из её записей песен остался и льётся в нас. Только подставляй душу.

Так мало осталось её видеозаписей...

Колдунья
https://www.youtube.com/watch?v=4QPEnaq5IT8

Здесь, с 35 минуты концерта - её выступление.

https://www.youtube.com/watch?v=_JYGostGo2s

А тут - песни с её диска. Не все, но хоть часть.

http://www.bard.ru/cgi-bin/trackography.cgi?name=%D4%F0%E0%E9%F2%EE%F0_%CB

Раздел «Стихи и струны» с работающими линками можно увидеть на сайте журнала.

«Маалот» – ассоциация по созданию Центра наследия евреев СССР ставит своей целью создание настоящего центра притяжения для всех израильтян, интересующихся историей еврейского народа. Выходцам из СССР - СНГ и их потомкам Центр поможет вспомнить или лучше узнать исторические корни их культурного наследия. А для молодого поколения Центр станет связующим звеном между ним и его корнями, между различными частями еврейского народа, между нашим общим прошлым и нашим общим будущим.

«Маалот» проводит широкую деятельность, направленную на углубление в израильском обществе понимания вклада евреев СССР в создание и развитие Израиля. Одним из проектов, направленных на это, стала кампания «Маалот» по увековечиванию памяти генерала Красной армии Якова Крейзера. В рамках этой кампании **«Маалот»** организовала проведение в Тель-Авиве конференции, посвященной жизни и деятельности этого военачальника. На конференции были представлены книга о генерале российского историка А. Энгельса и короткометражный фильм в жанре докудрама, снятый израильскими кинематографистами. Фильм станет частью постоянной экспозиции Музея воина-еврея во Второй мировой войне в Латруне. **«Маалот»** обратилась в муниципалитеты Лода и Ашдода с предложением увековечить память генерала Крейзера, назвав в его честь одну из улиц или площадей города. Оба муниципалитета одобрили это предложение.

Под эгидой и при поддержке **«Маалот»** регулярно выходит в свет **«Артикль»** - единственный израильский литературный журнал, в котором печатаются самые известные и популярные прозаики и поэты русскоязычного Израиля, а также России, Украины, США, Германии и других стран - Дина Рубина, Вероника Долина, Игорь Губерман, Давид Маркиш, Алексей Цветков, Яков Шехтер и другие.

«Маалот» уверена, что сохранение и развитие наследия евреев СССР имеет важное общенациональное значение. Центр позволит выходцам из СССР - СНГ и их потомкам не просто прикоснуться к своим корням, но гордиться ими. А всем остальным гражданам и гостям Израиля он предоставит замечательную возможность познакомиться с богатейшим культурным наследием общины, ее вкладом в создание и развитие государства Израиль, ее борьбы, являющейся ярким примером общечеловеческого стремления к свободе и достоинству. Подробная информация про ассоциацию – на сайте **www.maalot.org**

АВТОРЫ НОМЕРА

Дина Рубина – писатель, живет в Мевассерет Цион.
Анна Файн – прозаик, сотрудник Бар-Иланского университета, живет в Бней-Браке.
Инна Шейхатович – культуролог, музыковед, литературный и театральный критик, живет в Ришон ле-Ционе.
Рита Инина – медицинский работник, живет в Сиэтле.
Ирина Маулер – поэт, прозаик, художник, композитор, живет в Беэр-Яаков.
Владимир Сотников – прозаик, автор многочисленных детских приключенческих повестей, живет в Москве.
Дмитрий Копелиович – гебраист, библеист, живет в Маале-Адумим.
Александр Альтшулер – врач, живет в Галилее.
Ханох Дашевский – поэт, переводчик, публицист, живет в Иерусалиме.
Яков Шехтер – писатель, живет в Холоне.
Михаил Юдсон – писатель, жил в Тель-Авиве.
Марсель Мосери – журналистка, прозаик, живет в Ришон ле-Ционе.
Дуду Буси – актер, прозаик, автор пяти романов, лауреат крупнейших литературных премий Израиля, владелец популярного тель-авивского ресторана «Буси».
Елена Аксельрод – поэт и переводчик, живет в Маале-Адумим.
Катя Капович – поэт, прозаик, преподаватель, живет в Бостоне.
Бахыт Кенжеев – поэт, живет в Нью-Йорке.
Юрий Лорес – поэт, исполнитель и автор песен, живет в Москве.
Александр Романовский – поэт, драматург, живет в Воронеже.
Сергей Штильман – поэт, филолог, автор книг и методических пособий по преподаванию русского языка, живет в Москве.

Владимир Серебренников – поэт, жил в Санкт-Петербурге.
Алексей С. Железнов-Авни – блогер, журналист, поэт, живет в Рамат-Гане.
Алексей Сурин – журналист, живет в Иерусалиме.
Александр Борохов – врач-психиатр, литератор, живет в Иерусалиме.
Анна Гедымин – поэт, переводчик, живет в Москве.
Григорий (Гершон) Трестман – поэт, живет в Нокдим.
Александр Энгельс – педагог, историк, общественный деятель, живет в Тулузе.
Виктор Конторович – ученый, профессор теоретической физики, живет в Харькове.
Эдуард Бормашенко – ученый, публицист, профессор физики, живет в Ариэле.
Александр Воронель – ученый, публицист, общественный деятель, живёт в Тель-Авиве.
Владимир Ханан – поэт, прозаик, художник, живет в Иерусалиме.
Давид Шехтер – публицист, журналист, общественный деятель, живет в Ришон ле-Ционе.
Гордей Щеглов – священник Белорусской православной церкви, профессор Минской духовной академии.
Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живет в Москве.
Екатерина Златорунская – прозаик, живет в Москве.
Александр Мелихов – писатель, публицист, математик, живет в Санкт-Петербурге.
Михаил Черейский – научный работник, переводчик, эксперт Всемирной организации здравоохранения, живет в Реховоте.
Андрей Зоилов – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве
Ирина Морозовская – психолог, бард, исследователь социума, живет в Одессе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон**ז"ל**

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: http://www.sunround.com/article/

Фейсбук:
https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl

Электронный адрес редакции:
articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal “Article”, Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)
(972)-50-9080348 (для заграницы).